

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ ХАОС



Борис ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ
ХАОС

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ ХАОС

Т е т р а п т и х

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2017

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

X 152

Хазанов Б.

X 152 Просветленный хаос (тетраптих) / Б. Хазанов. – СПб.: Алетейя, 2017. – 270 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-906980-40-3

«О Русская земля! Уж ты за горами». Вдох безымянного автора «Слова о полку Игореве» должен напомнить читателю этого сочинения о существовании независимой русской словесности за рубежом. Старейший представитель этой словесности, многолетний автор издательства «Алетейя» мобилизует свою память и творческую фантазию, чтобы укротить бессонное прошлое, внести в хаос воспоминаний порядок и смысл. Итогом этой работы становится произведение своеобразного жанра, которое состоит из четырёх частей («книг»), включающих автобиографические, эссенцистические, художественные и мировоззренческие тексты. Судьба писателя сплетена единым узлом с историей страны.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906980-40-3



© Б. Хазанов, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

**Неугасимой памяти
жены моей Лоры Викторовны
Лебедевой-Файбусович**

КНИГА ПЕРВАЯ ПРОЛОГ. НАЙТИ СЕБЯ

Time present and time past Are both perhaps present
in time future, And time future contained in time past. If
all time is eternally present All time is unredeemable. What
might have been is an abstraction Remaining a perpetual
possibility Only in a world of speculation.

T. S. Eliot, Four Quartets Nr 1.

Время настоящее и время прошедшее — Возможно,
оба содержатся в будущем. А будущее, было во времени
прошедшем. Во всяком случае, если время вечно, с этим
ничего не поделаешь. *Т.С. Элиот, Четыре квартета, 1.*

(Пер.В. Постникова)

Оттого что моя душа осталась юной, мне все вре-
мя кажется, что мой возраст — это просто роль, кото-
рую я играю, а мои старческие немощи и невзгоды —
суфлёр, и он поправляет меня шёпотом всякий раз, ко-
гда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова, как по-
слушный актёр, вхожу в образ и даже испытываю опу-
ределённую гордость оттого, что исправно играю свою
роль. Куда проще было бы стать самим собой, вернуть-
ся в юность, — да только вот костюма подходящего нет.

Андре Жид. Дневник

(Перевод Б.Х.)

От автора

Я надеюсь, что мне простят манию пережёвывать прошлое,
болезнь закатных лет, чьё неоспоримое, хоть и незавидное, пре-
имущество — способность жить одновременно в разных временах.

Я привык поздно ложиться и обычно стараюсь дотянуть до
такой степени усталости, когда, улёгшись, тотчас засыпаешь.
К несчастью, это удаётся не всегда, ворочаешься, зажигаешь

свет, гасишь и вновь зажигаешь, угнетают бесплодные мысли, унылые песни продолговатого мозга, истоптанные дорожки моей литературы. Глаза мои закрываются, и в последующие полтора часа я вижу сны.

Томас Манн (ещё одна цитата!), оглядываясь на Вагнера, в письме сыну называет «Доктора Фаустуса» своим «Парсифалем». Пусть этот Тетраптих остаётся моим собственным Парсифалем.

Мюнхен, 2018

Интродукция

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать... свечей...

...Вот и я тоже. Сижу, твержу про себя дивную эту балладу и дерзостно представляю себя на месте другого изгнанника — Владислава Фелициановича Ходасевича. Комната моя, правда, не круглая, а прямоугольная, для единственного жильца довольно вместительная. Брезжит день, скучное утро сочится в окно. Голос радиодиктора вещает на местном наречии последние известия, всегда одни и те же. Прогноз погоды... Я жду своего часа. В десять — утренний концерт, Шуберт, Большая фортепьянная соната опус 916. *Musik ist Zuflucht!*. Музыка — это убежище, от слова *убежать*. *Zuflucht* — от *zuflieden*, *прибежать*. Бежать из России, прибежать в другую страну. Предательская этимология, как всегда. Зато музыка воплощает (и возвращает) утраченный смысл жизни.

И дикая мечта вторгается в помрачённый ум. Не странно ли, вспоминается то, о чём ты помнить не можешь, хоть и уверяешь себя, что так оно и было: молодая женщина, родившая меня, играла эту вещь. Она умерла тридцати трёх лет от эндокардита. От неё остались альбомы нот в твёрдых дореволюционных переплётах, исчёрканные моими каракулями, осталось пианино, его давно нет. Пианино старинной германской фирмы *Sturzwage*, по которому и сейчас бегут её пальцы, а я сижу на полу и смотрю, как нога в туфле с застёгнутой перемычкой нажимает на педаль.

Могла ли моя мама представить себе, что когда-нибудь я стану коротать поздний вечер своей жизни в другом столетии, на другой земле? Узнаёт ли она меня, новоприбывшего, там, в садах за огненной рекой, о которых вспоминает автор «Европейской ночи»?.. С чем, с каким багажом явлюсь я туда? Притащу ли с собой увесистый груз памяти, этот горб, мешавший мне распрявиться? Горб рабской принудительной памяти, с которой пришлось доживать свои дни, которую следует противопоставить уютной произвольной памяти Пруста и девятнадцатого века.

Бывшее будущее, вчерашняя вечность

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Пушкин

Длится, всё ещё длится угрюмое утро, самое тягостное время дня; в который раз я озираюсь в ожидании иных, законнейших обитателей моего жилья, жду, когда они восстанут от электронного сна с первыми кликами компьютера.

Умолк Шуберт, умерший в таком же возрасте, как моя мама. Она опускает крышку инструмента. Я всё ещё здесь, со своим скарбом, в мюнхенской квартире, над моей головой — парижский испанец Хуан Гри, натюрморт с шахматной доской. Однажды в Чикаго я наткнулся на подлинник в Art Institute. Поодаль, на противоположной стене карта Российского государства: было когда-то такое. Отпечатана во времена императрицы Анны Иоанновны, подарок Гарри Просса, покойного друга, журналиста и политического историка послевоенной Германии. Бок-о-бок с антикварной картой ещё кое-что.

Летом 1015 года, по наущению старшего княжича, окаяного Святополка, были злодейски истреблены дети Владимира Борис Ростовский и Глеб Муромский, первые русские святые, и вот они здесь, в княжеских шапках и плащах, верхом на танцующих конях, на лунно-серебристом, ночном фоне взамен золотой византийской вечности. Икона московского письма XV века. А рядом — таинственные пришельцы в гостях у немолодых супругов Авраама и Сарры, еврейские юноши, ветхозаветные ангелы, вечно-женственные, задумчивые, склоняют друг к другу пышные причёски. Живоначальная Троица инока Андрея Рублёва.

Борхес (в одной из бесед) приводит фразу Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы — это наше прошлое и будущее одновременно».

Знакомая мысль. У меня в мозгу вмонтирована машина времени. Она позволяет мне жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и возвращаться назад, в призрачную область надежд и ожиданий — будущее. Как уэллсовский Путешественник во времени, я ничего не жду, кроме финала. Машина эта есть не что иное, как безостановочно и своевольно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Спрашиваешь себя, не такова ли участь персонажей романиста, обречённых как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых мороком несбывшегося будущего. Пытаясь подвести итог долгой жизни — обзревая свою литературу и погружаясь в прошлое, — я как будто разгуливаю по кладбищу моей прозы между надгробьями действующих лиц.

Так — по крайней мере с тех пор, как родина стала чужбиной, а чужбина оттеснила родину, — рождается потребность как бы с высоты птичьего полёта обзреть своё российское прошлое, взглянуть недоверчивым оком на взращённую этим прошлым литературу. Её, быть может, фундаментальный порок очевиден: это слишком литературная литература. Чувствуется преувеличенное значение, придаваемое стилю, даёт себя знать иудейская озабоченность чистотой, прозрачностью, благозвучием языка. Наконец, эта специфическая эмигрантская заносчивость, едва ли не запальчивость, словно хочешь уязвить оставшуюся «там» словесность с её вульгарностью, дурновкусием, инфекцией уличного жаргона, немзыкальностью, точнее, «безмузием» (античная *σινοισία*)... да мало ли чем можно её попрекнуть.

Прав ли ты, однако? Скажут: старческий брюзжащий пуризм, потеря связи с реальностью языка и общества. И всё-таки веришь, утешаешь себя тем, что кое-что сделано. Кое-что, не правда ли, заслуживает сочувственного внимания: сосредоточенность на человеке, на его подлинной, прикровенной внутренней жизни, уважение к детству, величие отрочества, бремя юности, гипноз женской телесности. И тайная, с трудом скрываемая гордость тобою, одинокий художник, и сострадание — к кому же, не к себе ли самому? С усмешкой, порой презрительной, чтобы не

сказать безжалостной, одёргиваешь себя, ибо давно привык самоотжествляться с восставшим из структуралистской смерти Автором, с тем, кто говорит о себе: «я» и перечитывает написанное.

* * *

Но если мы — это наше прошлое, если память изжитого и пережитого постоянно вмешивается в нашу внутреннюю жизнь, так что любая мысль и всякое чувство тянут за собой волоочащийся хвост воспоминаний, — если это так, писателю придётся сопровождать своих героев сквозь все метаморфозы пространства и времени, вместе с ними ковылять из одного времени в другое. Чем я и занимался в некоторых из своих сочинений. Нужны ли примеры?

Прошлое стоит за спиной и похлопывает тебя по плечу, чтобы напомнить о своём присутствии. История одной единственной жизни неисчерпаема; у каждого из нас есть своя античность, своё Средневековье, своё Новое время. Само собой и своя домотканая мифология.

...И вот я отправляюсь в очередное путешествие, пусть это будет возвращением — из Акрополя детства. в века отрочества. Вижу себя, словно в волшебном кристале, таким, каким был когда-то, избегаю по лестнице чёрного хода и стою у окна верхнего этажа с зеркальцем в руке, и целюсь порхающим лучом там внизу в девочку, героиню моего романа о старом доме с двором в центре Москвы, у Красных ворот.

Таков был наш дом — Нагльфар исландской Младшей Эдды, корабль, построенный из ногтей мертвецов. Однажды он сорвётся с якоря, и наступит конец света — Рагнарёк.

Я застаю время остановившимся не только в прослоенной мифами памяти, но и в реальной действительности. Близится финал истории, девочка, внучка деда-каббалиста и дочь бесследно исчезнувшего отца, хулиганка и бунтовщица, дух революции, исчерпавший себя, предвестница большой войны, приносит гибель моему герою, в которого она влюблена, красавцу-пустоцвету Толе Бахтыреву. Немецкая переводчица усмотрела в доме моего детства трехъярусную средневековую модель мира. Высоко под небом, на чердаке, прячется 13-летняя Люба, дочь убитого в Тридцать седьмом и, следовательно, никогда не существовавшего отца. В подвале, как в преисподней, обитает её еврейский дедушка, ме-

жду верхом и низом, раем и адом — чистилище этажей, где ютится в затхлых полутёмных квартирах, карабкается по грязным лестницам человечество жильцов.

Герой этого времени. Детство Тридцатых

Подросток, по фамилии Казаков, по прозвищу Казак, небываемая, личность (я бы назвал его: малолетний Ставрогин), излучал демоническое очарование, покорял самоуверенностью, таинственностью, инстинктом власти. Одним своим появлением он вселял в душу суеверный страх и ожидание опасности. Кто он был такой? Казак проживал в нашем переулке, но где, в каком доме, никто не знал, он заходил к нам во двор неизвестно зачем, но мы-то знали — чтобы вкусить сладость победного превосходства, покуражиться, поиздеваться над нами. Как и нам, ему было 10–11 лет, что-то было в его лице, в хищном взгляде — он искал жертву; пожалуй, он был красив, но какой-то отталкивающей красотой; был не столько силен физически, сколько ловок и отважен; демонстрировал презрение к опасности, ко всем нам и нашей трусости, по-обезьяньи взбирался вверх по пожарной лестнице, — в этом ещё не было ничего особенного, мы все это умели; но, перехватив цепкими худыми руками железную перекладину, соединявшую лестницу со стеной дома на уровне высокого второго этажа, он передвигался по ней, перебирая ладонями, не ведая страха, легко подтягивался, как на турнике, извивался и болтал ногами в пустоте, возвращался к лестнице к всеобщему облегчению, спускался вниз и прыгивал с победным видом. Благодаря таким упражнениям авторитет Казака возрастал невероятно. Но этого было мало. Он мог, изловчившись, схватить свою жертву за нос и потащить за собой, уверенный, что не встретит сопротивления, неожиданно мог сбить с ног, подставив ножку, в суверенном сознании своего превосходства, наградить любого постыдным прозвищем... После чего вдруг исчезал.

Мир отрочества, словно кривое зеркало в Аллее смеха в Парке культуры и отдыха имени Горького, отражал мир взрослых. Догадывались ли мы, что наше едва проклюнувшееся будущее должно было совпасть с эпохой, чьим лозунгом было насилие, опознавательным знаком — садизм? Сопляки, мы знать не знали о том, что уже стало известно взрослым, о заговоре

молчания, о тайне, глухой и зловещей, о том, что судьбу всех и каждого в нашей самой счастливой стране решал восславляемый всем народом карлик, решало глубоко засекреченное, разветвлённое ведомство, пополнявшее свои ряды садистами и палачами. Чего доброго, и наш друг-враг, герой и злой гений Юрка Казак, доживи мы все до взрослых лет, стал бы «сотрудником» — оборотнем с неподвижным хрустальным взглядом в долгополой шинели, в фуражке с голубым околышем, и звёздочками на воротнике. Он был буквально создан для этого будущего. Я говорю: друг, и в самом деле, Казак питал к нам особую привязанность, нуждался в нас, как проголодавшийся хищник нуждается в добыче.

Будущее откармливало для себя кровавую пищу. Оно готовилось к тому, что произойдёт, и уже намечало себе задачу и высшую цель. Поколение мальчиков, следующее после нас, подрастало для того, чтобы погибнуть на войне. Ожидание большой войны насытило воздух эпохи. Какофония века уже звучала, неслышная для нас. Уже были написаны варварски-радостные, дышащие фашистским оптимизмом *Carmina burana* Карла Орфа, уже громыхали, отбивая шаг коваными солдатскими башмаками-калигами по Аппиевой дороге под зовы римских военных букцин, победоносные легионы Цезаря в заключительных тактах симфонической поэмы «Пинии Рима» Отторино Респиги, написана Первая, посвящённая Октябрю победительная симфония юного Дмитрия Шостаковича.

Радио пело, гремело, хрипело в картонном рупоре на шкафу, и я слышу его сейчас, сгорбленный под тяжестью омерзительного прошлого, — и маршировало, размахивая руками: если завтра война... малой кровью, могучим ударом.

Мы не чуяли трупного запаха. Не догадывались, что растём на необозримых кладбищах Гражданской войны и новейшей истребительной кампании — коллективизации сельского хозяйства. Насилие и садизм стали исторической эмблемой эпохи, подобно тому как они правили бал в переулках нашего детства. Ходить одному здесь было опасно. Здесь бушевала фашистская революция подростков: весь район кишел малолетними палачами-истязателями, вечно чего-то ищущими, похожими на грызунов, озабоченно сопящими от непросыхающего насморка, харкающими вокруг себя комками зеленоватой слизи.

Школа 30-х годов была кошмаром. В каждом классе сидели на задних партах, свистели и визжали, изрыгали грязную брань, целились из рогаток и отплёвывались дети-бандиты, вечные второгодники, которых сплавляли, спасаясь от них, из школы в другую школу, а оттуда ещё куда-нибудь по соседству. Грозой терроризированных педагогов был дракон по имени Семёнов, омерзительная личность, отпрыск криминальных родителей, с жёлтыми маслеными глазами дикой кошки, с хлюпающим носом и мокрыми губами; но и он был не один, у него была своя клиентела — подражатели и подчинённые; вся эта нечисть сбивалась в стаи, кто-то однажды вышиб из рук портфель, когда я поднимался по лестнице, — был такой случай, — наклонился поднять и получил удар носком ботинка в лицо, кости носа были сломаны, и кровь ручьём лила на ступеньки. Меня отвёли домой, на другой день я предстал перед врачом, который вправил мне, надавив большим пальцем, скошенную набок переносицу, но недостаточно, и мучительная процедура повторилась. Это была жизнь, была школа Куйбышевского района столицы.

В вестибюле на постаменте из, выкрашенной под мрамор фанеры алебастровый вождь отечески обнимал сидящую у него на коленях девочку узбечку Мамлакат, которая собрала невероятное количество хлопка. Там учительница, которой не давали войти в класс, сидела за исчёрканным мелом столиком перед классом с партами улюлюкающих выродков, прикрывая глаза ладонью, чтобы не видели, как она плачет. Там, на перемене в коридоре тебя могли, подкравшись сзади, схватить и повалить на пол, окружить и делать с тобой все, что взбредёт в голову. Это были наследники — внуки и правнуки эпохи великих перемен, грандиозной, растянувшейся на полвека общенациональной катастрофы, превратившей общество в фарш. О, сколько событий происходило в эти годы, освоение полярного Севера, Умберто Нобиле в парадном мундире на воздушном шаре над Северным полюсом, крушение «Челюскина» и высадка пассажиров и команды на лёд, и великий Амундсен, и лётчик Чухновский, однажды посетивший нашу школу, и две экспедиции к Южному полюсу, Амундсена и Скотта, и гибель Скотта, и знаменитые папанинцы на льдине... И первые футбольные матчи, и книга Льва Кассиля «Вратарь республики», и футбол в нашем дворе.

Похож на человека

Из архива мертвых лет

«Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, — сказала она, — ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность — это не главное. Есть такая поговорка: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, — и она постучала пальцем по его лбу, — вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли не все пальцы,

выкатился из подворотни, вослед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное — не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! — сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. — Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, — сказал парень по кличке Пожарник, — дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, — продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. — Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» — крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась переключка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрему, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» — спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, — закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. — А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, — сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшемуся, чтобы уйти, — нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, — лениво сказал Пожарник, — чего жмотничаешь-то».

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», — молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, — сказал бодро Пожарник. — Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», — произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.

«Ну-ка, — сказал он, — повернись к свету».

Мальчик озирался.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», — задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой, — продолжал Бацилла, — дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в класс, классная руководительница — это был её урок — уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё на место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте — помнится, её фамилия была Осколкина — сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка,

дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, — продолжал он, — виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостойн звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», — сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь», — мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю, — сказала девочка. — Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», — возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще, — сказала девочка по фамилии Осколкина, — это не метод».

«Что не метод?» — спросил Нос.

«Не метод борьбы», — сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гиппопотам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы знаем, что это не ты, — сказал директор. — Ты этого никогда не

сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наябедничал». — «Это твой долг. Ты обязан сказать», — прибавил басом Гиппопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него наседать. Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, тот сам становится соучастником. Так как же? — сказал директор. — Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку. Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была реставрирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе, они уже не имели значения.

Следующий день не принёс ничего нового, его втолкнули в девчачью уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплюнет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивлённо, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не, мужики, бля-буду, это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но перед ним встанет слюнявый гнилоглазый Лёнчик. Ему защипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперёд под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнёт ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать её незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прогнала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ведром и шваброй, он дождался, когда она

войдёт в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся — уборщица стояла в дверях учительской и восхищённо смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, ещё кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина — откуда она взялась? — и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. Зачем, спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По чёрной лестнице спустились в подвал, всё оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула забухшую дверь, они поднялись по крутым ступенькам наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулочек, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться, — сказал Нос, — я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» — спросила она.

«Мне на них наплевать. Я всё равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать её на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас он подумал, что девчонка смеётся над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак. — Она обиделась. — Вовсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше», — сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдёт в школу.

«Как это так, не пойдёшь?» — возмутилась она.

«А вот так. Не пойду, и всё».

«Пойдёшь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чём дело?» — спросила она.

Он ответил: ни в чём.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, — спросила она, — что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице. Хочешь пасти свиней. Ты добиваешься, — сказала мать дрогнувшим голосом, — чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью».

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадями, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ — подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все следующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги, но надо было быть последним идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить из рук бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетёной бутылкой он отправился в лавку и закупил необходимое. Расчёт был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нёс бутылку — разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. Накануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненно-рыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось её удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет, — и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением, — нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! — вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить её в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпросился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск всё же велик. Он засёк время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошёл к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придёт в школу. Зубной врач положил ему мышьяк, чтобы убить нерв, но боль становится всё сильнее, он даже не знает, дотерпит ли он до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесёшь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она всё равно уже не понадобится.

Но Осколкину всё-таки надо было предупредить. Он догнал её. «Слушай, — сказал он. — Только поклянись, что никому не скажешь. Клянёшься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянёшься?» — спросил Нос.

«И не подумаю, — сказала она презрительно, — чего это я буду клясться».

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура. Это в твоих интересах».

«А в чём дело?»

«Я завтра не приду», — сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи», — сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать».

И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трёх кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдёт проход к океану, и в самом деле достиг пролива, и дал ему своё имя. И когда, наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных плёмен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересёк трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком латвийского посольства, он стоял, любуясь замысловатым гербом на дверях. Было всё ещё рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошёл, держась у самой стены, к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади верёвочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошёл вверх по ступенькам, держа в одной руке плетёную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, и выглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Всё так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шёл, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой нечего было делать, он оставил её на подоконнике. Затем он вернулся к чёрному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не пропустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагал обычным своим путём со стороны Кривого переуллка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием грузовик, шофёр высунулся из дверцы, кто-то там отворял створы ворот и пререкался с водителем. Издалека слышалась сирена. Нос взгляделся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись, с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стёкла, кто-то выбежал из подъезда, люди металась по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переулка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой чёрный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперёд, милиционеры оттесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переулка из-за угла вывернули ещё две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагал, сунув руки в карманы, перешёл трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шёл без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.

Папа. Самфильм. Если завтра война

Если завтра война,
Если завтра в поход,
Если тёмная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную родину встанет.
Полетит самолёт, застрочит пулемёт,
Загрохочут железные танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдёт,
И помчатся лихие тачанки.

Вас. Лебедев-Кумач

Утро, я всё ещё в постели, папа стоит на цыпочках, поправляет галстук перед маленьким, в виде сердечка, зеркальцем, вставленным в дверцу шкафа, пьёт чай в соседней комнате и уходит на службу. Я вскакиваю с кровати.

Папа приносил рулоны бумаги — вероятно, обрезки больших типографских рулонов. Я усаживался перед столиком, с которого убрали швейную машину, и рисовал на длинной ленте фильмы — производство киностудии «Самфильм». Мог ли я представить себе, что это название предрекает другое самодельное изобретение, Самиздат? Шёл 1938 год, мне было десять лет, мамы уже четыре года не было в живых.

Первый фильм открывался кадром с фирменным изображением кремлёвской башни со звездой, далее, как полагалось, следовала реклама; покупайте соус «Соя Кабуль» и «Соя Восток». Этот соус я никогда не пробовал, его назначение было неизвестно.

Первенец студии был немой фильм на актуальную тему — о будущей войне. В кадре между двумя вертикальными разделительными линиями изображена московская улица. Идут прохожие. На углу дома, похожего на наш дом в Большом Козловском, громкоговоритель. Титры: «Граждане, внимание! Соседняя империя объявила нам войну».

Киностудия выпустила приключенческий фильм «Загадочный портрет» с каким-то путаным сюжетом, который я не помню, а затем, под впечатлением от «Рассказов о Мировой войне», замечательной книги, которая запомнилась на всю жизнь, появилась картина под названием «Верденская мельница» — о многомесячном сражении 1916 года на Западном фронте, которое унесло один миллион солдат, французов и немцев. На стене было вывешено объявление о новом фильме.

К рабочему креслу без спинки подвязан картонный экран с двумя вертикальными прорезями. Режиссёр, он же оператор, сидит на коленях позади, на сиденье кресла и протягивает киноленту через прорези. Перед экраном на стопке толстых книг горит свеча. Свет в комнате потушен, окна занавешены гардинами. Это был кинозал. Зрители — папа и домработница Настя.

Пансофия

Из воспоминаний юности

В 1831 году, в первых числах января в Веймаре восьмидесятилетний Гёте завершает последний акт 2-й части «Фауста». Горная и лесистая местность. В ущельях, на уступах скал прячутся кельи святых отшельников. *Chorus mysticus*, мистический хор, поёт:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan¹.

Пастернак переводит:

Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь — в достижение.
Здесь — заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.

Замечательное переложение. Но, конечно, не передающее глубину и таинственность, и волшебную музыку оригинала.

Всё преходящее есть лишь подобие. В одном из фрагментов Новалиса черты лица сравниваются со строением тела. Адам Кадмон, первочеловек в учении еврейской Каббалы, есть как бы некая партитура или предварение Вселенной. Уподобление человека миру, микрокосма макрокосму, — фундаментальная идея пансофии, или всеобъемлющего знания, о котором грезило позднее Средневековье. Завладеть этим знанием жаждет доктор Фауст.

Я подумал о том, что залогом или общим знаменателем этих сближений является красота. Изумление перед зрелищем совершенства и красоты мироздания, Гармония Мира, как озаглавил свой главный труд Кеплер, — вот что их породило. Однажды мне пришло в голову написать о красоте художественной прозы. С чем её можно сравнить? Будет непростительным упущением — коль скоро мы вторглись в область полуфилософских, полумифологических материй — не упомянуть красоту женщины.

¹ «Всё преходящее есть лишь подобие. Всё недостижимое здесь становится событием. Всё неопишное содеяно здесь. Вечно-Женственное влечёт нас туда, ввысь».

Совершенная проза, идёт ли речь о платоновой, написанной на исходе IV века «Апологии Сократа», о латинской прозе Золотого века и её учениках, французах века Светочей, о «Герое нашего времени», «Пиковой Даме» или «Египетских ночах», о повестях и рассказах Чехова, о Флобере и Борхесе, — не довольно ли этих примеров? — совершенная проза по праву может быть уподоблена женщине, гармонической завершенности её форм и линий — красоте, которая выдаёт безупречный художественный вкус Творца. Музыка совершенной прозы утоляет горечь жизни, скрашивает одиночество и опровергает роковую безысходность хайдеггеровского бытия-к-смерти.

Взгляни на иероглиф

Маленький роман

Как океан объемлет шар земной...

I

Визит

Нижеследующий рассказ есть, собственно, отчёт о поездке для моих друзей в город детства, и ничего более; постараюсь обойтись без беллетристических украшений, но меня смущает одно обстоятельство, рискующее подорвать доверие к автору. Рассказ этот настолько же объективен, насколько и «субъективен» — именно это, мне кажется, гарантирует его достоверность. Поясню, что я имею в виду.

Стихотворение Тютчева, я думаю, помнят все:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой...

Нам нелегко признать равноправие двух сторон нашего бытия. Пробуждаясь, мы с растущим недоверием провожаем плавающие в мозгу хлопья ночных сновидений, здравый смысл напоминает, что мы вернулись из мира фантазий в реальный мир. Но с тем же правом можно усомниться в приоритете дневной дей-

ствительности, глядя на неё из бастионов сна. Если мы *отсюда* смотрим на сон как на нечто призрачное, то сон, в свою очередь, взирает на нас *оттуда*, и мнимой оказывается реальность дня.

Мысль эта стара как мир. Что же мешает нам сделать окончательный выбор? Постоянство яви и эфемерность сновидений, отвечает Паскаль. Если бы королю каждую ночь снилось, что он бедный ремесленник, а ремесленнику — что он король, они не сумели бы отличить грёзу от действительности. Если бы философ превратился во сне в махаона, говорит китайская мудрость, а махаону приснилось, что он философ, они не смогли бы решить, кто они на самом деле. Но довольно об этом; перейдём к делу.

Начну с начала, с того момента, когда, пройдя паспортный контроль, я двинулся к выходу и поискал глазами в толпе встречающих человека с картонкой, на которой должно было стоять моё имя. Прошло полчаса, прошёл час. Один за другим приземлялись самолёты, выходили новые пассажиры, сменялись ожидающие, человек с картонкой не появился. Я увидел в этом дурное предзнаменование. Пришлось взять такси. Сумерки сгустились. Ехали сперва довольно быстро, затем, по мере того, как огни столицы обступали нас всё гуще, движение замедлилось, шофёр едва выгребал в потоке машин. Поздно вечером добрались до гостиницы.

Новые впечатления ожидали на каждом шагу. Шутка ли, столько лет я не был в этом городе. Не могу сказать, чтобы я жаждал вернуться: все нити, казалось мне, давно оборваны. Известие было для меня полной неожиданностью. Видите ли, я всегда думал, что для того, чтобы о нас вспомнили, — если это вообще когда-либо произойдёт, — нам надо умереть. Только это условие может подарить моим сочинениям шанс возбудить сочувственный интерес на родине. Я, однако, всё ещё жив. Назавтра предстоит церемония возложения лаврового венка на мою облысевшую голову.

Мальчик потащил наверх мой чемодан. Гостиница, двухэтажное, старое, но перестроенное здание с замысловатой вывеской, находилась в самом сердце города, на улице, чьё название воскрешает память о храме Покрова Богородицы. Смутно помню эту церковь, она была снесена или, по крайней мере, порушена, но сейчас вновь возвышается, отстроенная и расписанная, как палехская шкатулка. Трамвайная линия давно уничтожена. Лялин

переулок был рядом, чуть подалее остатки Бульварного кольца пересекали улицу. Направо, если стать лицом к Садовому кольцу, Покровский бульвар; налево — Чистые Пруды; город-палимпсест всё ещё хранил следы старинной планировки.

Внутри моя гостиница оказалась много вместительней, чем показалось снаружи. Путаница лестниц, ведущих то вверх, то вниз, переходов с зеркалами, откуда навстречу поднимается загадочный двойник. Войдя в номер, я сбросил одежду и через несколько минут уже спал.

После завтрака оставалось свободное время, я вышел пройтись. Но разгуливать здесь не так просто. Я очутился в городе, охваченном перманентной лихорадкой. Привычная теснота теперь достигла невозможной степени. Как и накануне, улицу заправили машины, утрюмые толпы колыхались на узких тротуарах. Вас могли запросто сбить с ног. Самый воздух содержал, вместе с выхлопными газами, некую субстанцию, от которой кружилась голова и путались мысли. Меня вынесло к бывшему Земляному Валю. Я говорю: бывшему, оттого что здесь мало что можно было узнать. Исчез кинотеатр, исчезли домики и лавчонки моего детства, вместо них воздвиглись многоэтажные сооружения, огромные рекламные щиты взывали к небесам на непонятном языке. Столица, ослепительно новая, напоминала раздетую в пух и прах старуху, у которой под париком спрятаны седые космы, под густым слоем румян — глубокие морщины

Несколько времени погода я вынырнул в переулке, по которому некогда ходил в школу. Здесь было спокойней. А вот и Юсуповский сад, кованые чугунные листья высокой ограды, сиротливые деревья и причудливый дворец. Большой Козловский — ещё немного пройти, окна нашего дома. Мне пора было возвращаться.

Я устал, рассчитывал прилечь, но зазвонил телефон: за мной приехали. Надо было привыкнуть к тому, что приходится выезжать заблаговременно, движение на проезжих улицах происходит едва ли не со скоростью пешехода. Кажется, в гостинице остановился ещё кто-то, приглашённый участвовать в церемонии. Я попросил дежурную передать, чтобы сопровождающие поднялись ко мне в номер. Как вдруг оказалось, что в комнате я уже не один.

Гость был в широком и бесформенном, балахонообразном пальто, какие сейчас никто не носит, в кепке, надвинутой на лоб, вертикальные борозды прорезали серое лицо, отчего оно как буд-

то сползало вниз. Гость помалкивал, я тоже не нашёлся что сказать. Не ожидая приглашения, он уселся за круглый столик, приблизил лицо к вазе с цветами. Неужели настоящие?

«Если, — возразил я, — вы имеете что-нибудь мне сообщить, то, пожалуйста, покороче. Меня ждут внизу».

«Это я тебя ждал... Ты говоришь мне “вы”?»

Я растерялся: ведь я своего отца помню совсем другим: он не был стар. Он был хорошего роста, я едва доставал ему до пояса. Носил габардиновый плащ и низко, важно надвинутую кепку с большим козырьком. Свою мать я почти не помню. Существовала фотография: мы втроём, я посередине, мне не больше трёх лет. Моя мама часто ездила на гастроли с театром, неделями, даже месяцами её не было дома. Я научился не скучать по ней. Однажды она уехала и не вернулась. Мы окончательно остались одни.

Мой отец был молод, высок и красив. Из-под козырька с насмешливой любовью смотрели на меня его зелёные глаза. Таким он отправился на сборный пункт в первую неделю войны; это был последний день — с тех пор я его больше не видел. Как почти всё народное ополчение, спешно созданное и отправленное на фронт, он скорее всего погиб где-нибудь под Вязьмой; вообще же говоря, судьба этого войска осталась неизвестной.

«Мы опаздываем, — он взглянул на часы, — неужели нельзя было вовремя одеться...»

Я надеялся, что отец забудет про бант. Не тут-то было. Мы стояли перед зеркалом в дверце шкафа, он подтянул галстук и нагнулся ко мне, поправить шёлковый, ярко-красный бант, щеко-тавший подбородок. Ненавистный бант, который делал меня похожим на девочку. Перешли трамвайную линию, папа крепко держал меня за руку, зорко поглядывая по сторонам, и я вспомнил турникет у выхода из Чистопрудного бульвара в Большой Харитоньевский переулок, прогремевшую мимо «аннушку» с буквой А на белом диске головного вагона и собаку, прыгавшую навстречу мне на трёх лапах. Задняя нога была поджата, из неё лилась на булыжную мостовую алая кровь.

Когда мы вошли в невзрачное, как почти все дома на этой улице, здание с табличкой у входа и поднялись по лестнице, вступительные испытания уже начались, в коридоре толпились родители с празднично наряженными детьми. Дверь отворилась, разъярённый папаша, держа за руку испуганную девочку с ог-

ромным белым бантом в чёрных волосах, кричал, что он будет жаловаться. Следом вышла полная, очень строгая тётя и назвала мою фамилию. А вы, сказала она моему отцу, видимо, под впечатлением спора с родителем не принятой девочки, посидите в коридоре.

Я стоял перед роялем, вспотевший, мучимый свом бантом, полная дама сыграла одним пальцем короткую фразу, я простучал карандашом по крышке рояля ритм. Снова была сыграна мелодия, я пропел её. После чего наступил главный момент. Я тяжело дышал, неожиданно ласково она сказала: «Ты можешь снять» — и сама распустила мне ленту. Я спел революционную песню:

Заводы, вставайте, шеренги смыкайте,
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье...

Дама сочувственно кивала, и я вернулся в отель.

Там было тихо, в номере стоял нераспакованный чемодан, на столе телефон; нажав на цифру гостиницы — выход в город, — я позвонил в секретариат премии, чтобы сообщить о своём приезде, после чего спустился перекусить в буфете, прежде чем отправиться на занятия в школу. Я не умел настраивать скрипку, учитель, высокий тощий человек с бабочкой на шее, поворачивал колки, придерживая подбородком мою детскую скрипку-половинку. Я стоял, вознеся это орудие казни, перед пюпитром, по вискам моим катился пот, плечи ныли, рука, державшая гриф, непроизвольно опускалась, стараясь незаметно опереться локтем о грудь; потные пальцы скользили по струнам. То и дело учитель вставал с места, подходил ко мне, похлопывал по спине — выпрямиться, выше локоть, не горбись, не опирайся грифом на ладонь, кисть должна висеть свободно. В другом классе, там, где когда-то происходил приём в музыкальную школу, все сидели за партами, висела доска с нотным станом, дородная дама (та самая) рисовала мелом продолговатые, как миндалины, ноты, и был ещё один зал, где происходили занятия ритмикой. Раздавались команды, рояль стучал и дребезжал, это был Марш военно-воздушных сил: всё выше, и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц; это был Глинка, марш Черномора, там, в облаках перед народом, через леса, через моря колдун несёт богатыря; в одних и тех же небе-

сах — почему бы и нет? — гудя, пронеслись краснозвёздные стальные птицы и летел злой карлик, и теперь он, держа на весу серебряную бороду, маршировал и приплясывал впереди. Ученики, в спортивных тапочках, трусах и майках, высоко поднимая колени, дефилировали следом за карликом, как вдруг девочка, у которой резинки с застёжками на чулках высывались из-под сатиновых трусов, та самая дочка с бантом в чёрных волосах, которая провалилась на экзамене, но её родители всё же добились своего, — споткнулась и шлёпнулась на пол. Учительница выбежала из-за рояля, хоровод расстроился, девочку подвели к окну, слезы висели у неё на длинных тёмных ресницах. Я узнал её, она жила в нашем доме, но никогда не выходила играть со всеми во двор; изредка я видел её в окне второго этажа, она следила с завистью за нашей беготнёй.

Черномор отлепил бороду, намотал на скалку и спрятал в портфель. Школа опустела. Черномор устал, что-то прошамкал, ему нужно было успеть на праздник в детский сад, а потом ещё в одну школу.

«Ты ждёшь свою маму?»

Я ответил, что у меня нет мамы.

Он качал головой, поглядывал на меня своими склеротическими еврейскими глазами. Давно пора было возвращаться в гостиницу, мы стояли на тротуаре, пережидая проходивший мимо трамвай, карлик крепко держал меня за руку, он был почти такого же роста, как я. Откуда ты приехал, спросил он, и я чуть было не ответил: из Германии.

«Ниоткуда», — сказал я.

Он продолжал спрашивать: где я живу? Знаю, как же, кивнул он, когда я назвал Большой Козловский переулок. Черномор спешил, но не бросать же меня на середине пути.

«Это страшный город, — сказал он, — опасный город, нельзя одному ходить по улицам». Что он имел в виду: уличное хулиганье или движение транспорта? Очевидно, последнее: как раз в эту минуту, дребезжа, шёл трамвай.

Едва только освободился путь, я вырвался и, не простившись, побежал к вывеске моей гостиницы, куда вошёл уже взрослым человеком.

Вечером, не зная, куда себя деть, я сидел в ресторане отеля, зал постепенно заполнялся людьми; я спросил девушку, подо-

шедшую ко мне, не хочет ли она выпить со мной. Ответом был молчаливый кивок, без всяких церемоний она уселась напротив меня. Её глаза были густо подведены, крошка чёрной краски повисла на ресницах, напомнив мне слезинку на реснице у девочки в музыкальной школе. Я сказал ей об этом. Принесли коньяк. Я сразу догадалась, сказала она.

«Догадалась — о чём?»

«Что это ты. Тебе присудили премию».

«Я думал, — сказал я, — что для того, чтобы стать известным, надо сперва умереть. Может, я и вправду умер? И явился с того света».

Она рассмеялась. Мне понравилась эта тема, я хотел сказать, что и по ту сторону жизни можно видеть сны. Она не слушала.

«А ты меня, я вижу, не узнаёшь!»

Заиграла музыка, люстра метала разноцветные огни, мы вышли из-за стола. Моя партнёрша танцевала профессионально, затуманенными глазами смотрела на меня, время от времени, после резких поворотов, словно бы ненароком прижималась ко мне животом и грудью. Её губы были приоткрыты, свежее дыхание обвевало меня. *Bar mädchen*.

«Что это?»

«Девушка в баре».

С прелестной ужимкой, опустив покрашенные ресницы, она сказала, что я могу пригласить её к себе наверх, плата входит в стоимость номера. Всё так же согласно мы двигались в ритме танго. «Только я, — прибавила она, — подошла к тебе не для этого. Помнишь Черномора?»

«Конечно, — сказал я. — Тем более что мы только что виделись... Но ты поразительно молода. Столько лет прошло».

«Это для тебя прошло. А собаку, попавшую под трамвай, а верблюда — помнишь?».

«Я всё помню», — сказал я и чуть было не прибавил: и как твой отец кричал, что будет жаловаться. И чулки на резинках помню. Мы допили коньяк, я оставил на столе чаевые, мы перешли на ту сторону улицы и миновали музыкальную школу, всё ещё существующую, — «смотри-ка, — проговорил я, — кто идёт!» Мой отец шагал навстречу, держа под мышкой чехол со скрипкой, и рядом бежал мальчик. Отец вёл меня в школу. Вот так же, рассказывал он, шли Бетховен и Гёте по аллее в Бад-

Тёплице. А навстречу им двигалась нарядная курортная толпа, знатные дамы и кавалеры, и Гёте, сняв шляпу, стоял сбоку от дороги и раскланивался, а Бетховен, представь себе, надвинул шляпу на лоб, скрестил руки на груди и молча, ни на кого не обращая внимания, прошагал сквозь расступившуюся толпу. Мой отец всегда рассказывал мне о великих композиторах по дороге в школу.

«Они нас не узнали, — пробормотал я, не совсем понимая, кого я имел в виду, — не обращай внимания...». Обогнув рыбный магазин, мы вступили на бульвар. За газонами, по ту сторону ограды, где проложены рельсы, «аннушка» приближалась, громко звоня, чтобы снова не задавить собаку. Я обернулся: один за другим оба вагона, покачиваясь, обогнули бульвар и скрылись в узком проезде на Покровку. Когда-то здесь, сказал я, на месте лодочной станции, цветочных клумб и аллей, знаешь, что было? Пруды, заросшие ряской, и топкий берег в камышах, и назывались эти пруды грязными, пока их не почистили при царе Алексее Михайловиче. И вот прошли столетия, от Чистых прудов остался один пруд, окружённый штакетником.

«Откуда ты всё это знаешь, это тебе твой папаша рассказывал?» — спросила Люда, — теперь я вспомнил, как её звали, она жила в нашем доме, только не выходила никогда во двор. Стояла очередь, к нам приближался, выбрасывая мозолистые ноги с двумя толстыми пальцами, жуя губами, высокий, мохнатый, горбоносый, надменный верблюд, и в корзинах, висевших между горбами, покачивались, как грибы, детские головы. Вожатый с длинной жердью в руках, похожий на дрессировщика в цирке, щёлкнув языком, остановил верблюда, вынимал из корзины каждого пассажира и ставил на землю. Моё сердце колотится от любопытства, нетерпения, счастья, вожатый подхватывает меня под мышки и сажает в корзину, где уже тесно, где рядом со мной, в лёгком пальтишке и капоре, сидит моя ребяческая любовь. И мы отправляемся в странствие по кругу, впереди на длинной отвислой шее невозмутимо покачивается губастая голова с хохлом, вышагивают длинные ноги, — ах, заволновалась моя подружка, меня там, наверное, хватились. Клиенты ждут девушку из бара. Я с негодованием покосился на Люду; она слегка развела руками. Работа как работа.

Мы поплелись назад...

«Только мужской интеллект, опьянённый сексуальным инстинктом, мог назвать красивым этот низкорослый, коротконогий и широкозадый пол...»

«Кто это сказал?»

«Шопенгауэр. Был такой философ».

«Дурак он, твой философ... И потом, у меня вовсе не короткие ноги. Хочешь меня?»

«Но на самом деле, — продолжал я, хотя то, что я собирался сказать, мысль, которая меня преследовала, явно не имела никакой связи с предыдущим, — на самом деле действует закон зеркал».

Людмила криво усмехнулась; кажется, она подумала: чего ради терять с ним время? Я продолжал:

«Ты разглядываешь себя в зеркале, а из зеркала та, другая, смотрит на тебя и думает, что ты — её отражение. Ты вспоминаешь прошлое, а прошлое вспоминает тебя. Видишь сон, а там считают, что ты им снишься... Где тут правда, где обман?»

Её голос донёсся:

«Ты совсем задурил мне голову. Выходит, и я — только сон?»

«Не знаю. Бывают сны наяву. Мы на грани времён. То, что приснилось ночью, кажется нам мнимостью, а сновидением кажется день. Сон может длиться одно мгновение, но это только здесь. Потому что время, вот эта круглая рожа циферблата — всё это существует в дневном мире... В пространстве сна времени нет».

Померкла люстра из фальшивого хрусталя, исчез город за окнами. Лампочки под чёрными колпачками освещали пюпитры и подбородки музыкантов, и огоньки свечей дрожали на столиках гостей; молча, лениво она поднялась, я взял её под руку, и, обогнув тени танцующих, мы прошагали к портьеру. Лестница звала к себе наверх. И снова, как в день моего прибытия, из лабиринта коридоров навстречу поднялся двойник, теперь он был во фраке, с бабочкой на шее, с искусственной розой в петлице, и, опираясь на его руку, рядом ступала поддельная красавица.

Мой номер, чисто прибранный, неузнаваемый; ночник над широкой кроватью, и отражённая в тусклом стекле призрачная пара. Как ты меня находишь, спросила та, что когда-то споткнулась на занятиях ритмикой, сейчас она была без всего, с нагими опущенными руками, с тщательно выбритым причинным местом, и я ответил, что не видел женщин прекрасней.

«Ты хочешь меня? Тогда за чём дело стало. Или ты боишься? Не волнуйся: нас проверяют. Медосмотр каждую неделю».

«Воззришь! — Я покосился на Люду. Но её губы были сомкнуты. Голос звучал из зеркала. — Взгляни на этот иероглиф, на эту букву игрек, образованную двумя косыми складками паха и вертикалью сомкнутых ног... У тебя есть шанс, ты можешь его разгадать».

«Да, но после этого ты уже не будешь такой...»

«Э, что за беда. Немного времени пройдёт, загадка восстановится».

«Нет там никакой загадки...»

«А это мы ещё посмотрим!» — сказала она лукаво.

Я возразил: «Но меня всё равно уже не будет».

«Ты собираешься умереть?»

«Я уеду. У меня виза всего на три дня».

«Уедешь, а потом вспомнишь. И вернёшься ко мне».

«У тебя много других...»

«Зачем об этом думать? Мы здесь одни. Думай о том, что будет сейчас».

Она вышла из зеркала и стояла теперь возле кровати.

«Но чем же всё-таки объяснить... — сказал я, уходя от темы. — Чем объяснить, что я состарился, а ты молода и прекрасна?»

«А не надо ничего объяснять. Боишься, что не получится? Это, малыш, зависит от меня. Я тебе помогу. Снимай свои шмотки. Подойди ко мне сзади, обними меня, возьми мои груди в ладони. А! — воскликнула она. — Понимаю. Ты ревнуешь. Но ведь это было очень давно. И вообще, какая разница: сломал целку, не сломал?»

Неожиданная грубость опечалила меня. Я опустил голову. Вот ты и заговорила настоящим своим языком, подумал я.

«Не сердись. Ну, ляпнула, не подумавши... сама не знаю, что говорю. Я не помню. Я его с тех пор больше не видела».

В спальне было тепло, но она озябла, я подал ей халат.

«Я думаю, — проговорила она, — он давно умер».

Это была неправда. Мы стояли все трое, переминаясь с ноги на ногу, возле пожарной лестницы.

Мальчик с серыми, злыми глазами — ещё бы его не узнать! Гибкий, грубый, отважный и наглый. Поплевав на ладони для

шика, он полез наверх по ступенькам из арматурных прутьев. Я и сам сколько раз лазал по этой лестнице на крышу нашего дома, но чтобы так рисковать... На высоте второго этажа лестница крепится к стене двумя железными штангами. И вот он придвинулся к краю, левой рукой схватился за перекладину, правой держится за лестницу. «На-ра-ра...» — он там что-то пел и, кажется, даже «Заводы, вставайте», — неужели та самая песня? Ловким кошачьим движением, изогнувшись, перехватил второй рукой перекладину и повис в пустоте лестницей и стеной дома, болтая ногами, как на турнике. Я взглянул на Люду — в страхе и восторге, открыв рот, она смотрела на него. Героя звали Юрка Казаков, Казак.

Он отодвинулся, перехватывая штангу тонкими руками, ещё дальше от лестницы, подтянулся раз и другой, силясь коснуться перекладины подбородком, затем просунул ноги между руками, отпустил руки и повис, качаясь, вниз головой. Я снова покосился на девочку. «Ты! — сказал я. — Ты не спускала с него восхищённых глаз!» — «Ничего не помню», — быстро сказала Людмила. Мы всё ещё стояли в моей комнате с зеркалом, ночником и кроватью.

«Ты не сознавала, что должны были означать эти полуоткрытые губы...».

«По-моему, — отвечала она, — ты просто помешался».

Мы топтались у подножья пожарной лестницы, и теперь я был ещё дальше от неё, ещё безнадежней. Валкой походкой Казак подошёл к ней вплотную. Она не отодвинулась. «Поцелуй меня!» — скомандовал он. Ты не двинулась, ты смотрела и не смотрела на него, полуопустив ресницы. Тогда он схватил тебя за голову и громко, смачно чмокнул в губы.

«А ты чего тут торчишь, — сказал он. — Вали отсюда, у нас свои дела...»

Женщины всегда достаются победителю. Что мне ещё оставалось делать? Они ушли.

Я спросил: где это произошло?

«Что?»

«Это!»

«Ничего не произошло. Не было ничего».

«Нет, было! На лестничной площадке. Где с двух сторон двери квартир, а посередине окно во двор».

«Писатель, — сказала она презрительно. — Выдумал, а потом получишь за это премию».

«Он прижал тебя к подоконнику».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. А потом ты опустилась на пол».

Несколько времени я простоял в задумчивости, потом двинулся за ними. Я шёл на цыпочках, и было совсем тихо. Я поднялся на второй этаж, и там никого не было.

«Вот видишь, — сказала Люда. — Я просто ушла домой».

«Но тебе самой хотелось попробовать».

«Ничего мне не хотелось».

«А он куда делся?»

«Казак? Почём я знаю».

Я крался по лестнице, и внезапно мне всё опостылело; я остановился. Плевал я на них, пусть делают что хотят. Мысленно я произнёс это слово, означавшее, что именно они там делают. Наша квартира находилась в другом подъезде. Пойду сейчас домой и докажу вам всем. Отец на работе, мне никто не помешает. Привяжу верёвку к крюку, на котором висит люстра, встану на стол и спрыгну.

Она меня догнала.

«Тебя зовут к телефону».

Холодно, презрительно я оглядел её с головы до ног и, ничего не сказав, зашагал дальше.

«Тебя к телефону!»

«К какому ещё телефону?»

«К нашему...».

Я не стал спрашивать, кто, и в чём дело, и почему звонят в квартиру, где живёт Люда, коротко бросил: «Да пошла ты...», несколько минут мы шли рядом, и непонятная надежда шевельнулась во мне, я почувствовал, что мне расхотелось кончать жизнь самоубийством. Я повернул голову увидел девочку, и её красота окончательно сразила меня. Дверь чёрного хода была открыта, мы прошли через коммунальную кухню, в коридоре на стене висел телефонный аппарат, и трубка болталась на проводе. Звонили из гостиницы, мне пора было отправляться на церемонию присуждения литературной премии.

II Костёр

Гости собрались в просторной гостиной, она же музыкальная комната, прекрасный летний день, за окнами всё утопает в зелени. Всё ещё неугасшая традиция домашних концертов. Три пьесы Шуберта D 946, из посмертного, бодрое Allegro assai, в котором слышится затаённая тоска. После музыки закуска и болтовня; я прощаюсь.

Я собрался писать — о чём? Не всё ли равно. Я мечтаю о прозе, свободной, как музыка, от «идей», мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования, вместо этого — каприз прихотливых сцеплений, встречных образов, поворотов, возвращений. Так гребец оставляет вёсла и ложится на дно лодки. И чувствует, как течение уносит его на своей спине. Друг мой, вам это знакомо: усталость от классической прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Но не я ли твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в бездну. Горячие от солнца крыши нашего детства: карабкаешься по железной лестнице, добираешься до громающей кровле, до угла, забираешься на брандмауэр соседнего дома и, подойдя к краю, боком, упёршись ногой, заглядываешь вниз. И видишь себя самого, разбившегося, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

Гости собрались в музыкальной комнате, пианист опускает крышку рояля, тут лукавая двусмысленность литературы тотчас даёт себя знать. Хочешь освободиться, ан нет, словесность призывает тебя к порядку. Изволь явиться перед читателем в приличном виде, при галстуке и с розеткой в петлице. Тонкий аромат роз, щебет за окнами и женский щебет; дамы слетаются над пирожными, маленькими глотками отпивают кофе из крошечных чашек. Не вы ли мне внушали, мой друг, что жизнь не нуждается в том, чтобы её упорядочила литература, жизнь существует ради себя самой, её смысл и оправдание — в ней самой. В мире всё есть как есть и всё происходит так, как оно происходит сказал Витгенштейн.

Я мог бы возразить, — если вы ещё способны меня слушать, — что тезис о самоценности есть отрицание ценности, и ут-

верждение, будто смысл нашего существования заключается в нём самом, равнозначно признанию бессмыслицы. Сказать, что жизнь — самоцель, всё равно что сказать: цель жизни — смерть.

Похоже, что в самом деле жизнь, какова она есть, жизнь сама по себе — бессмысленна, как бессмыслен абсурдный мир вокруг. И что тайный импульс нашего существования, двигатель внутреннего сгорания, — это тяга к смерти. Но зато у нас есть литература. Преобразить жизнь, свою или чужую, в нечто такое, в чём мерцает, как костёр в тайге, высший смысл, противопоставить пламенеющее бытие человека непроглядной тьме — не такова ли сверхидея литературы?

Вот вам на первый случай одна идейка, вы спросите, какое отношение она имеет к сказанному. Если можно мгновенно перенестись в прохладу московского двора, куда не заглядывает солнце, поставить ногу на ступеньку-перекладину пожарной лестницы и схватиться за верхнюю перекладину, на всю жизнь сохранить в ладонях ощущение шершавого железа, — и вот я лезу вверх, этаж за этажом, выбираюсь на буро-красную, с чешуёй шелушащейся краски, крышу, — если это так просто — передвигать, как попало стрелку часов и лет, то почему бы вовсе не пренебречь временем?

Если можно свободно смешать «события», перетасовать лица и происшествия, — долой каузальность!

Заглянуть, как только что заглядывал в пропасть каменного двора, за кулисы времени, и увидеть себя тогдашнего, и понять, что «теперь» и «тогда» — лишь поручни нашего сознания, что благословение детства в том, что оно игнорирует будущее и не знает прошлого, благословение памяти — что она отменяет грамматику с её парадигмой глагольных времён. Память, не правда ли, — ведь это модель вечности, где всё происходит одновременно.

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется за что попало, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, тёмные углы.

Довольно трепаться, присядем на рельсы, помолчим, я устал, возвращаясь из дальнего квартала, путь по шпалам — единственный, по которому можно добраться до лагпункта, но сумеречная даль обманчива, и показались огни. Эшелон приближается к границе. Некто на своей даче-крепости едва успел улечься; ночной

человек, он всегда засыпает перед рассветом; половина третьего, ночь накануне летнего солнцестояния, ещё неделю тому назад высокий чин из Народного комиссариата обороны докладывал, что рейх завершил подготовку к вторжению, Розенберг объявил, что буквы СССР в самое близкое время исчезнут с географических карт, — об этом-де сообщает источник, действующий в штабе Люфтваффе. На что карлик с лицом, изрытым оспой, тот, кто сейчас лежит, как труп, на спине, усами кверху, ответил не медля: ложная информация, пошлите ваш источник к е... матери! Близится рассвет, всё ярче огни, и уже подрагивают рельсы, — отскочить прочь, скатиться вниз по насыпи! Навстречу слепящему лобовому прожектору и красной звезде на брюхе локомотива несётся пограничный столб с орлом и свастикой в когтях, протяжный гудок приветствует могущественного соседа, гремят колёса на стыках, пронесли мимо контейнеры с зерном, рефрижераторы с мясными тушами, цистерны с нефтью, занимается заря, дребезжит телефон в комнате дежурного генерала, начальник генштаба требует разбудить «его». И вновь глухой желудочный голос приказывает не поддаваться на провокацию. Какая провокация, товарищ С.! — молящий голос генерала, — бомбы сыплются на наши города.

Этого не может быть, и оттого, что не может быть, это происходит. Чёрный рупор на крыше углового здания исторгает счастливую музыку, марш военно-воздушных сил, под который маршировали в музыкальной школе на Покровке, хочется плясать, шагать, махая локтями, всё выше и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц, соседка плачет на кухне, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ! И дальше по крышам, в просвет переулка, на улицу Кирова, рвутся с крыш эти мелодии, если завтра война, если завтра в поход, весёлая, грозная музыка, под которую строем шагают войска, штыки наперевес, летят, отпустив поводья, краснозвёздные конники в суконных будённовских шлемах, шашки наголо, мчатся лихие тачанки, и соседка плачет, и впереди всех, словно фараон на колеснице, вождь с простёртой рукой.

На Берлин! Вероломный враг... Но рабочий класс всех стран на нашей стороне. Пролетариат Германии на нашей стороне. Пусть осенит вас образ наших великих предков, Александра Невского, и кого там ещё... На Чистых прудах лежат на газонах похожие на огромные сардельки аэростаты воздушного заграждения,

которым не дано было подняться в воздух, воют сирены — граждане, воздушная тревога, — по тёмному небу мечутся белые струи прожекторов, и ты стоишь, задрал голову, вперяясь, ищешь, когда появится в скрещении лучей летучий чёрный таракан. Взрыв где-то поблизости, кажется, в Машковом переулке упала бомба, ну и что, нам всё нипочём, люди бегут с детьми на руках к полукруглой, как вход в туннель, станции «Красные Ворота», вниз по лестницам, скорее, перед выходом на платформу створы тяжёлых герметических дверей готовы закрыться на случай газовой атаки. Будь готов к противохимической обороне! Будь готов к санитарной обороне. Юные пионеры, будьте готовы! *Pioniere, seid bereit!* Пот-фронт! Свободу Эрнсту Тельману! Но, как выяснилось, вы что, не слышали: немцы — исконный враг славян. Люди лежат вповалку, у некоторых с собой подушки. Но когда объявлен отбой, почему-то нельзя выйти, толпа бредёт по шпалам в полутёмном туннеле до следующей станции, бригады идут на рассвете по шпалам узкоколейки, конвой спешит с автоматами поперёк груди, впереди вахта производственного оцепления, впереди свет, платформа станции «Кировская», и я вбегаю во двор нашей школы.

Это большой двухэтажный бревенчатый дом, вокруг зелёный луг, не сравнить с каменным московским двором; школьный двор в оккупированном городке, для которого ещё нужно придумать подходящее украинское название, где я стою рядом с генералом Паулюсом, ещё не генерал-фельдмаршалом, мы щуримся от яркого солнца и смеёмся, мы не знаем, что нас ждёт; кто бы подумал, что год окончится катастрофой и гибелью в снегах под Сталинградом.

Бывший капитан вермахта разглядывает старую фотографию. (Подозреваю, что вы мою повесть не читали.) Солнце палит с высот, горят поля пшеницы, ползут вперёд броневые колонны, гранадёры, голые до пояса, стоят в открытых люках, где-то далеко уходит к Дону отступающая Красная Армия, но мы за тысячу километров от фронта; каникулы, школа пуста, я один во всём здании, я поднимаюсь на второй этаж, толкаю дверь библиотеки, я снимаю с полки книгу и ложусь с книгой на стол, забыв обо всём на свете. Второе лето войны, кто мог подумать, что я когда-нибудь о нём напишу, и напишу о том, как я о нём написал; второе лето, раскиданные даты жизни, — что получилось бы, какая составила бы причудливая биография, если бы, собрав места и события, разложить их по-другому, как складывают наугад шарики детской мозаики. Я сижу на полу.

Что делать? В комнате стелется дым. От огня на паркете осталось чёрное пятно, — это наше жильё, коммунальная квартира на первом этаже, Большой Козловский переулок, 3/2, но чур не отвлекаться, ещё далеко до победной музыки из уличных громкоговорителей, до мужественного, как лязганье танковых гусениц, хора: вставай, страна огромная; я сижу на полу среди надоёвших кубиков, рассыпанной мозаики, я раскладываю костёр из спичек. Но когда коробок пустеет и гаснет пламя, ужас — чёрное пятно на паркете, сейчас вернётся Настя, вечером придёт с работы отец. Вечер наступил, никого нет, мы в эвакуации, Настя осталась в Москве, нет и отца, всё народное ополчение сгнуло в лесах между Вязьмой и Смоленском, осталось выжженное чёрное пятно, я придумал затереть его мокрой тряпкой, тёмная полоса маскирует преступление, но предательский дым стелется в комнате, бежать из Москвы от грохота приближающейся армады, от пулемётного стрекотанья мотоциклов, несущихся по дорогам, солнце пылает с небес, горят деревни, горит спичечный костёр на полу, летучее пламя пожирает спелую пшеницу.

Второе лето войны! В клубах пыли, с лязгом и грохотом движутся танковые колонны, гранадёры без шлемов стоят в люках, шагает, горланя песни, пехота. А там — сверкающее лезвие Дона, переправа у Калача, где я никогда не был, но когда-нибудь напишу об этом, и напишу о том, как я это написал, и окажусь в лабиринте зеркал, где мелькает мой Doppelgänger, тот, кто притворился мною. И уже маячит в лиловом мареве заветная цель, виден в цейссовском бинокле раскинувшийся вширь город. Не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды!.. Задыхающий от счастья довоенный голос Любови Орловой...

* * *

Гости собрались в просторной гостиной, летний день за окнами, Klavierstück D 946, рукопись, найденная в бумагах Шуберта, дамы лакомятся пирожными, отпивают из чашечек кофе маленькими глотками, и я бреду по аллее под нависшей листвой, поднимаюсь на насыпь и сижу на рельсах, жду, когда покажется вдали дымок паровоза, когда пронесётся мимо пограничный щит с орлом и свастикой, когда, наконец, я сумею собрать раскатившуюся по полу мозаику моей жизни. Вот картон с круглыми гнёздами, я выкладываю из цветных шариков узор, глядите-ка что получилось!

И снова музыка, и я всё ещё шагаю по тенистой аллее, не заметив, что дошёл до U-Bahn, станции метрополитена, и очутился в центре города, эскалатор вынес меня на площадь Одеона, — какая встреча! Она там стоит. Моё сердце колышется, как шар, налитый свинцом, — но как ты здесь очутилась?

Как очутилась... очень просто. Где ты, там и я.

Репейник памяти! Ты заслушался Шуберта, уронив голову, ты погрузился в полусон, сидя на рельсах лагерной одноколейки, зачитался, лёжа на столе библиотекаряши в опустевшей сельской школе, впереди осень, я поступлю в седьмой класс, впереди зима, и Шестая армия Паулюса уже похоронена под снегами, сердце моё колотится от предчувствия, я выезжаю из подземелья — слепящее солнце, воскресная толпа, и Ньюра стоит в летнем платье с короткими рукавами-фонариками, с полукруглым вырезом на груди, озираясь, неловкая, неуклюжая, немислимо красивая, у входа в Hofgarten.

По-русски — Придворный сад, говорю я; а это, — и показываю на тяжёлый портал с двумя гербами, на башни с баварскими львами — флюгерами, — а это Teatinerkirche, был такой монашеский орден театинцев, холодная, помпезная церковь с гробницами курфюрстов и королей.

Да, это была та самая зима Сталинграда — помнишь, как ты вошла в комнату, и огонёк коптилки вздрогнул в чёрном оконном стекле, те самые дни, когда немец захватил почти весь город, сплошные развалины, и река, вся в огне, уже была, вероятно, в нескольких десятках метров, и главнокомандующий сидел со своим штабом в подвале на площади Героев, а тем временем были подтянуты свежие силы, и двойное клещевидное контрнаступление началось, и четверть миллиона солдат Шестой армии и части Четвёртой танковой армии, и остатки двух румынских армий, да ещё венгры, да ещё русские вспомогательные отряды — всё оказалось в кольце, и отчаянный танковый прорыв Манштейна захлебнулся, и ударили сорокоградусные морозы, и свирепый ветер нёсся над половецкой степью. Ты вошла в пальто, накинутом на ночную рубашку, на твоих волосах поблескивал иней, чашный огонёк заметался на столе. Но как же, девушка, ты оказалась тут, в этом городе?

А ты, спросила она и, вздохнув, вынула кружевной платок из рукава на резинке, да, сказал я, была та первая, ужасно холодная зима, когда русский Бог спохватился и помог отогнать немца,

а теперь жаркое лето, весь взмок, пока доплёлся до школы, — каникулы, пусто, прохладно, и я озираю книжные полки в библиотеке, а дивизии вермахта снова рвутся вперёд, уже теперь ясно — к Волге. Откуда ты всё это знаешь, спросила она, ведь об этом ничего не сообщают, и как всё было на самом деле, узнали только теперь. Когда — теперь? Это теперь было всегда, и хочется написать нечто свободное от всех этих «после того как», и понять, что порядок времён — всего лишь грамматика для зубрил. Ты здесь, Ньюра, и тебе двадцать лет, вот что главное.

Но что же мы стоим? И мы отправились в тень, свободных столиков нет, я спросил, можно ли подсесть, у одиноко сидящего человека, он кивнул, поднялся и сказал: я ждал вас. «Ты его знаешь?» — спросила она, поглядев ему вслед. Я пожал плечами. Барышня в коротких штанишках, прикрытых фартуком, принесла чаши с мороженым, похожие на башни придворной церкви театинцев, — да, продолжал я, мы привыкли держаться за нить повествования, как Тезей за нить Ариадны, но память не есть воспоминание о прошлом, память — это присутствие. Ты явилась поздним вечером, томит бессонница, нет ли чего-нибудь почитать, на тебе зимнее пальтецо с узким воротником искусственного меха, накинутое на рубашку; поздно, все спят, и видно, что ты сама только что встала с постели. И ты присела, положив руки на стол, и наклонилась поглядеть, что я там пишу, — или, может быть, сделать вид, что тебя это интересует, — и твои груди поднялись в вырезе рубашки; уловив мой мгновенный взгляд, ты запахнулась. Нравится ли тебе мороженое, не заказать ли ещё одну порцию? Это было инстинктивное движение. Ты отпрянула от стола. Сознавала ли ты, когда облокотилась о край стола, что я увижу, как они встанут из выреза рубашки? Язычок огня колыхнулся, — там твои плечи и открытая шея в ночном окне, и моё лицо, освещённое снизу, словно лицо преступника, тетрадь с дневником и том Герцена, и как он красуется перед юной Natalie, изображает из себя умудрённого жизнью в письмах из Владимира, и его рассказ в «Былом и думах» о том, как однажды в Москве он вернулся домой на рассвете и дверь ему отворила горничная, и было видно, что она только что встала с постели. Платок наброшен на плечи, она придерживает его спереди, и рука его почти произвольно тянется к платку — её грудь обнажена.

О чём ты думала, постучавшись ко мне? Ты знала, что твоя красота, твоя прекрасная неуклюжесть девушки из народа, у ко-

торой нет ухажёра, потому что все женихи лежат в подмосковных снегах и в степях Поволжья, и умирают в полевых госпиталях, и околевают в немецком плену, — ты знала, что твоя красота цветёт в эту минуту и ты вся излучаешь невыносимую раздражающую прелесть; ты чувствуешь всю себя, свои бёдра, плечи и руки, тесноту подмышек и тревогу сосков, — почему же ты не решилась?..

Потому что не решился ты.

Но я недоросль, а ты женщина.

У меня ещё никого не было. Война, мужиков не осталось, какая я женщина.

Нет ли что-нибудь почитать? Но тотчас ты почувствовала, что трепет, всколыхнувшийся, как язычок огня, навстречу тебе, — не то повелительное влечение, за которым следует мужской напор, но лишь растерянность, обожание и страх. Боязнь оскорбить твою невинность, — ах ты, Господи, какое там оскорбление. Достаточно одного лёгкого движения, еле заметного порыва навстречу тебе. Право же, было что-то нечестное, что-то против правил — вот так сидеть, и ждать, и поглядывать тускло-влюблёнными глазами, вместо того чтобы встать из-за стола! И ты послушно поднялась бы — пора уходить, свидание окончено! И пальто съехало бы к твоим ногам. И ты стояла бы, как потерянная, не решаясь наклониться и поднять, — стояла в своей рубашке с деревенскими кружевами, зачем ты пришла в рубашке? Не спалось. Завернувшись в платок, накинув пальто, вышла в морозную ночь и, когда возвращалась, скрипя валенками по снегу, из дощатого домика, стоящего на отшибе, помедлила у моего крыльца, оглянулась. Луна, ещё невысокая, залила сугробы и крыши барачков ледяным, мертвенным светом.

Пальто упало к ногам. Твоя тень, переломившись от стены к потолку, приняла в себя мою тень, но нет, запрет действия сидел в тебе, ты должна была не взять, а отдаться. Ты отступила бы — к двери, к кровати? Куда же мы двинемся, пора расплатиться, куда девалась кельнерша в коротких штанишках? Потоп света, жидкое масло зноя низвергается с небес на Придворный сад, на площадь Одеона, глазам больно от блестящего асфальта, сверкают стёкла автомобилей, мечут тусклые молнии львы на башнях и позолоченный циферблат, и чахоточный язычок копилки изнемог на столе в полутёмной комнате, — на кровати спит мой маленький брат, мачеха дежурит в общем корпусе больницы, — ты пришла, Ньюра, чтобы всё переиграть, потому что возмож-

ное — это кладовая реального, неисчерпаемый ресурс бытия, и вновь постанывает тяжёлая дверь в сених, кто-то тайно стучится в дверь, и ты, в белом с грубыми нитяными кружевами, с кое-как сколотыми ореховыми волосами, придерживаешь у ворота полушубок, но как же нам быть, если кровать занята? И к тому же мы страшно стесняемся.

Но там другая кровать!

Страх! Страх!.. Перед женщиной, перед вторжением судьбы, вдруг явившейся, вставшей во весь рост. Я качаюсь под слабым ветром в океане настоящего, где плывут, как рыбы, видения прошлого, глагольные времена; я чувствую, что грань между «тогда» и «всегда» иллюзорна; в той действительности, которая скрыта от нас, существует другая связь вещей, другое сцепление происшествий, и надо сломать навязанную нам конвенцию прозы, и можно, глядя на спичечный костёр, знать о горящих полях войны, и можно помнить, сидя на перекладине пожарной лестницы, как приоткрылась дверь, как в комнату вступила девушка двадцати лет и волна её прелести всколыхнула оранжевый лепесток огня на столе.

* * *

Тем временем — каким временем?.. — я плетусь по площади, где на мачтах висят поникшие флаги, где бронзовая плита на мостовой извещает о гибели города и новом рождении — есть и у городов своя сансара, — сворачиваю на улицу роскошных витрин, а там другая площадь, и печальная тень курфюрста всё ещё бродит по залам и лестницам дворца, ныне принадлежащего концерну Siemens, и поглядывает из окон на каменный зад коня и себя с простёртой дланью. Похоже, случайно оказавшийся полицейский не станет возражать, если я вскарабкаюсь на постамент, встану под мордой коня, — подумает, что я хочу сфотографироваться. Высоко, и немного кружится голова, как на кромке брандмауэра, откуда виден наш двор, старая снеготаялка и пожарная лестница...

Нeтt Polizist может не беспокоиться, я умею обращаться с лошадьми. Я стою впереди, но это неправильно, к коню, если он не знает тебя, нужно подходить не спереди и не сзади, а только сбоку, он должен сразу почувствовать в тебе хозяина, не должен пугаться, лошадь нужно окликнуть, с ней нужно разговаривать. Похлопать по шее, это знак приветствия.

Животные наделены изумительным слухом, моя полуслепая Брошка, невысокая блондинка игреневого масти, не успею я войти в конюшню, как уже слышит мои шаги, ждёт, когда я протиснусь в стойло, положу ладони на морду, подтолкну, и лошадь послушно пятится, выбирается задом из закутка; теперь хомут, затянуть супонь, насадить седёлку с металлическим арчаком, слабым пинком заставить поджать живот, затянуть на брюхе чересседельник; после чего привязываем к гужам оглобли, берём оглобли в руки, ведём мою Брошку, правя сзади оглоблями, к вагонке, ставим между лежнями, этим подобием рельс из толстых жердей, и зацепляем оглобли за скобы лесовозного экипажа. Расправить уши между ремешками уздечки, надавить на нижнюю челюсть, и большие жёлтые зубы коня разожмутся — вставить трензель, лошадь чмокает мягкими шершавыми губами, привыкая к металлу, и в углах рта прицепить к кольцам верёвочные вожжи. Я стою на постаменте курфюрста Максимилиана перед грудью коня-гиганта, сняться на память, перед тем, как отправиться в путь.

Слабый визг стальных колёс, усердное киванье большой головой, долгий путь по лежнёвке через болота, мимо куртин, за дровами для зоны, в бывшее оцепление, где гниют бурты невывезенного леса. Снова лагерь, почему лагерь? Я не знаю, я могу лишь пожать плечами. Потому что лагерь был и будет. Странно было бы, родившись в лагерном государстве, не загреметь туда. Поскрипывают повизгивают, катясь по лежням, колёса вагонки, копыта медленно, с опаской вышагивают по шаткому ступняку, и нет предела кладбищу пней, оловянному блеску болот, подъехав к бурту, я ищу место посуше, ищу бересту, спички припрятаны за подкладкой бушлата, я раскладываю костёр, далёкий потомок спичечного пожара на паркете. Лошадь моя стоит, понурившись, спина и грива блестят от измороси, сырая вата облаков застлала горизонт, тускнеет день, всё ярче огонь. И я спокоен, я безмятежен в моём божественном одиночестве, у меня в кармане френчика пропуск бесконвойного — в конце концов, можно и в лагере достичь относительной независимости. Попробуйте представить себе, мой друг, что это значит, когда никто не стоит над душой, нарядчик не обложит матом, бригадир не вытянет дрыном по спине оттого, что плохо работаешь. И этот запах! Идёшь себе вниз по Людвиг-штрассе, тебя несёт воскресная толпа, какое счастье

чувствовать себя никому не нужным, счастье быть эмигрантом, счастье быть чужим! Пылает огонь в сырых густеющих сумерках, и я вдыхаю запах костра.

Запах дыма, юности, лагерной отчизны! Запах таёжных костров, стрекочут электропилы, с грохотом, с треском ломающихся сучьев валяются в болотную топь столетние великаны, всё ещё вздрагивают кроны поверженных деревьев, сучкорубы обрубают ветви, сучкожоги волочат их к кострам.

А там эшелон, растянувшийся на полкилометра, весь из глухих безоконных вагонов, так что можно принять его за товарный состав, и в самом деле битком набитый живым товаром, замедляет ход, — прокатился гром столкнувшихся буферов, конвой стоит на насыпи у колёс, я вылезая, и ещё один такой же из другого вагона, почему-то нас только двое, выдернутых из поезда, никто никогда не знает, куда везут, страна большая, сколько бы ни ехали, где бы ни высадили, всё будет Россия, свисток — и лязгнули буфера, покатались вагоны, спецсостав министерства внутренних дел, знаем мы, что это за дела, следует дальше, на север, в неведомые края, секретным маршрутом. И мы плетёмся в наручниках, прикованные друг к другу, проваливаясь где по щиколотку, где по колено в снегу, следом бредёт четвёрка конвоиров, по двое, с автоматами, добираемся до карантинного лагпункта, воскресная толпа влечёт меня мимо роскошного памятника королю Людовику Баварскому, оруженосцы-пажи ведут под уздцы его лошадь, нигде невозможно быть более одиноким, чем в оборванной, остервенелой толпе, осаждающей барак столовой. В дверях драка, но толпа не даёт упасть, на мне рваная телогрейка б/у «бывшая в употреблении», и при том не раз, уже не раз, и руины ватных штанов, я не мылся второй месяц, сколько-то суток не ел; снаружи, сквозь ветхую ткань своего рубища я сжимаю в кулаке луковицу, хранимую в кармане, я вижу себя в гуще живых насельников моей памяти, театр теней, народец моих сочинений, — где же, спрашивается, граница между грёзой и явью, памятью и литературой, но луковица в кармане штанов — это, знаете ли, гарант подлинности.

И вот я чувствую, как чья-то рука лезет ко мне в карман, сопливый подросток с глазами рыси ищет добраться до луковицы — и, кажется, уже ухватил добычу — я крепко держу луковицу снаружи, в эту минуту мы натываемся на обледенелую ступеньку, толпа втаскивает меня на крыльцо, молча, свирепо, дыша още-

ренными ртами, прёт к дверям; откуда несёт аппетитной вонью кислой капусты. У дверей два амбала с продавленными носами; мы у цели, мы почти уже впёрлись, нужно что-то предъявить, доказательство, что ещё не получил миску баланды, не лезешь по второму разу, но у меня ничего нет, у меня еврейская внешность ловкача и обманщика, и кулак-кувалда, сбрасывает меня с крыльца.

Я сижу за столиком уличного кафе на Театинер-штрассе, был такой орден и, кажется, существует до сих пор, хотя ничто на этой улице вывесок и витрин не напоминает о монастыре, никто в праздной толпе не вспоминает о руинах войны, — и я не могу справиться со слабостью, в полутьме добираюсь до барака, где спят на полу, подложив под голову, чтобы не стянули с ног, башмаки-говнодавы, и впервые за долгие месяцы следствия и пути глотаю постыдные слёзы.

* * *

Друг мой, вы готовы уличить меня в подражании знаменитому образцу, но могу вас заверить, я вовсе не собираюсь погрузиться в *stream of consciousness*, пресловутый поток сознания, этот фальсификат литературы, который нам выдают за подлинник человеческой души; да, и мне бы хотелось добраться до истины, заглянуть за кулисы нашего хронологически упорядоченного мира, — так нет же, язык-диктатор повелевает вернуться на проторённый путь. Границы моего мира, сказал философ, это границы языка. Мы поработаны грамматикой, между тем как истинный мир души — за пределами языка. И всё же, всё же! Остаются голоса, и лица, и запахи, — мелочи жизни, за которые можно уцепиться, остаётся луковица в кармане. Первая жестокая лагерная весна в карантине, прежде чем попадешь на стационарный лагпункт, залубеневшие на морозе штаны, скользкая наледь вокруг колодца, вдвоём с напарником крутишь железную рукоять, вцепившись, изо всех сил, — упустишь, ударит в лоб, собьёт с ног, — тяжело, медленно показывается из сруба плещущая бадья; немного погодя меняешься с чахлым подростком, может быть, и не младше тебя, но он из той породы вечных недорослей уголовного мира с хлюпающим носом и мокрой верхней губой, с острым крысиным личиком, с глазами голодного грызуна, с дырой во рту на месте выбитых зубов; он становится

к напарнику на твоё место, ты тащишь ведро с водой к столовой, выливаешь в бочку Данаид, и назад: оплывший холм колодца, скрипучий вал, и плеск, и цепь, которую подтягивают к себе, скользя на ледяном откосе, и снова с полным ведром к столовой, к железной раковине коммунальной кухни на первом этаже, уставленной столиками жильцов, с полками для кастрюль, с примурами и керосинками; струя хлещет из крана, я поднимаю ведро, — дверь чёрного хода наружу, и мы поливаем асфальт, и двор превратился в каток. Но однажды раздвинулись створы ворот, грузовик с горой угля для котельной втиснулся кузовом вперёд в подворотню, мимо мусорного ящика во двор, отпал задний борт, рабочий в перепачканной робе загребаёт совковой лопатой, сбрасывает уголь на лёд — прощай, наш хоккей!

С иглы стекает весёлая музыка, раздаётся треск из чёрного картонного конуса домашней «зорьки», советский суд приговорил троцкистско-бухаринских извергов к высшей мене, энкаведе привёл приговор к исполнению, советский народ одобрил и приступил к очередным делам, а дел было много, предстояли выборы в Верховный Совет. Глухой желудочный голос звучит из рупора, я, товарищи, не собирался выступать, но наш дорогой Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня на собрание: скажи, говорит, речь. Идут бои на карельском перешейке, Красная Армия штурмует линию Маннергейма, совсем немного осталось до начала большой войны, до писем Герцена к Natalie, до комендантского лагпункта, до конного монумента короля Людвига, сжимая в кармане, как амулет, луковицу, а навстречу беспечная толпа, а навстречу шагает юноша-монах в чёрном плаще с откинутым капюшоном и видит в небе нависший над городом меч возмездия.

Меч Господень, *gladius Dei*! Вот он и опустился на башни церквей и дворцов. Бежим, свернём на улицу Шеллинга, бывшую улицу, в ущелье между двумя грядами руин. Рельсы завалены щебнем. Та самая линия, голубой трамвай, десятый маршрут от площади Одеона в Швабинг, и в вагоне бледная, как мел, Инес Инститорис стреляет в любовника¹. Меч Господень! Бывшая штаб-квартира партии — над разбитым подъездом всё ещё виден раскрытый орёл с дырой между штанами, где была свастика в венке.

¹ Т. Манн, «*Gladius Dei*», «Доктор Фаустус».

«Не только свастика. Они его кастрировали».

Кто кастрировал?

«Американцы. Прошу прощения, — сказал человек, — вы, кажется, подходили к столику...».

В чём дело, спросил я холодно.

«Я хочу сказать, не вы ли тогда подошли к столику, за которым я сидел. В Придворном саду. Вы были с девушкой».

Допустим; ну и что? У меня нет ни времени, ни охоты разговаривать с первым встречным. Несколько времени мы идём рядом, я крупно шагаю, он семенит, едва поспевая.

«Она удивительно похожа...»

На кого?

«На одну из ваших героинь!»

Мы остановились. «Не валяйте дурака, — сказал я. — И вообще: с какой стати вы ко мне привязались?»

«Я читал. Я читаю все ваши произведения».

«Весьма польщён».

«Мне показалось, что это она и есть».

Мне оставалось только пожать плечами. Я поглядывал на небо.

«Нам надо где-нибудь укрыться».

Едва только мы успели вбежать под своды сумрачной церкви Святого Людовика, как меч сверкнул над обречённым городом. Небо раскололось. Мы сидим на скамье сбоку от алтаря и слушаем нарастающий шум потопа.

«Это было очень давно, первая любовь. Тебя не удивляет, что...»

«Ничуть, — возразил он. — Память всё может. А, значит, и литература. Литература — это и есть память».

«Ты так думаешь? Кто ты такой?»

В полутьме поблескивают трубы огромного органа, тускло светится готическое окно-розетка над входом, мы одни, ливень снаружи как будто стихает, и мы выходим на широкую паперть под аркой портала. Голубое серебро мостовой, машины несутся, расплёскивая лужи.

«Впрочем, нет. Не всё может».

Я напомнил ему, что меня ждёт, домашний концерт, пробормотал я, Шуберт...

«Ничего, подождут. — Он продолжал: — Ты мечтаешь сбросить оковы времени, пространства, ещё чего-то. Это осуществимо, но какой ценой? Ценою смерти своего драгоценного “я”. Парадокс! Мечтал добраться до самых глубин своей личности, а личность-то — ау!».

Сколько-то метров прошагали молча, он спросил, знаком ли я с мескалином.

Нет, но я так и знал.

«Что знал?»

Что без психоделиков дело не обойдётся.

* * *

Погружение началось прежде, чем я успел проглотить снадобе, значит ли это, что я в нём не нуждался? Провожатый коснулся кнопки над неразборчивой фамилией, чей-то голос отозвался из микрофона, отщёлкнулся замок, мы вошли и поднялись по лестнице. Жена моего приятеля стояла в дверях. Похоже, что нас здесь ждали.

Мы сбросили с себя одежду и облачились в шёлковые кимоно. В широком окне стоял летний день. Мы сидели в низких креслах перед столиком друг против друга и слушали музыку, тот самый экспромт Шуберта, op. posth. D 946, в трёх частях. И вновь, ещё до того, как был внесён поднос, на котором стояли старинные серебряные стаканчики и градуированный фиал с дистиллированной водой, и приготовлено питьё, я заметил перемену обстановки: это было не окно, а зеркало, и я видел в нём моё сумрачное отражение. Музыка напомнила о том, что потеряно в жизни, о близкой смерти.

Зачем, спросил я, глядя, как женщина добавляет в сосуд одну за другой несколько капель по виду маслянистой, бесцветной жидкости, следит, как они бесследно растворяются в воде, — зачем это нужно, ведь я и так уже нахожусь по ту сторону. Затем, был ответ, что ты выберешься из клетки, освободишь из заточения своё “я”.

Музыка смолкла, я держал перед губами, стараясь не расплескать, стаканчик, смотрел на своего визави, ожидая, когда он кивнёт, напиток не имел ни запаха, ни вкуса, я не чувствовал никакого действия, по-прежнему ясно сознавал себя, хотя не стал бы утверждать, что тот, чьё присутствие я сознавал, был я, а не кто-то

другой; мне было необыкновенно уютно в мягком, низком кресле, спокойная, по-домашнему одетая женщина неслышно входила, убрала фиал и стаканчики, задёрнула штору перед зеркалом, я снова спросил: зачем? Так полагается, сказала она, но если вы настаиваете... Завеса упала, и я увидел блестящую гладь стекла, в котором никого не было, не почувствовал никакого разочарования и попытался встать — мне помогли.

А у нас, смеясь сказала она, для вас приготовлен сюрприз!

Он — ибо это был явно кто-то другой — шествовал по коридору, квартира оказалась запутанной, как лабиринт, я толкнулся наугад в дверь, в полутёмной комнате на кровати спал мой маленький брат, на столе горел огонёк, девушка стояла посреди комнаты. Она стояла такой, какой вышла из рук ваятеля, освещённая сзади, с тёмными кругами глаз, со слабо светящимся нимбом волос, и, значит, недаром я собирал раскатившиеся шарики моей детской мозаики, и не зря гигантский гороскоп звёзд поворачивался и времена сменялись, смешав минувшее с будущим в единое абсолютное время; не зря я заглядывал с кромки брандмауэра в пропасть каменного двора, брёл в толпе бушлатов по шпалам узкоколейки, крутил ручку обледенелого колодца и вдыхал неумирающий запах таёжных костров, не зря шагал по улице Людвиг и возвращался — чтобы увидеть твои глаза, твои круглые груди, увидеть тебя, Ньюра.

III

Сельский врач

Перед рассветом

Когда мы дремлем, уткнувшись лицом в своё ложе, все вместе, мы похожи друг на друга, как дети одной матери, мы все равны, но стоит нам повернуться на спину, и нашему братству приходит конец, мы злобно косимся друг на друга, каждый подозревает соседа в тайных кознях, завидует соседу и готовится к драке. Ведение войны требует союзников, вот почему мы вступаем в коалиции, чтобы вместе ополчиться на врага, но это лишь тактический ход: как только ситуация меняется, мы, не задумываясь, изменяем нашим союзникам. Правила войны выше морали. Всё оправдывает победа.

Ради этой победы хороши все средства: коварство, ложь, подлог, предательство. И того же мы ждём от противника; мы, если угодно, состязаемся в низости; побеждённому нет пощады.

Война требует оснащения. Меч в руке короля — всего лишь декоративная принадлежность, как лилия дамы — часть её туалета; мы дерёмся не мечами. Наше истинное оружие, инструмент борьбы не на жизнь, а на смерть — наше войско — это они: те, кто сидит за столом. Кто думает, что играет нами. Но мы-то знаем, кто есть кто! От них требуется беспрекословное подчинение. Пусть только попробует рука наёмника бросить на стол не ту карту! Мы жестоко караем всякое своеволие. Строптивного игрока доведём до самоубийства.

Разумеется, и я принимаю участие в военных действиях, мои противники, естественно, — другая масть. Несчастье в том, что во вражеском стане находится предмет моего вождения. Так уж получилось. Но не я одна страдаю по Королю. О, я знаю, что мне делать: втереться в доверие червонной супруги, пусть эта гусыня верит в мою бескорыстную дружбу. Тем легче будет нам обоим разделаться с общей соперницей. Добьюсь ли я своей цели? Увы! Оказалось, что Король равнодушен ко всем нам, его пассия — смазливый Валет Треф.

Утро близится, время ложиться... Я, конечно, романтизирую карточную игру. Карты шлёпаются на стол. Но не игрок играет в карты, вот в чём дело, — не игрок, а карты распоряжаются, карты играют игроками. Карты живут своей тайной жизнью, одержимы своими страстями и пользуются игроками в своих целях. Пусть картёжник верит в счастливый случай, пусть клянёт невезенье, — на самом деле это их, это *наше* решение. Мы — его судьба. А то, что называется случаем, — всё равно что крап, оборотная сторона.

Когда-нибудь, если буду жив, я раскрою эту тетрадь, вспомню мои долгие бдения, игру с самим собой, и как они решили мою участь, как заставили меня проиграться. Это из-за них я лишился моей жены. Вряд ли когда мне удастся привести в порядок мои записки, но тот, кому они попадутся на глаза, узнает, по крайней мере, кто я такой. Ведь меня принимают Бог знает за кого.

Я предпочитаю ни с кем не встречаться. Знаю, что обо мне рассказывают всякое. Что я тронулся, сидя взаперти, — с чем я вполне согласен, надо только встать на точку зрения этих людей. Для них я в самом деле помешанный. Или что я будто бы тайком постригся в монахи, дал обет молчания. Какой обет, откуда им из-

вестны такие выражения? Слыхали ли они когда-нибудь о молчальниках, об исихастах, об «умной молитве» Григория Паламы? За многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь хотя бы перекрестился... Если я мало с кем разговариваю, то не потому, что лишился дара речи. Просто не считаю нужным обмениваться шаблонными репликами, отвечать на глупые вопросы, задавать самому. Я заранее знаю, что мне ответят.

Пятый час

...не утра, конечно, — в это время я уже собирался лечь. А сейчас на ногах, бодр и свеж, стемнеет — пойду гулять. Сегодня Касьян, — чуть не забыл, что я именинник. Народная этимология связала это имя со словом «косить»: Касьян с косой в руках, как сама смерть. Високосный год считается несчастливым. Было ли моё рождение несчастьем для родителей, для меня самого?

Но, с другой стороны, не так уж плохо появиться на свет 29 февраля, это значит, что мой возраст прибавляется один раз в четыре года. Мой патрон, святой Кассиан, поплатился за чистоплюйство. В наших местах до сих пор рассказывают, как однажды Иисус Христос шёл ненастным осенним днём с двумя святителями, Георгием и Кассианом. Вдруг видят — мужик застрял с возом посреди дороги, надо пособить. Святой Георгий, недолго думая, подвернул портки повыше и полез в грязь. А Касьян стоит на обочине, не желает пачкаться. Двое упёрлись в задок, лошадь дёрнула раз, другой, и вытащили воз. Крестьянин снял шапку, поблагодарил и поехал дальше. Иисус же промолвил: за то, что ты, Егорушка, помог человеку, тебя будут праздновать дважды в году, ты будешь Егорий Вешний и Осенний. А ты, Касьян, поленился, и за это твой день будут отмечать раз в четыре года.

Кажется, он добавил: и год твой будет недобрый.

Итак, ставлю дату. День такой же тёмный, ненастный, вот уже и смеркается. Зажглись огоньки в отделениях — между прочим, моя заслуга. Сам я, однако, предпочитаю мою старую, верную керосиновую лампу. Меня раздражает электрический свет. Кроме того, я хочу быть независимым. Бывает, что зимой буран повалит столбы; жди, пока приедет трактор, пока починят линию; а у меня покойно, уютно, я сижу в своём убежище, в тускло-таинственном сиянии, среди теней, в одиночестве и молчании.

Ближе к полуночи

Насчёт «заслут»: тут особая история. Дела давно минувших дней (как всё). Мы прибыли по распределению. Брак наш, хоть и недавний, трещал по швам, а тут ещё случился выкидыш; я подозревал, что она забеременела от меня. Сейчас мне совершенно ясно, что сомнения не имели под собой никакой почвы. Но тогда последняя соломинка переломила спину верблюда — жена моя уехала. Несколько времени спустя от неё пришло письмо, она писала, что не мыслит своей жизни в глуши, лучше повеситься; а кроме того, даже если вернуться, она не в силах больше выносить мой характер. Я был полностью с ней согласен, клялся и божился, что прошлое не повторится; никакого ответа. Я не мог отделаться от подозрения, что она сбежала к любовнику. Позже до меня дошёл слух, что моя жена умерла — то ли в родах, то ли от позднего криминального аборта. Выходило, что я был прав: она снова с кем-то сошлась

Я не запил, что было бы естественно; вместо этого рьяно взялся за хозяйство. Свёл дружбу со Степаном Ивановичем, мастером на все руки; втроём с женой и свояченицей они за неделю отремонтировали амбулаторию. Однажды приехал председатель колхоза — к этому времени успели распространиться слухи о моём врачебном искусстве. Ничего страшного у председателя не оказалось, но он считал, что болен опасной болезнью, и, выписываясь, спросил: сколько я хочу взять за лечение? Я сказал: а вот ты мне лучше проведи электричество. На завтра — откуда что берётся? — явились рабочие, поставили столбы, подключили к сети. В селе до одиннадцати работает движок, потом всё гаснет, — у меня в отделениях всю ночь горит свет.

На другой день

Сказав, что я ни с кем не общаюсь, я всё же погрешил против истины. К примеру, вышеупомянутый Степан Иванович. Это невысокий жилистый мужик с серыми, всё ещё густыми волосами, серым цветом лица и хрустальным блеском глаз, какой бывает у лёгочных больных. Он приходит, осматривается, я показываю кивком, но он и сам уже понял: чинит проводку (приходится всё же пользоваться электричеством) или поправляет оконную раму. Добыл где-то доски и починил крыльцо. Дом потихоньку разва-

ливается, и если бы не Степан Иванович, я давно лишился бы крова. Таких людей можно встретить только в сельской глуши: чеховский Редька, гоголевский расторопный мужик не в немецких ботфортах.

«Как жизнь молодая, Степан Иваныч?» (Ему 60.)

«Помаленьку».

«Погодка-то, а?»

«Да, погода не жалуется».

Раз в году, а то и дважды, весной и осенью, он хворает. У него начинается лихорадка, температура скачет, проливной пот, кашель с гнойной мокротой. Большой желтеет и худеет. У него, как он говорит, «апсес». Диагноз был поставлен ещё до меня. Следовало бы ехать в город, в те времена уже научились оперировать хронический абсцесс лёгкого. Но он ни куда ехать не хотел. Я был молод и, что называется, на коне, ликвидировал обострение массивными дозами только ещё входившего в употребление пенициллина. С тех пор Степан Иванович свято верит в уколы, каждый год умирает и каждый год воскресает, как Озирис. Почувствовав приближение рецидива, ложится в больницу и сам говорит врачу, что надо делать.

Вечер

Негоже раскладывать пасьянс при электрическом освещении, карты к нему не приучены, куда приятней и достойней — при свечах. И тогда мы оживаем, ощутимей становится наша власть, тогда можешь вчитаться в свою участь, начертанную на наших неподвижных лицах, — тайну, спрятанную в катакомбах грядущего. Мы, получаем указания оттуда, мы, короли, дамы, вальеты, — перст Божий.

А может, и демонское наваждение.

К несчастью, свечи вышли из обихода; как уже сказано, я живу с керосиновой лампой. Древняя лампада из толстого зелёного стекла, должно быть, принадлежавшая земскому врачу, который некогда обитал с семейством в моих хоромах. В своё время я интересовался историей наших мест. Больница была построена уездной земской управой в конце XIX века — в самом деле чеховские времена. Село от нас в двух километрах, мощёную дорогу строили солдаты. По ней однажды проезжал Лев Толстой в гости к какому-то крестьянскому философу.

На чём я остановился... Я хотел написать, что было дальше, после того как я расстался с моей женой. Хозяйственные усовершенствования продолжались. Я затеял строительство водопровода. Медицинское начальство регулярно присылало из города окружные письма, инструкции, приказы по району и прочие доказательства своего существования, я швырял их не читая в ящик письменного стола; после окончания строительства пришло две бумаги: в одной мне выносили выговор за перерасход средств, в другой — благодарность за активную работу.

Возвращаюсь к стройке: в итоге долгих переговоров прибыла из треста «Водоканал» бригада, для деревенских женщин это было волнующим событием. На поляне в виду моего дома появилась строительная площадка, работы затянулись — бурили долго, никак не могли добраться до воды; октябрь наступил, пошли дожди, пока, наконец, я не увидел в окне обляпанный грязью грузовик с трубами. Была воздвигнута водонапорная башня и проведён водопровод в общее отделение, в родильный дом, в детское, в так называемый заразный барак и амбулаторию. Первые времена врачебной практики всегда запоминаются. Вскоре произошёл один случай. Прервусь ненадолго...

Ночь, продолжение

Первое время я ещё спал по ночам; когда меня вызывали, возвращался и засыпал; но оттого ли, что ожидание стука в дверь заставляло меня даже во сне быть настороже, или одиночество усилило во мне те черты характера, на которые пеняла мне моя супруга, нормальный ритм дня и ночи нарушился, — ныне этот так называемый нормальный ритм, напротив, кажется мне ненормальным.

Длинные путаные сны стали преследовать меня, я вскакивал посреди ночи и вперялся в темноту, мне казалось, что лезут в окно, что кто-то караулит в сенях. И в самом деле, стукнули в дверь — раз и другой. Был второй час ночи. На пороге стояла, закутавшись в платок, моя жена. Проморгавшись, придя в себя, я убедился, что это дежурная сестра. Мы побежали по свежесвыпавшему снегу к общему корпусу. У крыльца стояла подвода, в приёмном покое сидел на табуретке пожилой мужик — отец или муж, на топчане, под тулупом, в тёплом платке, из-под которого виднелась белая косынка, в валенках с галошами, лежала больная.

Лежал полутруп. Бледно-синюшная, без пульса, с закрытыми глазами и теми особыми чертами лица, которые описаны две тысячи четыреста лет тому назад отцом медицины. Вдвоём с сестрой мы раздели её; платье, рубашка, трусы — всё пропитано кровью, влагалище в тёмнобагровых и свежих алых сгустках. Больную бил озноб. Её везли издалека. Она была в сознании, но не отвечала на вопросы.

Продолжение

И вот я сижу на круглом вращающемся табурете между ногами пациентки, электричества у меня тогда ещё не было. Рядом столик с керосиновой лампой. Сестра подаёт инструменты, санитарка держит вторую лампу. Но мне было темно. Разбудили шофёра, он подогнал к окну операционной урчащую колыхающую колымагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин, забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке и щипцами Мюзо в левой. Кровотечение прекратилось, всё ещё живой труп был перенесён в палату, но давление отсутствует, тоны сердца не прослушиваются. Удалось связаться по телефону с городом, выслали машину, мой фургон встретил её на середине пути. Под утро драгоценные ампулы крови для переливания прибыли; слава Богу, всё обошлось. Женщины поразительно живучи — она выкарабкалась.

Я поговорил с мужем, это было похоже на допрос. Вмешательство произвела некая «бабушка», древнейшим способом, то есть вязальной спицей. Взяла за это пятьдесят целковых. Я о ней уже слышал, в сердцах хотел донести на подпольную абортмахершу (случай, впрочем, не остался без огласки), но было не до того. Мужик был мрачен, мне даже показалось — не слишком обрадован благополучным исходом. Он был намного старше Катерины (так зовут, кстати, и мою покойную жену), был свояком председателя, того самого, который вскоре провёл мне в больницу электричество. В отношениях с Катериной что-то очевидным образом не ладилось. Ей за тридцать — по деревенским понятиям, почти старая; детей не было; когда я заметил, что, возможно, и не будет, он сказал: «Так ей и надо!» Я спросил: разве ему не хотелось бы сына? — «А у меня есть». (Очевидно, от первого брака.) Тут, между прочим, выяснилось, что среди женщин, которые вызвались обслуживать рабочих «Водоканала», варили для них,

стирали исподнее, была и Катерина. Я уже упоминал о том, что строительство водопровода вызвало оживление среди местного населения, по большей части состоящего из женщин. Кстати замечу, что надо благодарить Бога за то, что в России больше баб, чем мужиков; случись наоборот, всё полетело бы в тартарары.

Проснувшись после полудня

В те времена, как и теперь, я вёл добродетельную жизнь, другими словами, жил бобылём. Санитарки топили печь в моём доме, мне приносили обед из больничной кухни. Я много работал — с утра в отделениях, после обеда амбулаторный приём, мне помогал фельдшер Ростислав Николаевич, мужчина неопределённых лет, рослый, подтянутый, всегда выглядевший в рабочей форме, в закрытом халате с засученными по локоть рукавами, очкастый и безнадёжно пьющий. Проживал, как и весь мой персонал, в селе; была у него подруга из бывших наших пациенток; однажды я заглянул к ним. В комнате не было ничего, кроме кровати и единственного стула: всё пропили.

Приходилось мне колесить и по округе: на моём участке числилось 12 тысяч, на самом деле население неуклонно убывало — деревня, как по всей России, мелела.

Как-то раз, возвращаясь к себе, я увидел женщину, сидевшую с узелком на ступеньках крыльца. Она показалась мне знакомой; мы вошли в дом. Она развязала узелок, там были деревенские гостинцы: ватрушки с творогом и завёрнутый в холстинку большой кусок вкусно пахнущего чесноком, свежепросоленного, розоватого сала. Кроме того, толстые шерстяные носки, связанные ею самой.

Я должен был примерить, подойдут ли, прошёлся в носках по комнате. Она молча, ясно, держа руки под большой грудью, смотрела на меня. Тут только я сообразил, что это та самая Катерина, которую привезли ко мне полуживой. Она промолвила:

«Аркадий Семёныч...»

Я взглянул на неё.

«Возьмите меня к себе».

Я нахмурился, воззрился на неё. Опустив голову, она продолжала:

«Не могу я с ним жить. Возьмите меня... Я всё буду делать».

«Вот как, — возразил я, — что же именно?»

Так она осталась в моём доме, и народ кругом всё это принял как нечто почти естественное, а моё сиротское жильё преобразилось. Разумеется, я спал с Катериной; первое время даже, если позволено будет так выразиться, с увлечением; муж не появлялся, вовсе не давал о себе знать; вечера мы проводили вдвоём, лампа горела на столе, я читал или слушал радио, Катерина вязала, чинила бельё. Она по-прежнему говорила мне «вы». Иногда мы играли в подкидного, я проигрывал и сердился. Ещё она умела гадать. И постепенно я постигал таинственную природу карт.

Погуляв

Боюсь, что я совсем отвыкну от сна, — устал, но не решаюсь ложиться, боюсь не заснуть. Тупо тасую колоду. Давно уже в моём жилище никого нет. В больнице другие люди; дорогу от нас до села размесили грузовики; что-то творится вокруг, якобы строится, а на самом деле неотвратимо приходит в упадок. В известном смысле это образ того, что происходит в стране, но мне до этого нет никакого дела. В России не одно столетие всё валится, да никак не повалится. Слава Богу, что лес ещё не вырубил. Мой дом — моя крепость. Я знаю, что за мной никто не придёт, никто не посмеет ломиться, разве что почтальон раз в месяц приносит пенсию. На худой конец, когда станет совсем не вмоготу, я подожгу свой дом. Сгорит и вся эта разноцветная компания. Держа карту между ладонями, я переворачиваю, убираю руку — так и есть: он. Не могу сказать, что старый пердун, тот, кто сидит за столом, то есть я, — его двойник; скорее, вассал. С годами картон обтрепался, покрылся трещинками, но мы живы, здоровы, мы окружены послушной челядью, семёрками, десятками, и готовы повелевать; меч по-прежнему в руке старого короля, серебряные локоны спускаются волнами из-под короны.

Впрочем, пора объяснить. Не настолько я свихнулся, чтобы не понимать, что это всего лишь картон. Но дело в том, что изображение, однажды выйдя из-под печатного станка, начинает жить собственной жизнью. Это можно почувствовать, когда имеешь с ними дело. Профессионалы-картёжники подтвердят. И, наконец, в этом можно убедиться, если проследить за мимикой, за выражением глаз. Когда старуха подмигнула Германну, вы что думаете, это выдумка? Как бы не так!

Для них, для этих половинок, лишённых нижней части тела, отчего они не могут двигаться и не могут производить потомство, сознание своего «я», и заносчивость, и упорство, и минутный каприз неизбежны, необходимы: такова их натура. Компенсация увечья! Так что пусть никто не сомневается насчёт моих умственных способностей и психического здоровья. Во всяком случае, у них таких сомнений нет.

Я им сочувствую. То, что они не в состоянии соединиться, мучительно-неутолимое влечение дамы к королю, короля к красавчику-валету, невозможность обладания — разжигает их фантазию, заставляет предаваться бесплодному и безвыходному мозговому сладострастию. И они знают, эти нарисованные чудовища, что здесь исток их чувствительности к красоте. А что же касается нас, кто их тасует, и добывает из колоды, и швыряет на стол, — зависть к игрокам, зависть карт к тем, кто свободно совокупляется со своими женщинами, — истинная причина их мстительности.

Такова моя философия карт. Усталый и умиротворённый, я с трудом встаю, иду спать.

Сколько-то времени спустя

Не выспался и вообще сбился с панталыку. Уселся было за пасьянс, моё обычное лекарство, — опять не ладится. В чём дело? Сменив колоду, я по рассеянности сунул туда лишние карты: выскочили две дамы Треф. Обе сразу — но ведь это тоже должно что-то означать.

Я позвал к себе старого приятеля Степана Ивановича. Тот совсем состарился, согнулся — тёмный, страшный; краше в гроб кладут. Предложил ему рюмочку-другую. Потом стали пить чай. Мне всё никак не удавалось приступить к своему поручению.

«Ну, как жизнь молодая», — сказал я уныло.

«Да никак».

«Неплохо выглядишь».

«Да уж куда лучше».

«Ничего, мы ещё поживём».

«Поживём, да... — проговорил он. — Больницу-то закрывают».

Как это так закрывают — я был слегка ошарашен. Кто это ему сказал?

«Говорят, народу нет».

Куда ж народ-то девался, спросил я, хотя прекрасно понимал, в чём дело. К этому шло. Пациентов и в моё время становилось всё меньше, теперь в иных деревнях осталось две-три старухи, дома заколочены, а то и вовсе торчат одни закопченные печные трубы; избы разобраны и свезены в город. И всё же новость была неожиданной, я всё надеялся, что на мой век хватит. Спрашиваю себя, куда же я денусь.

«Самые, можно сказать, исконные места. Скоро вовсе никого не останется», — сказал Степан Иванович.

«Что же будет с больницей?»

«А ничего. Сгниёт и повалится. И всё так. Строили, строили...»

Махнул рукой:

«Нечего тут больше делать. Земли много — продадим нахер американцам али китайцам. Хоть польза какая будет», — заключил он.

Я кашлянул.

«У меня к тебе просьба, Степан Иваныч...»

Должен сказать, что я всегда относился с недоверием к так называемой народной медицине. Всё что было в ней ценного давно уже использовано, выделены действующие начала, противопоставлять лечение «травами» научной фармакологии глупо. Но сейчас мне пришлось вспомнить о Старухе. Не зря я пишу это слово с большой буквы. Забыл, как её звали, а может, и не знал. Некогда она вручила мне склянку с бурой жидкостью. Так сказать, последний дар моей Изоры.

Три капли, сказала она, не больше; пять капель выпьешь, увидишь небо в рогожку, а десять — помрёшь. Кажется, я догадывался, что это такое; во всяком случае, убедился, что лучшего снотворного для меня не найдётся. Больше того — лучшего средства восстановить душевное равновесие. Бабусе и тогда было много лет; почему-то я был уверен, что она жива. Я написал несколько слов, сложил записку вчетверо.

«Пошлешь внука, — сказал я Степану Ивановичу. — Да смотри, чтобы сам он не притрагивался».

Я решил как следует выспаться и не стал дожидаться ночи, на исходе седьмого часа накапал в кружку с водой. Семь — священное число, да и карта, которую я вытянул наугад из колоды, оказалась семёркой. Сперва заснул крепко, но потом стало сниться. Будто бы, наскучив валяться, я решил пройтись. Ночь ясная,

звёздная, поднимая голову от подушки, я вижу над тёмным лесом слегка наклонённый Ковш, но никакой подушки, разумеется, нет, я шагаю, ёжась от ночной прохлады, мимо отделений моей больницы, где я как будто всё ещё работаю. Выхожу на дорогу, сворачиваю в сторону, углубляюсь в чащу. И с удивлением замечаю вдали мерцающий огонёк.

Сон повторился раз и два. Это начало меня раздражать, я хотел ещё выпить капелек, присланных Старухой, но как на зло успел выкинуть склянку. Всё же было любопытно узнать, в чём дело, кто там разжёт костёр. Не хватает только лесного пожара. Эта мысль заставила меня вскочить с постели, я оделся и вышел. Всё то же самое: корпуса больницы, звёзды Большой Медведицы и смутно белеющий над головой Млечный Путь. В чаще леса огонь.

Я давно потерял тропинку, исцарапался, продираясь через подлесок, временами приходилось идти в обход, огонёк оставался единственным ориентиром, то приближался, то еле светился вдали. Надо бы вернуться, но я потерял дорогу назад, небо заволоклось; если пойдёт дождь, огонь погаснет, я окажусь посреди тёмного леса. Выбрался, наконец, на поляну. Костёр догорал, и никого вокруг. Я осторожно постучал в окошко — это был дом лесника. Взошёл на крыльцо. Щёлкнула задвижка, в тёмных сенях на полу косо лежала полоска света, я потянул к себе приоткрытую дверь. Опрятная, уютная деревенская горница, на столе трёхсвечник, на полу чистые половики, в красном углу темно поблескивающие иконы. И здесь тоже никого. Путник тяжело опустился на скамью.

В изодранной одежде, без шапки — потерял в лесу, — с повисшей головой, гость готов был поверить, что грезит; услышав шорох, встрепенулся: к столу, мягко ступая в толстых носках, с двумя тарелками в руках приближалась Катерина. Узкие гранёные рюмки, искрящийся графин с жёлтой, настоящей на лимоне водкой, сало тонкими ломтиками, студень с похожей на изморозь корочкой жира, ровно и важно горящие свечи в серебряном подсвечнике.

«Мне нельзя», — сказал я.

Она вопросительно взглянула на меня, держа графин над моей рюмкой.

«Я выпил эти чёртовы капли. Старуха сказала, ничего спиртного...»

Катя покачала головой, пожала плечами. Мы сидели под углом друг к другу. Я видел её широкое лицо, спокойные серые глаза, тёмно-ореховые волосы, пухлую шею, большую грудь.

Она пробормотала:

«Ничего, не повредит. Ну... со свиданьем, что ли...»

После первой рюмки мне стало тепло, я смотрел на мою подружку и не мог наглядеться.

Она снова наполнила мою рюмку.

«А ты?» — спросил я.

«Мне хватит. Да и тебе больше не надо».

«Да ладно, — я махнул рукой, — семь бед, один ответ!»

Она строго взглянула на меня. «Будешь много пить — не сможешь».

«Что не смогу?»

«Сам знаешь».

«Катя, — сказал я, смеясь. — Ведь я старик».

«Ну и что?».

Я вспомнил про костёр в лесу.

«Это я разожгла. Чтобы ты не заблудился».

«Да, — проговорил я, обвёл слезящимися глазами посуду, лепестки огня, — я ведь и вправду чуть не заблудился...». И мы оба умолкли, мне казалось, она задумалась о чём-то.

Я сказал ей, что она удивительно похожа на мою жену. А кто же я, по-твоему, был ответ, я и есть твоя жена. Так-то оно так, пролепетал я, вот и две трефовых дамы тоже... или они у вас называются крести? Это всё капли, объяснил я и вдруг вспомнил: а как же криминальный аборт?

«Я не хотела тебе говорить. И просить тебя не хотела, ведь аборты запрещены. Решила самой выпутываться».

Я чуть не крикнул: да ведь это я, я тебя вытащил! Тебя полумёртвую привезли. Мне было тёмно, я велел подогнать к окнам машину. Разве я спорю, сказала она.

«Говорю тебе, решила сама. Я тебя знаю. С твоей вечной ревностью Ты ведь стал бы меня мучить. Дескать, не от тебя забеременела».

«Конечно, не от меня. От одного из этих мужиков водопроводных».

Мне снова хотелось возразить — и вообще: как всё это согласовать?.. Не отвечая, не споря со мной, знакомым движением сложив руки под грудью, она спокойно смотрела на меня с таким

видом, точно всё это уже не имеет значения. Кто старое помянет... Завязав волосы узлом, в одной рубашке, она налила из кувшина горячую воду в корыто, разбавила холодной из другого кувшина. Помогла мне раздеться.

«Ишь, весь в смоле перепачкался... Завтра протопим баньку, а сейчас обмоемся, не лезть же таким в постель...»

Я хотел ей сказать, что вот так же, в корыте на двух табуретках меня купали в детстве. Ну, ну, бормотала она, держа наготове намыленную мочалку в голой руке, кого стесняешься. Расставь ноги пошире...

Высокая белая кровать с откинутым одеялом ждала.

КНИГА ВТОРАЯ ИЗ ВЕЩЕСТВА ТОГО ЖЕ

De solo Amore

(Только о любви)

Романтический рассказ

В старинном русско-татарском селе Красный Бор на Каме, году примерно в 42-м в разгар войны, в четвёртом или пятом классе средней школы был устроен вечер вопросов и ответов. Я воспользовался случаем и задал волнующий меня вопрос: существует ли электрическая связь между планетами? Другой вопрос задала одна девочка. Она спросила: почему в книжках всегда говорится про любовь?

Последовали компетентные ответы учителей. Физик Василий Егорович, эвакуированный из осаждённого Ленинграда, пожилой человек, обыкновенно дремавший на своих уроках, чем беспардонно злоупотребляли ученики, отпрашиваясь под разными предлогами из класса, пробормотал что-то маловразумительное. Второй ответ был обстоятельней. Учительница биологии, она же классный руководитель и завуч, долго говорила о любви и дружбе, о том, что второе важнее первого. Но в чём, собственно, заключается любовь, и отчего писатели так много внимания уделяют теме любви, не объяснила. Спустя годы я думаю, что девочка сама разбиралась в этих материях, и не хуже. Разбираюсь ли в них я?

Теперь я тоже пишу книги — в том числе о любви. Некогда меня обуревали такие темы, как тюрьма, лагерь, доносы, глухая секретность происходящего в стране: казалось, только об этом и можно писать. Только у нас, думал я, писатель располагает огромным, материалом столь жгучих, никем нетронутых, тем. А о чём писать литераторам, живущим в благополучных странах?

Франсуа Мориак, обязанный своей популярностью талантливым переводчикам, расходует свой дар на обсасывание мелких семейных неурядиц, — как видно, больше заняться нечем.

Сколько-то времени спустя мои литературные амбиции определились. Я, что называется, нашёл топор под лавкой. Этот топор был другой реальностью. Новая для того времени, и, может стать, самая важная, тематика поработила меня. Я написал свои первые лагерные вещи. До следующего поворота.

Однажды случилось... Окончив медицинскую аспирантуру, со своим бесполезным кандидатским дипломом — евреев никуда не брали, — я обивал пороги научных институтов в поисках работы, — а сам потихоньку сочинял мой первый роман с евангельским названием «Я Воскресение и Жизнь», о ребёнке без матери, у которого папа женится на чужой женщине. Как-то раз, когда я возвращался, как всегда, не солоно хлебавши домой, мне внезапно представилась головокружительная сцена. Мальчик, ему четыре года, встаёт ночью, разбуженный звуками в спальне взрослых, и видит в кровати, под одеялом, мачеху, которая давит и душит отца, хочет его умертвить, а он, беззащитный, лежит навзничь, как неживой. И с громким плачем ребёнок бежит прочь. Женщина в длинной ночной рубашке утешает его, прижимая к груди, говорит, что это так нужно, от этого у него будет сестричка, да и сам он родился по той же причине, потому что это — любовь.

Я не хочу сказать, что остыл в своей одержимости темами бесправия и террора в Советском Союзе. Просто для меня как-то само собой стало очевидным, что интимный мир, так называемая личная жизнь, отношения полов, брак — королевский домен литературы. Не зря Толстой сказал, что альков всегда пребудет главным сюжетом для писателя. Платон устами жрицы Диотимы (Симпосион, или «Пир») рассказывает миф об андрогине, двуполом первочеловеке. Обе половины, мужская и женская, разъединены, каждая ищет свою противоположность, чтобы соединиться с ней в служении могущественному и самому древнему божеству — Эроту.

Делать нечего — прошу воображаемого читателя простить мне отсылки к собственным сочинениям, к тем, что подтверждают правоту девочки на вечере вопросов и ответов.

Незабываемое стихотворение графа Алексея Константиновича Толстого предваряет первый этюд из моего «Альбома», цикла женских портретов:

То было раннею весной,
В тени берёз то было,
Когда с улыбкой предо мной
Ты очи опустила.
То было утро наших дней...

О чём речь? Подросток, ученик пятого класса сельской школы, встречается с девятнадцатилетней медсестрой местной больницы и через много лет, глубоким стариком, вспоминает об этом свидании как о самом замечательном событии в своей жизни. Апрель, голубое небо и ослепительное солнце, и девушка в белом платье с бретельками на голых плечах, на самом деле не в платье, а в ночной сорочке, несмотря на прохладу, стоит в тени недавно зазеленевших деревьев. И оба, ошеломлённые неожиданной встречей, не знают, что предпринять, молчат и не умеют ничего сказать друг другу. А где-то далеко, за тысячу вёрст от села и холмистого берега полноводной реки, идёт война, грохочет артиллерия, рушатся города и гибнут люди. Память хранила встречу, берегла облик девушки, отгеснив другие воспоминания, потому что это любовь.

От тюрьмы да от сумы не зарекайся

...Народ, присягнувший на верность тюремно-лагерному режиму, не мог найти лучшего поучения. Каждый в нашей стране должен был считаться с вероятностью рано или поздно угодить в застенки. Прежде я скрывал своё прошлое. Нынче это уже не тайна. Подробности скучны и потому излишни. Сперва, прежде чем получить срок и отправиться с этапом в лагерь, я обретался во внутренней тюрьме на Лубянке, потом нырнул в Бутырки. Осень сорок девятого года, чрезвычайно урожайного для госбезопасности, провёл в переполненном спецкорпусе, воздвигнутом ещё при наркоме Ежове. В 262-й камере, одной из задуманных как одиночные, сидело нас вначале трое, потом пятеро. Здесь всё шло согласно десятилетие тому назад заведённому порядку. В полдень недреманное око восходило в дверном волчке, откидывалась кормушка. Вертухай возглашал утробным голосом инициалы. «На фэ!» Нужно откликнуться, назвав свою фамилию... Ключ скрежетал в замочной скважине. Мы выбирались. Шествие по коридору в гробовой тишине, вдоль анфилады дверей и мимо профилакци-

ческой сетки над провалом нижних этажей, железная коробка лифта, гром засовов. Выходная площадка и близкое веяние воли. И, наконец, дефилируем гуськом вслед за конвоиром в туго подпоясанной шинели с сержантскими лычками на погонах, с кобурой на бедре. Впереди гремят сапоги, маячит узел ореховых волос под фуражкой с голубым околышем. Завитки вокруг нежного затылка, глаз не оторвёшь. Верите ли, это была девушка! Её подковки цокали по асфальту, и пистолет вздрагивал на бедре. Это была влюблённость, немая и безответная. Не помню, чтобы она хоть раз взглянула из-под своего картуза. Всем своим видом, угрюмым безмолвием, походкой девственной Дианы она демонстрировала холодное презрение к врагам народа.

И она пропала, изо дня в день вталкивая нас в каменный мешок, прогулочный дворик под небом Москвы, забаррикадированный стенами и сторожевыми вышками, — исчезла, чтобы навсегда остаться в моей осиротевшей памяти. Что с ней стало, как она оказалась в этой цитадели зла, сменила ли свои лычки на звёздочки, вышла замуж, родила детей, дождалась внуков?.. Не ведаю. В те дни мне только что исполнился 21 год.

Свидание. Нечто другое

Нечто совсем другое пусть станет продолжением начатой темы. Другие географии, люди, и время не то. Однако память неумолима. Морозной звёздной ночью на дальнем Северо-востоке, куда Макар телят не гонял, некто в стёганом бушлате, униформе рабов, в ватных штанах и чудовищных валенках, бесконвойный сторож магазина для мундирного начальства, тайком, с риском для жизни, покидает свой пост.

Беглец оставляет за собой высокий, из жердей в лва человеческих роста древнерусский тын, за кольцом огней, минует ряды колючей проволоки, вышки с дозорными в тулупах, прожекторами и пулемётами. Тайга расступается перед ним. Он бредёт во тьме по лесной тропе до тех пор, пока не завидятся огоньки деревни, сохранившей своё название со времён монгольского ига. Проваливаясь в сугробах, приблизился к крыльцу, в сенях толкает скрипящую, поющую дверь. В чистой, жарко натопленной избе пахнет жильём, пахнут пучки полыни, развешанные под стропилами потолка. Колышется на дощатом столе лепесток огня в мас-

ляной светильне, шарахаются испуганные тени. В красном углу мерцает лампадка на цепочке перед темно отсвечивающим ликом византийской Богородицы. Гость сидит на пороге, стягивает свои разношенные валенки, разматывает портянки, остаётся в лагерных казённых подштанниках с завязками вокруг босых ступней. Встаёт. Перед ним, босиком в длинной полотняной рубахе, под которой стоят её большие материнские груди, с переброшенной через плечо туго заплетённой косой, ожидает молчаливая хозяйка. Оба горячо целуются.

И тотчас, оторвавшись друг от друга, находят шаткую, приклонённую к печке лесенку.

Печь дышит теплом. словно заговорщики, храня молчание, они взбираются на лежанку. И я погружаюсь в чашу её просторных бёдер, и умираю вместе с ней, и не помышляю о том, что меня хватятся, с этой минуты для меня нет больше ни тюрем, ни этапов, ни сторожевых вышек, ни слепящих прожекторных струй, ни злобного кашля овчарок. Потому что исчезла навсегда бесприютная, проклятая и забытая Богом страна, истинное отечество моё — здесь, и останется здесь, в обхвативших меня объятьях, потому что это — любовь.

Прибытие

Воспоминание о небывшем

Ты станешь мною и моим сном.

Хорхе Луис Борхес

Я уже толковал об этом, выразив скромную надежду, что мне простят манию пережёвывать прошлое, цитировал сентенцию Лукино Висконти о том, что будущее пугает неизвестностью, а прошлое предрекает настоящее, и, заглянув в прошлое, мы различаем черты сегодняшнего дня.

Конечно, «ретро» в фильмах славного режиссера мало похоже на прошлое, к которому льнёт моя память. И всё же я подумал, что слова эти могли бы предварить мой рассказ. А на другой день, не успев я приступить к работе, произошло знаменательное совпадение. Девушка-почтальон принесла конверт с маркой недавно учреждённой республики. Под грифом архивного управления и датой трёхмесячной давности сообщалось, в ответ на мой запрос,

что сведений о гражданке Приваловой Анне Ивановне, 1924 года рождения, в актах гражданского состояния не обнаружено. Никакой гражданки Приваловой, стало быть, уже не существовало.

Что же заставило меня разыскивать Ньюру, ворошить былое? Известие добиралось до меня три месяца; я успел забыть о своём запросе. Но почему-то ответ меня не убедил, я читал и перечитывал его; прошлое вцепилось в меня. Я почувствовал, что оно меня не отпустит.

На всякий случай я предупредил соседей и немногих друзей, что уезжаю далеко и надолго. Впрочем, не так уж далеко. Старинное здание Казанского вокзала, которому архитектор придал профиль столицы некогда существовавшего ханства, возродило в моём воображении те первые, жаркие недели июля сорок первого года, когда пропаганда уже не могла скрывать тот очевидный факт, что вражеская армия приблизилась к Москве. Толпа женщин с детскими колясками, узлами, чемоданами загромодила перрон, перед которым стояли открытые пульмановские вагоны с наскоро сколоченными полатами из необструганных досок. Матери звали охрипшими голосами потерявшихся детей, репродуктор что-то вещал, невозможно было разобрать ни слова. Раздался пронзительный свисток, впереди невидимый паровоз тяжело вздыхал, разводя пары. Гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль состава и всколыхнул толпу; началась посадка. Мой отец, несколько дней назад записавшийся в народное ополчение, каким-то образом добрался до вокзала, чтобы успеть попрощаться с нами. Он стоял перед раздвижной дверью вагона и махал рукой мне, моей названной матери и маленькому брату. Вагон дёрнулся, колёса взвизгнули под ногами, отец отъехал с толпой провожающих, с тех пор я его никогда больше не видел.

Путешествие длилось несколько недель. То и дело эшелон с эвакуированными останавливался, пережидая встречные поезда с цистернами, армейскими грузовиками, зачехлёнными орудиями и сидящими на платформах наголо остриженными новобранцами, которым не суждено было вернуться. Наконец, стиснутые, как в клетке, измученные тряской, духотой, неизвестностью, толкнувшись взад-вперёд несколько раз, мы остановились посреди большой, забитой товарными и пассажирскими вагонами станции; оказалось, что прибыли в Казань.

Итак, мне пришлось проделать заново весь путь — ведь пригрезиться может только то, что дремлет в подвалах памяти. Всё

происходящее казалось теперь естественным; повелевал неведомый рок; лица и эпизоды сменялись в несжимаемом, как вода, времени. Предстоял решающий шаг. Всё ещё колеблясь и не обращая внимания на окружающих, — объяснять что-либо мачехе и братику было бесполезно, — попросту забыв о них, я выпрыгнул из вагона. За спиной у меня был рюкзак с каким-то скарбом, я очутился на песке между путями и уже не помнил последний день, толчею и суматоху на московском вокзале, паническую посадку. Лишь при мысли об отце глаза мои наполнялись слезами — стоило только вспомнить, как он стоял в толпе и махал рукой. Я знал (знание будущего — привилегия всё того же закатного возраста), что он не вернулся и никогда не вернётся из заснеженных лесов между Вязьмой и Смоленском, где окружённое врагом, брошенное на произвол судьбы штабным начальством, заблудилось и сгинуло всё их состоявшееся из штатских, злополучное войско.

Мне повезло, я отыскал в незнакомом городе, блуждая наугад, речной порт. Последний раз я ел в вагоне, но голода не чувствовал, рассчитывал где-нибудь подкрепиться в пути. Теперь я уже знал, что ехать осталось недолго.

Солнце склонялось к далёкому холмистому берегу, оставляя на воде сверкающий след. Двухпалубный колёсный теплоход «Алексей Стаханов», наименованный так в честь забытого героя труда, шёл вверх по широкой Каме. Сидя в соломенном кресле на палубе, я задремал под шум гребного вала и очнулся оттого, что шум и плеск прекратились. Мне вспомнилось, что следующая остановка называлась Набережные Челны, это была моя ошибка. Судно покачивалось у дебаркадера пристани Красный Бор. Я обрадовался, я был уверен, что вижу сон во сне, и оказался, в сущности, недалёк от действительности: вопреки всякой логике это была цель моего путешествия. Надо было торопиться. Вместе с другими пассажирами, подтянув лямки рюкзака, я сошёл по трапу и двинулся по главной улице, миновал нашу школу, преодолев искушение заглянуть в районную библиотеку, где был когда-то единственным и регулярным посетителем, — и оставил село.

Между тем быстро темнело; я пожалел об оставшемся в Москве пальто; это была та самая дорога, по которой в тёмные осенние вечера, рискуя потерять галоши в грязи, зимой проваливаясь в сугробы, я плёлся из школы к больничному посёлку. И снова обрадовался, увидев знакомый забор и ворота, — они были открыты. Тотчас, едва только я вспомнил школу и зимние возвращения, пошёл снег.

В сумерках я подошёл к одному из двух барачков для персонала; сходство с нашим бывшим жильём было так очевидно, что мне почудилось — кто-то поджидает меня на соседнем крыльце, в пальто и платке на голове. Разумеется, никто меня не ждал. Мачеха моя работала медсестрой, ей было пора на дежурство, а она всё ещё оставалась в эшелоне эвакуированных. Подождав немного, я снова увидел женскую фигуру на крыльце. Память потешалась надо мной. «Вам кого?» — спросили оттуда, когда, пройдя через дощатые сени, стряхнув с себя и оттоптав с городских ботинок снег, я толкнул входную дверь.

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. Уж очень всё произошло как по-писанному. Правда, там не оказалось той, которую я искал. Невысокая женщина в юбке и вязаных носках на босу ногу, со спущенными с голых плеч бретельками ночной рубашки, поспешно выпрямилась перед табуретом, на котором стоял таз с водой, схватила лежащее рядом мохнатое полотенце, и стала вытирать энергичными движениями, обнажив тёмные подмышки, мокрую черноволосую голову «А-а! — воскликнула она, поворачиваясь с полотенцем навстречу гостю, — это ты?.. Закрывай дверь, дуэт».

Я не нашёлся что сказать, даже не поздоровался, да и что мог ей ответить? Что-то восточное показалось мне в тюрбане из полотенца, которым увенчала себя Маруся Гизатуллина. Ей было холодно, она искала что-нибудь накинуть на оголённые плечи. Не скрою, я был разочарован: как уже сказано, я ожидал встретить другую. Я оглядел помещение. Печь с плитой и похожей на пещеру топкой, по обе стороны две двери вели в комнаты, в одной из них проживала с дочерью аккуратная старушка татарка, мать Маруси. Зато другая дверь, в углу за печкой, — тут сомнений не оставалось, была наша. Я говорю, не было сомнений, потому что знал, вполне отдавал себе отчёт: случись, что воспоминание меня подвело, вся поездка моя окажется напрасной. Итак, эта дверь, была нашей, вела в комнату, куда нас поселили, когда, это было вскоре после приезда, моя мачеха устроилась сестрой и лаборантом в больнице. Впрочем, и Маруся Гизатуллина, и Ньюра — обе были медсёстры. Дверь была приотворена, из узкой щели сквозил слабый свет.

Тем временем таз был унесён, мыльная вода выплеснута в ведро, табурет вернулся в комнатку Маруси. Наследница легендарной царицы Сююмбеки появилась, сменив рубашку и юбку на

белый медицинский халат, не завязанный, так что на мгновение в распахе мелькнули маленькие смуглые груди и чёрная дельта внизу живота. «Небось, подглядывал!» — сказала она, взглянув на полуоткрытую дверь бывшего нашего обиталища, и на этом её роль была закончена, больше она меня не интересовала. Любопытно, что как раз в эту минуту мне вспомнилось: тогда, в тот вечер, когда пришла Нюра, Маруси не было дома, она спала, а может быть, уже успела к этому времени переселиться с матерью в другой барак. (Кстати, я упоминал и о ней в одной своей повести.)

Спohватившись, я подбежал, к нашей двери, рванул — и чуть не нос к носу столкнулся с жильцом.

Жилец этот был подросток лет пятнадцати на вид, худой и измождённый, какими все мы были в годы войны. Мамаша приносила с дежурства в виде лакомства селёдочную голову, в деревнях ели хлеб из коры и крапивы.

«Вы ко мне?» — спросил мальчик, и мы вошли в комнату.

«Вы, — сказал я с упрёком. — Ты говоришь мне: вы?..» В комнате помещались две кровати, стол; на одном ложе спал малыш, другое предназначалось для старшего сына. Я подошёл к столу. Тут стояла коптилка, лежали книги и чернильные принадлежности. Коптилкой называлась тогда лампа со снятым стеклом для экономии керосина. Стол стоял у окна, в окне отражался чахлый огонёк, отразились наши лица, похожие на лица заговорщиков. Снаружи было уже совсем темно.

«Вот и отлично, — продолжал я, заглянув в дневник, — сейчас узнаем, какой сегодня день... Я оторвал тебя от занятий, ты один?»

Мальчик смотрел на меня с угрюмым недоумением. «Откуда вы знаете?» — спросил он. Опять это «вы». Нужно было объяснить, чего я опасался. Мне показалось, что он боится меня. Я пробормотал, что приехал повидаться. «С кем?» У меня забилося сердце. Я ответил: «Повидаться с тобой. Будем лучше на ты. Мы с тобой не чужие. Ты не узнал меня...»

«Мой папа на фронте», — сказал он.

Я присел на кровать. Видение отца явилось мне вновь: он стоял перед вагоном и махал нам рукой. Мальчик сидел на своём обычном месте на табуретке у стола, мы оба молчали, — не мог же я объявить ему, что его папа никогда не вернётся.

«Мне не хочется тебя огорчать, — заговорил я. — Только не пугайся. Дело в том, что я — как тебе сказать? Я не твой отец. Я — это ты сам».

«Этого не может быть, — возразил он. — А кто вы, собственно, такой?»

«Когда-нибудь, — сказал я, — если ты прочтёшь мой рассказ, тебе всё станет понятно. Только это будет очень нескоро. Я писатель».

Мальчик сказал:

«Я тоже решил быть писателем».

«Ты им будешь» — Я продолжал: «Тебя интересовала цель моего прибытия. Признаюсь, я ехал не только к тебе. Надеялся встретить ещё кое-кого».

«Ньюру?»

«Вот видишь, ты сразу догадался. Между прочим, позавчера я получил ответ из архивного управления».

«Какой ответ?»

«Не имеет значения. Значит, она к тебе больше не приходит?»

Он сокрушённо покачал головой.

«Не грусти, — сказал я. — Всё уладится. Я ещё не всё дописал до конца».

«Выходит, всё зависит от тебя».

«Конечно, — сказал я, смеясь, — ведь я писатель».

Я был доволен — мы наконец нашли общий язык.

«Подытожим события, — сказал я. — Ты написал ей письмо. Ведь это правда? Ты объяснился ей в любви».

Он кивнул.

«И вот однажды поздним вечером, когда все кругом спали, она постучалась к тебе. Верно?»

Он снова кивнул.

«Отсюда я делаю вывод, что из тебя получится настоящий писатель... Письмо было написано так, что оно взволновало двадцатилетнюю девушку, которая ещё никогда ни от кого таких посланий не получала, не слышала таких слов. Ты, мой милый, — я усмехнулся, — соблазнитель!»

Я говорил, но видел, что он меня не слушает.

«Она была в ночной рубашке с грубыми кружевами — видимо, только что встала с постели, — лежала без сна и, наконец, решилась выйти. Пальто на ватной подкладке, накинула на плечи,

ноги сунула в валенки, на голове шерстяной платок. Постучалась и вошла, и на прядях выбившихся светлых волос блестел иней. Верно?»

Подросток кивнул.

«Увидела на столе коптилку, книжки и спросила: нет ли чего-нибудь почитать? Нужен был повод! Ты знал, что она, как все, ничего или почти ничего не читала. Ужасно стеснялась. Подсела к столу...»

«Дальше ты сам знаешь, — сказал я. — Неожиданная гостя взглянула на раскрытую тетрадку, узнала твой почерк, — ведь она всё время думала о письме! — спросила: что вы пишете? Ты ответил: дневник; там есть и о вас».

«Потому что, — добавил я, — и твоё письмо, и разговор — всё у вас было на вы. Но о твоём письме — ни слова».

«А мне посмотреть можно? — спросила она, и тут это случилось».

«Случилось?» — пробормотал он.

«Да. Самое важное в твоей жизни — вернее, в моей. Когда-нибудь ты вспомнишь зимний вечер, и этот тусклый огонёк, символ твоего одиночества, и стук в дверь, и... и поймёшь: чудесное явление девушки-богини с искрами инея на ресницах, на выбившихся из-под платка волосах, её маленькие валенки, и эта почти нарочитая скованность, и молчание, и присутствие её тела здесь, рядом с тобой, — вспомнишь и поймёшь, а может быть, уже постиг, что всё это, в самом деле, было нечто самое важное в жизни, что это сама жизнь и залог неугасимой вечности...»

«А дальше?» — спросил подросток.

«Ты подвинул к ней свою тетрадку, она, не вставая, склонившись над столом и, сама того не замечая, оперлась локтями. Пальто сползло с покатых плеч Ньюры, и в открывшемся вырезе рубашки поднялись её большие груди».

«Получилось ли так ненароком? — спросил я сам себя. — Но и тебе ведь казалось, что случилось как бы само собой. Заметив твой взгляд, она мгновенно поправила пальто на плечах, — но знала, чутьём понимала, что мнимая произвольность содеянного освободит вас обоих, облегчит всё, что произойдёт».

«Произойдёт что? По-твоему, она показала грудь нарочно?»

«Это был сигнал. Пол — это судьба, малыш, ты поймёшь это, когда станешь мною. К счастью, это будет нескоро».

«Когда? Ты говорил не об этом».

«Время бежит. Мы говорили о тебе теперешнем...»

Теперь, тогда — кто в этом мог разобраться? Юный собеседник вернулся к столу подкрутить фитилёк светильника. Лепесток огня стал ярче, наши тени пошатывались на стене. Мой братик на второй кровати спал, детское личико было слегка освещено.

Нюра встала — я должен был досказать свой рассказ. Огонёк на столе заволновался, когда пальто съехало на пол и я вскочил поднять и подать ей пальто; она отстранила меня. Как была, в рубашке, она села на мою кровать, её полные колени обнажились, — красоту и белизну их я не в силах описать. Онемелый я стоял рядом; слабым кивком она велела мне сбросить то, что было на мне.

«Что-то материнское, — продолжал я, — почти сострадание мелькнуло или почудилось тебе в её улыбке и взгляде, устремлённом на твои тощие ноги, — ей-богу, было чему сострадать! Она опустила на ложе и потянула к себе подростка; открыла грудь, словно хотела дать ребёнку, — был ли этот ещё не рождённое, но уже стучащееся в жизнь дитя, о котором Шопенгауэр говорит, что оно начинается в ту минуту, когда будущие родители впервые видят друг друга? Бледные губы поцеловали тебя, что-то шептали. Это были безумные слова. Почти насильно она заставила тебя вернуться к себе. Её ладонь погладила тебя по голове».

«Почувствовалось, — продолжал я, — что-то крадущееся, щекотное прокралось по животу, холодные пальцы нашли то, что искали. Мучительное счастье исторглось из меня, и всё было кончено. Я заплакал».

«Оба сидели рядом, спустив голые ноги. Светлячок догорал — вот-вот потухнет. Она приговаривала: «Не плачь, мужичок».

«Это я виновата, — сказала она, — у меня ведь тоже никого не было, ты мой первый... Мужиков-то вокруг нетути, никого не осталось... Скоро стану совсем старая, оглянуться не успеешь. Не горюй. Не зря говорится — первый блин комом! Женщин много, у тебя ещё будут...»

Она снова обняла тебя — то есть меня.

«Хочешь, — проворковала она, — попробуем ещё разок?»

Как бывает часто в дальних поездках, обратный путь оказался мне много короче. Зима прошла, давно возобновилось судоходство на Каме. Теплоход «Степан Разин», бывший «Алексей Стаханов», покачивался, готовясь пришвартоваться к дебаркадеру. Я подбежал к пристани. И та, ставшая уже давнишней дорога в больницу в снежных сумерках, и чья-то женская фигура на крыльце, и Маруся Гизатуллина с оголёнными плечами перед тазом с горячей водой, и ты, Нюра, и наши пляшущие тени в ком-

натке, где спал мой братик, и керосин должен был вот-вот иссякнуть в коптилке, — всё встало перед глазами. Всё казалось мне теперь миражом, загадочной песней мозга, наподобие тех причудливо-абсурдных сновидений, которые посещают меня, когда, улёгшись на ночь, я закрываю усталые глаза, — о них, мне кажется, я уже говорил.

В Казани пришлось потратить довольно много времени на поиски учреждения с нужной мне вывеской; когда же, наконец, я до него добрался, оказалось, что вход в Центральное архивное управление — только по пропускам.

В проходной я показал бумагу, присланную мне давеча, страж за стеклом долго её изучал, поглядывал на мой паспорт — и назвал этаж и номер кабинета. Ещё сколько-то времени протекло, прежде чем чиновница, молодая черноглазая татарка, похожая на Марусю (я вспомнил, что настоящее Марусино имя было Марьям), соединилась с начальством, разговор по телефону шёл на языке, которого я не знаю. Наконец, открылась дверь, принесли папку, на которую я взглянул с радостью и надеждой.

Женщина развернула папку, отогнула картонные клапаны.

«Привалова Анна Ивановна, русская, год рождения 1924-й. Всё правильно, — сказала она. — Вам ведь сообщили».

«Да, но, видите ли...»

«Вижу. Гражданка Привалова умерла. Причина смерти — послеродовой сепсис».

Из вещества того же

Любовь впадает в смерть, и эта смерть нас возрождает. Женщина — это лицо бытия.

Это чистая явленность, в ней выявляется, протупает бытие. И она же прячет его от нас.

И оттого любовь — это одновременно и открытие бытия, и ничто.

Аноним

Из вещества того же, что и сон, мы созданы, и наша жизнь кругом объята снами.

Шекспир «Буря»

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...

О. М.

Некоторые считают, что писатель не может творить, оторвавшись от стихии родного языка — протившись с отечеством.

Я и сам чувствую свою отверженность, и теперь, принимаясь за эти мало созвучные духу времени записки, замечаю, что невольно выпадаю в старомодный тон. Но этого требует мой сюжет.

Видите ли, вспоминать — это не то же, что помнить... Случилось так, что я вернулся после одиннадцатилетнего изгнания в город, который, собственно, и считаю своим отечеством; обстоятельства мои не располагали к долговременному визиту, не говоря уже о том, чтобы остаться насовсем. У меня был запас свободного времени, для начала хотелось прогуляться, я чуть не сказал — прошвырнуться, по родным местам. Мне не нужен был план города, путеводителем служила мне моя память.

Первым делом я отправился на улицу Кирова, бывшую Мясницкую. Если вы спросите у прохожих, что за птица был этот Киров, вам вряд ли кто объяснит, разве только пожмёт плечами: так... был такой. Тёмная личность. А ведь я ещё помню траур, когда объявили, что Кирова кто-то убил. Тогда же переименовали и улицу. Думаю, мне не поверят, если я прибавлю, что помню даже, как по Мясницкой ходил трамвай, линия «В». Помню последних извозчиков, они сидели на козлах, ожидая седоков, коих становилось всё меньше. Здесь всё давно стало бывшим.

Погода улыбнулась пришельцу. Естественно, я шёл пешком. Миновал Кривоколенный переулок; долго разглядывал старинную вывеску. Нельзя быть истинным москвичом, не зная об этом в общем-то ничем не замечательном переулке. Такие названия, как Покровка, Маросейка, Армянский переулок, Чистые Пруды, Красные Ворота, звучат для меня как топонимы античной географии. Дойдя до следующего поворота, в Большой Козловский, — некогда тут помещался писчебумажный магазин, там можно было купить тетрадку в клетку или в линейку, стальное перо № 86, перо «селёдочку», или «рондо», — дойдя до угла, как в бреду, я побрёл, крадучись, мимо дома 42, обиталища уголовной шпаны, и, как наяву, увидел верзилу у ворот, — вот-вот откуда выкатится слюнявый подросток, попробуй отмахнуться от него, бандит шагнет к тебе: «дай ребёнку часы поиграть»; впрочем, в те поры никаких ручных часов ни у кого не было.

Словом, опасный двор; на моё счастье никто не торчал у ворот; отогнав наваждение, я двинулся со спокойной уверенностью старожила вдоль каменной ограды более не существующего чехословацкого консульства. Тотчас встало перед глазами, как мы, дети, толпимся вокруг машины, остановившейся перед великолеп-

ным особняком. Из кабины выходит элегантный офицер в мундире с узкими окантованными серебром погонами, — нечто невиданное.

Внимание! Ещё один поворот... Подумать только, дом, наш дом стоит целёхонький. Мертвенно поблескивают, как слюда, окна первого этажа, — кто теперь там обитает? Я мог бы и сейчас назвать фамилии всех квартирантов. Справа от окон глухие железные створы ворот. Признаться ли, что фасад, арка и подворотня, были истинной целью моего паломничества? Но ворота прошлого захлопнуты, об этом позаботился дворник (жив ли он?), и я поворачиваю назад, бреду мимо, к Большому Харитоньевскому и далее к Чистопрудному бульвару, и, наконец, доходит до меня, что никто и ничто в этом царстве сна меня не ждёт

Из вещества того же, что и сон, мы созданы, и наша жизнь кругом объята снами. Навязчивость одних и тех же грёз подтверждает слова Миранды, дочери герцога Просперо. Впрочем, не заметить, как много нового и чужого здесь появилось, невозможно: город, знаемый наизусть, стал непроизносим. Однако свежие впечатления недолговечны, старое не желает примириться с новым. Память не терпит редактуры. Сны непогрешимы.

Всё же надо бы — на то я и литератор — подробнее отчитать-ся об этом путешествии перед собой или воображаемым читателем, что я и собираюсь сделать. Итак, продолжим: войдя в переулок, иностранец узрел воочию то, о чём грезил не одну творческую ночь: дом и ворота. Первая мысль была, как уже сказано, о дворнике. Иван Сергеев, суровый мужик в холщёвых портах на крестообразных помочах, в белом фартуке, запирает ворота от незваных гостей — бродячих певцов, гадалок, собирателей съестных отбросов и окрестного хулиганья. Побродив туда-сюда, я толкнулся ещё раз наугад. Чудо — створы приоткрылись. Протиснуться в щель для подростка, в которого я превратился, не составило труда. И вот я стою под аркой, воображая себя вернувшимся блудным сыном; слева мусорный ящик с поднятой крышкой источает запахи гнили и старины, — кто-то забыл захлопнуть. Впереди в просвете арки — наш двор, знаю его назубок, как «У лукоморья дуб зелёный». Похожий на все московские дворы, каменный мешок, — всё тут, если кто читал, не раз описано в моих сочинениях. Как встарь, слепо отсвечивают окна этажей — в эту минуту солнце украдкой проникло в пропасть двора. Задрав голову, я увидел над окоёмом крыш и кирпичным брендмауэром голубые поляны неба. Но сам двор на удивление оказался мал, стиснутый между сте-

нами дома, — всё-таки я воображал его себе иначе. Трудно представить, как мы могли носиться наперегонки в этакой тесноте, от одной пожарной лестницы к другой...

Тут меня окликнули. Пришелец обернулся. Кто-то вбежал следом.

«Ты?!» — спросил я ошеломлённо. Меня осенило: ведь я её ждал! Не отдавая себе отчёта. Лида, Лидка, старшая дочка дяди Ивана и дворничихи, которая, помню, выходила из крыльца нижнего этажа, где находилась их квартира, с мешком картофельной шелухи для могучих, медлительных першеронов, влачивших мимо наших ворот грузовые телеги по булыжной мостовой переулка.

Да, это была она, живая, как в той жизни, и сама жизнь, круглолицая, крепконогая, за которой никто не мог никогда утнаться, Лида, почти на голову выше меня и на год старше, в коротком, до коленок, ситцевом платье, под которым уже начали округляться бёдра. Я воззрился на это внезапное видение, смотрел на Лиду глазами сверстника и взрослого одновременно, то была зашифрованная в двенадцатилетнем подростке красота женщины.

«Не узнаёшь? А я тебя сразу узнала».

Не только узнала, но, как и я её, назвала меня по имени (которое здесь опускаю), словно вместе с именем я привёз с собой полузабытое прошлое.

Я молчал, не спуская с неё глаз. Мне нужно было время, чтобы окончательно ощутить себя одним из тех, кем были все мы, наш двор — полудетское наше отечество. Обоих, меня и Лидку, дразнили женихом и невестой.

«Помнишь?» — спросил я.

Она возразила, подбоченившись:

«Я знала, что ты приедешь».

Я пролепетал:

«Знала... откуда?..»

«От верблюда. Зачем?» — спросила она.

«Что зачем?»

«Зачем приехал».

«Сам не знаю. — сказал я. — За тобой».

«За мной?»

«Конечно, — сказал я. — Чтобы ты со мной поехала».

«Куда это?» — надменно спросила Лидия.

Ещё несколько минут прошло в обоюдном безмолвии...

«Хочешь, — продолжал я, — поедем вместе?»

«Я ещё не женщина», — возразила она, вероятно, решив (или догадавшись), что я хочу на ней жениться, и огладила ладонями свой стан.

Я ждал (если это был я). Она облила меня презрительным взором. Прошла, танцуя, мимо меня, по двору, ставшему таким нешироким. Я понял, насколько Лида стала меня старше. Она успела усвоить чисто женское умение сделать партнёра зеркалом, в котором сама смотрелась. Прогуливаясь, она напевала:

«Тили-тили тесто, жених и невеста...»

Я решил.

«Последний раз предлагаю. Поедешь со мной?»

И повернулся к выходу.

«Ты куда?»

Я ответил, что мне надо закончить рассказ.

«Ты пишешь рассказы?»

«Пишу. Разные... Вот, например, этот».

«Тебе, наверно, пора в аэропорт, — проговорила она задумчиво, видимо, не зная, что воздушного сообщения ещё не существует. — Пстой, нам надо попрощаться. Хочешь меня поцеловать?»

«Ты не умеешь целоваться», — сказала Лида, когда, встретившись на мгновение, наши губы расстались. Она вырвалась. Сновидец знал, что он её не догонит.

Считается (некоторые разделяют эту точку зрения), что писателю необходимо жить среди своего народа, в стихии родного языка: покинув отечество, он обрекает себя на молчание. У меня нет собственного мнения на этот счёт.

2013, 2015

Соната опус 90



Для точности мне бы надо было указать дату этого приключения. Стыдно признаться, я не стараюсь его забыть; да и не хочу;

наоборот, стараюсь припомнить все подробности, всё, о чём нормальная женщина никому не расскажет. Вот сейчас возьму лист бумаги, и — как на духу: всё как было.

Меня всегда удивляла откровенность современных писателей, ведь ясно, что под видом вымышленных событий описывается то, что было с самим автором. А если не было, если он всё придумал, значит, он не стесняется демонстрировать перед всеми свою разнузданную фантазию. Боюсь, что в конце концов я порву свои записи в мелкие клочки. Вернее, боюсь, что у меня не хватит духу порвать их. Это было бы изменой. А я уже сказала, что не хочу ничего забывать. Прошу моего сына, если случайно эта тетрадка когда-нибудь после моей смерти попадёт к нему на глаза, выкинуть не читая. Ему, я думаю, в голову не приходит, что со старушкой могло приключиться что-нибудь такое.

Обычно ставят в вину старшим, что они не знают, чем живут их дети, но это неверно: всё главное в жизни детей родителям известно. Потому что это абсолютно то же самое, что было главным в их собственной жизни, в жизни старших. Люди не меняются, что бы ни происходило в мире, и по-настоящему важные события в жизни мужчины и женщины всегда были и будут одни и те же. Зато дети ничего не знают о родителях. Если они и догадываются, что всё, что они переживают, когда-то переживали родители, то уж наверняка не могут себе представить, что родители до сих пор тянут всё ту же песню.

Я так и слышу голос моего сына: *в твои-то годы?* Вот уж, действительно, смех — на старости лет уподобиться собственным детям. Но хватит философствовать. Дело происходило во вторник, а число не имеет значения. Время одиннадцатый час, пора готовить к столу, а я всё ещё верчусь перед зеркалом; на косметику я не трачу времени, разве только чуть-чуть, мысль о том, что человек, которого я жду, подумает, что я намазалась, чтобы ему понравиться, для меня мучительна. Я стою перед зеркалом. Деловой осмотр давно закончен. Но какая-то сила меня всё ещё удерживает. Зеркало висит наклонно, от этого фигура выглядит короче; я снимаю его и прислоняю к стене; теперь, напротив, я кажусь себе слишком высокой.

Тело женщины просвечивает под любой одеждой. Этот сомнительный афоризм принадлежит моему бывшему супругу. Не стоило бы сейчас о нём вспоминать. Ложь: одежда меняет

женское тело, делает его толще, тоньше, старше, моложе. Я не долго раздумывала, что мне надеть; повторяю, мне было бы неприятно, если бы гость решил, что я нарядилась ради него. Но, конечно, напялить на себя что-нибудь старушечье тоже не хотелось.

Последний, подводящий итоги взгляд; печальные итоги, что и говорить. Умение видеть себя — особое искусство, не каждая им владеет. Не искусство, а проклятие — способность увидеть себя такой, какая ты есть. Большинство смотрится в зеркало в надежде найти там не себя, а ту, которую хотят увидеть. Утро вообще не лучшее время для таких, как я, а в это утро моё лицо было ниже всякой критики. Это оттого, что я плохо сплю ночью. Вечером долго не ложусь, боюсь заснуть слишком рано и проснуться среди ночи, и, конечно же, просыпаюсь. И лежу, лежу... Боюсь ночей: по ночам меня осаждают страшные мысли. Ясно видишь, всё потеряно, и впереди ничего не осталось. Думаешь о том, как жестоко насмеялась над тобой жизнь, и эта мука тянется, пока не начнёт светать. Результат был в буквальном смысле налицо.

Я увидела себя, свои дряблые щёки, слегка алеющие под набрякшими нижними веками, свои грустно-насмешливые глаза, всё ещё сохранившие тёмный, таинственный блеск, которым я славилась в молодости. В последний раз, отступив на два шага, я оглядела всю себя, одёрнула юбку. Отмечу всё же ради справедливости, что белая кофточка с отложным стоячим воротничком мне идёт. Я надела бусы и отстегнула верхнюю пуговку. Мои груди, пожалуй, слишком бросались в глаза. Всё же я осталась собой довольна.

Он оказался пунктуален, ровно в двенадцать в прихожей раздался звонок. Я помедлила и открыла. Он вошёл. Моё жильё... что можно сказать о нём? Обыкновенная квартира в обыкновенном, паршивом блочном доме. С окнами без подоконников, с низкими потолками, одна из двух квартир, на которые мы с мужем разменяли наши бывшие хоромы или, лучше сказать, нашу бывшую жизнь. Теперешнее моё обиталище состоит из крохотной передней, кухни и комнаты, правда, довольно большой, где стоит инструмент. У окна помещается письменный стол (за которым я сейчас сижу), и есть ещё ниша вроде алькова, прикрытая занавеской, за ней стоит кровать. Память о моём неудачном супружестве. Мысль о том, что на этой кровати мы когда-то любили друг друга, что на ней был зачат наш

сын, меня давно уже не волнует. И так, я выждала, пока звонок повторится, встала и вышла в прихожую. Я не стала спрашивать, кто там, открыла, зная, что это он, и в самом деле это был он, в пальто и шляпе, с букетом в руках.

Надо было, конечно, развернуть бумагу и воскликнуть, ах, какие чудные цветы, или он сам должен был развернуть; вместо этого я сказала: «Привет», и он, усмехнувшись, ответил: «Привет», — расстегнул пальто, стряхнул капли дождя с шляпы, тут-то я и увидела, как он изменился, как страшно он изменился. И тотчас подумала, как же должна измениться я сама. «Но что же мы стоим?»

Следом за мной он вошёл в большую комнату, я всегда говорю: большая комната, словно у меня их несколько. Остановился и обвёл глазами стены, фотографии, люстру, рояль. На пюпитре стояли ноты, бетховенские сонаты. «Ты реподаёшь?» — спросил он. Я хотела задать ему встречный вопрос, но вовремя остановилась. Он понял и ответил: «Я давно оставил музыку».

Когда я вспоминаю сейчас эти первые минуты, замешательство, смущённое стояние друг перед другом и первые фразы, которыми мы обменялись, то невольно вкладываю в каждую реплику какой-то особенный смысл, которого, может быть, вовсе и не было. Когда знаешь, что было потом, то кажется, что всё к этому и шло. Всё как будто говорилось неспроста, все вещи были участниками тайного заговора. Музыка на пюпитре и фотографии, следившие за нами, и пуговицы на моей блузке, которые я перебирала, словно хотела убедиться, что они все на месте. Потухший, блуждающий по комнате взор моего гостя... Почему потухший?

Вероятно, и у того, кто прочёл бы эти строки, возникло бы такое же впечатление умышленности; ошибочное впечатление. Конечно, я немного волновалась. Но не стоит преувеличивать: мы просто испытывали неловкость, обычную для людей, которые знали друг друга в юности, а теперь пытаются связать концы оборванной нити времени, лёгкое беспокойство, вызванное не столько встречей друг с другом, сколько встречей с прошлым. Должна сразу сказать: никаких особенных чувств я к нему никогда не питала. Разве что любопытство, желание немного помучить кавалера. Мне кажется, я никогда не была кокеткой, да в то время и не было принято у молодёжи заигрывать открыто друг

с другом. Мне было любопытно поглядеть, как он будет реагировать на какую-нибудь туманную фразу, на какой-нибудь мнимомногозначительный взгляд. Ну и, конечно, это чувство, знакомое каждой барышне: что надо иметь кого-нибудь возле себя про запас.

Мы сидели на кухне, где я выставила угощение, перебра-сывались бессвязными фразами, он что-то спросил, я отвечала, всё это не имело ни малейшего значения. Вся жизнь, все эти годы, прошедшие с тех пор, как ни странно, не имели значения; мне не хотелось выспрашивать, что с ним стряслось, его не интересовала моя жизнь. Важно было далёкое прошлое. Только оно было интересно. И разговор наш мало-помалу свёлся к бесконечным «а помнишь, как...» Вспоминали разные истории, перебивали друг друга, смеялись. И когда разговор начал истощаться и больше уже ничего забавного не приходило в голову, почувствовался лёгкий страх, что не о чем будет больше говорить, и мы всё ещё повторяли, как заведённые, чувствуя, что кончается завод: а помнишь?..

«Помнишь, как мы ходили всей компанией вечером по улицам, был Новый год, и прыгали через сугробы».

«И рисовали на снегу? Конечно, помню».

«А ветер какой был, помнишь?»

«Конечно».

«Но бури севера не страшны русской розе. Как жарко поцелуй...»

«Ну уж этого не помню».

«Да, конечно... А помнишь, — проговорил он, — как я тебе написал письмо?»

Тут я почувствовала, что он нарушил правила игры. Была как бы молчаливая договорённость, о чём можно вспоминать — и о чём не стоит.

Почему не стоит? Сама не знаю. Потому что ведь ничего из этого не вышло. Потому что у нас *ничего не было*.

Помолчав, я спросила:

«Откуда ты знаешь, что я его получила?»

«Значит, — сказал он, — ты его получила. Ну, и как ты к нему... отнеслась?»

Я пожала плечами.

«Или уже не помнишь?»

«Я всё помню», — сказала я.

«И что же?»

«Я удивилась».

«И всё?»

«Я думала, что за этим последует продолжение».

«Какое же продолжение?»

«Ну... — я замаялась, — что ты что-нибудь скажешь вслух».

Он усмехнулся: «Ты хочешь сказать, что я молчал, вместо того, чтобы приступить к дальнейшим действиям?»

Я тоже улынулась. «К каким же это дальнейшим действиям?»

Было ясно — что-то сдвинулось в эту минуту, и я почувствовала тревогу, хотя, я уже говорила об этом, никаких нежных чувств я к нему никогда не испытывала. Наш разговор за столом, весёлый и непринуждённый, даже немного растрогавший нас обоих, — кто же не умиляется воспоминаниям о юности, — наш разговор перешёл в другую тональность. В том-то и дело, что всё было важно в этом прошлом, в том числе и то, что казалось неважным. Шутки и смех прекратились, мой гость вертёл рюмку, он был, казалось, целиком поглощён этим занятием. Потом проговорил:

«Можно тебе задать один вопрос?»

«Зачем?» — спросила я.

«Мне интересно. Скажи, пожалуйста... У тебе тогда уже кто-нибудь был?»

«Зачем тебе знать?»

«Мне очень важно».

«Когда?» — спросила я, чтобы оттянуть ответ.

«В это время. Когда мы учились в консерватории».

Я пожала плечами: «Какая же девчонка не увлекается».

«Я не об этом».

«Разве теперь уже не всё равно? Хорошо, — сказала я, — тогда я тебя тоже спрошу: а ты, когда мы учились... Ты думал, что у меня никого не было? То есть считал меня девицей? Извини, — я засмеялась, — слово какое-то нелепое».

«Да», — сказал он серьёзно, и эта серьёзность мне понравилась. Мне нравилось, что он не иронизирует, не смеётся над нашей молодостью и не изображает из себя всё изведавшего скептика.

«Я был в этом уверен», — сказал он и подлил себе и мне. Глядя на его искалеченную руку, я пролепетала:

«Я не очень-то разбираюсь. Мне сказали, хорошее. Венгерское».

Он похвалил вино.

«У меня есть ещё бутылка».

«Допьём эту, примемся за следующую... А водки у тебя не найдётся?»

«Я могу сбежать», — сказала я растерянно.

«Нет, не надо. Не надо», — повторил он.

«А почему, — спросила я, — ты был так уверен?»

«Уверен».

Я усмехнулась. «По-моему, ты тогда тоже ещё был девичей».

Он промолчал, и я продолжала:

«Уж очень мы все друг друга стеснялись. Современная молодёжь не может даже себе представить, до чего мы были скованы. Пуританские времена, ты не находишь?»

Он рассеянно кивнул, о чём-то думал.

«Конечно, мы были слишком молоды, то есть я хочу сказать, ты был для меня слишком молод. Если бы ты был лет на пять старше...»

«Что тогда?»

«Не знаю», — я улыбнулась.

«Ты говоришь: тоже был девичей. Значит, и ты?..»

«Удивительный вы народ, — я рассмеялась, — вам всегда надо знать. Неужели это так важно?»

Он молчал.

«Не было у меня никого, — сказала я. — Ещё вопросы?»

Он откупорил вторую бутылку. У него было что-то с рукой, пальцы не разгибались до конца. Разливая вино по рюмкам, он чуть не уронил бутылку, пролил на скатерть и взглянул на меня с убитым видом.

«Ничего страшного. Это отстирывается»

«Говорят, надо солью посыпать», — пробормотал он.

Я подняла рюмку, выпили.

«Ну, хорошо, — сказала я. — Был один случай. Я ездила летом к бабушке. У меня была бабушка в деревне, в Тульской области. Я у неё каждое лето гостила. Ну, и там был один... тоже приезжий. Глупость, одним словом. Больше никогда не повторилось».

Помолчали.

«Ты разочарован?» — спросила я улыбаясь.

Он тоже усмехнулся, встал из-за стола и вышел в «большую» комнату. Я слышала, убирая со стола, как он подбирал пальцем что-то. Потом сыграл кое-как несколько тактов.

«Ты знаешь эту вещь?» — спросила я, входя в комнату. Глупый вопрос: кто же не знает.

Он повернулся ко мне, покачался вправо-влево на круглом стуле, это доставляло ему удовольствие, и сказал:

«Есть такой рассказ, по-моему, у Шиндлера. Граф Лихновский спросил у Бетховена, что он хотел выразить в этой сонате. Знаешь, что он ответил?»

«Не знаю».

«Он ответил, что в первой части говорится о споре сердца с рассудком, а вторая часть — это беседа с возлюбленной».

«Знаешь что, — сказала я, — по-моему, это ни к чему».

«Что ни к чему?»

«Ни к чему всё время возвращаться».

Я не задавала ему никаких вопросов, не спросила даже, есть ли у него семья, словно мы с самого начала договорились, что будем говорить только о том, что касалось нас обоих. Я уже упомянула, как я была поражена происшедшей с ним переменой. Но теперь как будто начала привыкать, прежние черты проступили сквозь годы и невзгоды. Да ведь и он, увидев меня, наверное, не обрадовался.

«Я ещё хотел тебя спросить».

Я взмолилась: «Ради Бога, не надо!»

«Хотел спросить... у тебя были тогда неприятности?»

По своей тупости я не поняла, о чём он. Какие неприятности?

«Нас всё-таки часто видели вместе».

А, сказала я, нет, ничего особенного не было.

«Тебя вызывали?»

«Всех вызывали».

«И что же?»

«Ничего. Расспрашивали о тебе».

«Что же ты ответила?»

«Я не помню».

Наступила пауза, потом он спросил, знала ли я, что он вернулся. Знала; кто-то рассказывал... Не хотелось говорить ему,

что я редко о нём вспоминала. И вообще считалось, что оттуда не возвращаются.

Я взглянула на часы.

«У тебя дела?»

Вместо ответа я спросила: «Ты завтра уезжаешь?»

«Улетаю». Он жил где-то далеко, может быть, в тех же местах, где освободился.

«М-да. Ну что ж».

Он встал и подошёл ко мне. Я стояла лицом к окну. Вот так и бывает — люди встречаются, потом снова расстаются, на этот раз навсегда. Он медлил, переминался с ноги на ногу; может быть, ждал, что я скажу: побудь ещё немного. Мне хотелось, чтобы он ушёл.

«Что я хотел сказать... — проговорил он. — Послушай, Аня», — и положил руку мне на плечо. Я отстранилась.

«Хочешь, — сказала я, — посмотрим альбом?»

«Альбом?»

«Да. У меня сохранились фотографии».

«И мои?»

«Твои нет. К сожалению. Сам понимаешь... Ладно, — сказала я, видя, что моё предложение не вызывает у него интереса, — пошли, выпьем на посошок».

«Слушай, — сказал он быстро, — только не удивляйся. И не говори сразу нет. Это, конечно, смешная идея, нелепая идея, но мы больше не увидимся. А может, и не такая нелепая... Мы не увидимся. Я хочу сказать, что... Ну, в общем, жизнь прошла!»

Я рассмеялась: «Это ты и хотел мне сообщить?»

Не отвечая, он отодвинул меня от окна и одним движением задёрнул шторы.

«Что ты делаешь, зачем?»

«Свет. Слишком яркий свет, — сказал он. — Аня, мы можем возместить».

Я ничего не понимала.

«Мы можем возместить, — повторил он тупо. — Не говори нет. Пожалуйста».

«Что возместить?»

«То, чего мы не сделали. То, что мы потеряли».

Я спокойно возразила: «Я ничего не потеряла».

«Нет, мы потеряли. Аня, это моя просьба. Не возражай».

Тут, наконец, я упала с облаков. И, конечно, сказала самое банальное, что говорится в этих случаях:

«Ты с ума сошёл!»

«Нет. Не сошёл», — сказал он, не спуская с меня глаз, а вернее сказать, глядя сквозь меня. И добавил:

«Я ради этого приехал».

«Ага; вот как. Ты для этого приехал., — сказала я со злостью. — Спихватился. Через двадцать пять лет».

«Аня».

«Что Аня? Вот ты всё допытывался — была ли я с кем-нибудь и всё такое... А я, может, назло тебе... — Должна сказать, только теперь эта мысль пришла мне в голову. Но казалась мне очень убедительной. — Знаешь, как я была на тебя зла?»

«За что?»

«За что... Неужели непонятно? За то, что ты был мямлей, вот за что!»

Он подошёл к нише. «Э! э! — сказала я. — Ты что делаешь?»

Откинул занавеску.

«Между прочим, мой сын должен сегодня притти», — заметила я.

«Не придёт», — сказал он.

Я вздохнула. Это было чудовищно — то, что он хотел со мной сделать. Я сказала: «Образумься. Возьми себя в руки. В нашем возрасте!.. Лучше попросаемся, и... будет хорошая память, как мы встретились...»

Он ничего не ответил.

«Мы ведь всегда были друзьями, а?»

Молчание.

«Ну, и, наконец — я просто не хочу!»

«Угу», — отозвался он.

Он был целиком поглощён своим занятием. Хмурый и озабоченный, снял покрывало, сложил аккуратно и, не зная, куда деть, повесил на спинку кровати. Из-под подушки вынул мою ночную сорочку, тоже повесил. Отвернул одеяло. Я следила, обалдев, за его движениями.

«Послушай. — Я предприняла последнюю попытку: — Неужели мы не можем без этого обойтись?»

Он покачал головой.

«Мы, в нашем возрасте?..»

Всегда лезут в голову нелепые мысли: я подумала, что на мне неподходящее бельё. «Выйди, — сказала я. — Ну, пожалуйста».

Когда он снова вошёл, — видимо, думал, что я приготовилась, — я стояла, не зная, что делать. Я уж не говорю о том, что тут было нарушение всех правил, тех правил, которые вбиты нам в голову чуть ли не с детства, что всё должно происходить без твоего участия, как бы против твоей воли. Интересно, как ведут себя молодые девицы сегодня? У меня был взрослый сын, но он мне ничего не рассказывал.

«Он должен скоро придти», — сказала я.

«Он не придёт».

«Откуда ты знаешь? А если придёт?»

«Мы не откроем».

«У него есть ключ».

«Ты оставишь свой ключ в двери, он не сможет открыть».

«Но он подумает, что со мной что-то случилось!»

Это уже напоминало какую-то торговлю. Он держал свои руки у меня на плечах, мы смотрели в глаза друг другу, смешно сказать — я почувствовала себя какой-то несчастной, у меня даже навернулись слёзы. Мы смотрели друг на друга, но думала я не о нём, а о себе. Я невысокого роста, с юности была расположена к полноте. После родов похудела. Не могу сказать, что я вела сытую и довольную жизнь, вот уж нет. Нахлебалась достаточно. Может быть, и есть на свете счастливые женщины, только не у нас. Как и большинство, после сорока я стала полнеть. Толстой я не могу себя назвать. Определённую роль сыграло то, что на мне была белая блузка, это опасный цвет. С одной стороны, он молодит, придаёт женщине свежесть. У меня всегда была нежная, молочно-белая кожа. Белый цвет идёт ко мне, моя кожа начинает светиться. Зато тёмные цвета придают ей болезненный вид. Моя мама всегда говорила мне: не носи тёмное, в тёмном ты выглядишь хворой. А с другой стороны, в белом расплываешься. Начинает выступать живот. Конечно, от талии мало что осталось. У меня довольно полные груди, но не оттого, что я пополнила. У меня всегда были полные груди. Говорят, это сочетается с глупостью. Становишься похожей на корову.

Счастье ещё, что в комнате было сумрачно, меня обуял страх. Я боялась, что он увидит меня и я покажусь ему безобразной, я хотела, чтобы ничего не вышло, и боялась, что ничего не выйдет: как мы тогда посмотрим в глаза друг другу? В панике я пятилась и неожиданно села на кровать. А как же ключ, подумала я. Мы сидели рядом. Я прикрыла себя смятой блузкой, сунула лифчик под подушку. Он наклонился и стал у себя развязывать шнурки ботинок. Шнурок не развязывался. Не выйдет, ничего не выйдет, подумала я. Сейчас я вскочу и выбегу на лестницу; самый подходящий момент. Мне стало холодно. Он встал и задёрнул занавеску искалеченной рукой, и мы оказались внутри, словно в купе вагона. Я подняла на него глаза, он был в трусах и носках и очень худ. И я не могу передать, как мне вдруг стало ужасно его жалко. Я послушно сняла всё, что на мне ещё оставалось. Я спряталась от него под одеяло, подальше, к самой стене, взглянула украдкой — на нём уже ничего не было, и, глядя на него, я испытывала не возбуждение, а сострадание.

Это было странное чувство горечи, жалости, сострадания даже не к нему, к товарищу юности, срубленной нашим злодейским временем, это была жалость к бедному человеческому телу, и, обнимая его, я гладила это тело, гладила костлявые плечи, лопатки, косточки позвонков и ложбинку на пояснице. Я знала, что ничего у нас с ним не получится, когда-то он был для меня чересчур молод, теперь я была стара для него, но меня это уже несколько не волновало. Я отвечала его поцелуям, гладила и утешала его, утешала, потому что для мужчин это вопрос самолюбия, глупой чести. Я грела его своей грудью и животом, мне хотелось сказать ему: всё хорошо, полежим спокойно. Но почувствовала его настойчивость, почувствовала боль и давно не испытанное ожидание близкого счастья.

Несколько времени погодя задребезжал звонок, это пришёл, как я и предполагала, мой взрослый сын. Я быстро оглядела комнату, взглянула на себя в зеркало и вышла в прихожую. «Кто там?» — спросила я и открыла дверь, на площадке никого не было. Ни шагов на лестнице, ни звуков лифта. На случай, если дверь захлопнется, я захватила ключи, сошла вниз на несколько ступенек, вглядывалась в пролёт. Ни звука во всём доме. Я вернулась в прихожую и слушала эту мёртвую тишину, в которой мне всё ещё чудились шаги гостя.

Письмо к старой приятельнице о философии любви

Вполне возможно, что женщины, которых мы целовали, как и места, где жили, на самом деле не таят в себе больше ничего из того, что заставляло нас любить, вождедель, жить там, бояться потерять возлюбленную. Искусство, притязующее на сходство с жизнью, дискредитирует драгоценную правду впечатлений и воображения и тем самым уничтожает единственно ценную вещь. Но зато, изображая ее, оно придает ценность вещам самым заурядным.

*Из записных книжек
Марселя Пруста*

Дорогая!

Заголовок, который я поставил здесь, позабавит, а может, и отпугнёт вас: наши отношения всё-таки не настолько конфиденциальны, чтобы позволить мне без стеснения распространяться перед вами на весьма деликатные темы. Трактат о любви, скажете вы, вот-те раз! Кому нужна вся эта философия?

Сидя перед листом бумаги за столом, на котором, кажется, ещё совсем недавно возвышался похожий на мемориал письменный прибор дедушки, а за ним и моего отца, обмакивая ручку в чернильницу и держа наготове пресс-папье, я чувствую себя могоканином эпохи, когда умная машина не отучила ещё людей пользоваться таким архаическим инструментом, как стальное перо, а интернет не доканал традицию эпистолярной прозы. И, однако, я возвращаюсь к надоевшей вам, должно быть, привычке напоминать о моём существовании.

О чём же мы будем беседовать... Что нового может сообщить, чем вас развлечёт корреспондент, для которого всё новое — давно известное старое?

Заговорив о почтовой прозе, я стал думать о том, какое значение имели письма в моей до неприличия затянувшейся жизни, — и вот вам тема! Начать хотя бы с одного примера.

Я знал, не мог не знать, что письмо *оттуда*, сама попытка связаться с внешним миром, кроме ближайших родственников (к ним разрешалось написать один раз в месяц открытку без заведомо секретных подробностей, с закодированным обратным адресом), подвергает опасности адресата, — хотя какой именно опасности, какому риску, об этом можно было только гадать. Все законы и постановления на этот счёт были секретными, как и самый факт существования концлагерей, — слово это принадлежало ко множеству непроизносимых.

Не мне вам рассказывать, дорогая, что мы жили в заколдованном государстве, допускавшем лишь изъявления безграничной преданности и благодарности. Всякая секретность порождает адекватное ей ханжество, и запретность этих слов должна была означать, что ничего подобного нет и не было в нашей самой счастливой стране. Не было никаких лагерей, не существовало и нас, неупоминаемых обитателей этого тщательно закамouflированного мира, — совершенно так же, как для ребёнка, которому родители запретили произносить нехорошие слова, не должно было существовать ни частей тела, ни органов, обозначаемых этими словами, ни всего того, для чего предназначены природой эти органы.

Так вот, мадам, — если вернуться к начатому, — я вполне отдавал себе отчёт в том, что две-три строчки, которые я осмелился каким-то образом направить из заключения девушке по имени Ирина Вормзер (и на которые, разумеется, не получил ответа), могут причинить ей неприятности. И всё-таки послал — зачем? Считать ли это мальчишеской бравадой, оправдывать его тем, что мне тогда шёл двадцать второй год? Сознаюсь, поступок этот в самом деле выдавал в уже взрослом человеке и политическом заключённом подростка, для которого самое важное — произвести впечатление, козырнуть перед девочкой, дать понять, что к ней неравнодушны. Главное, *сказать* ей об этом. Инфантильность была характерной чертой нашего поколения, об этом лучше поговорим ниже. Между прочим, позднее, много лет спустя, выяснилось, что послание моё всё-таки дошло, и притом без всяких последствий для Иры.

Любовь, говорит рассказчик у Пруста, это всего лишь плод нашего воображения (или, ещё определённой, «негатив нашей чувственности»). Мы любим не реальную, обыкновенную девушку, какова она в жизни и за кого сама себя принимает, — но ту, ка-

кой мы её себе представляем. История моих отношений с Ириной Вормзер (надеюсь, вы догадались, читая некоторые из моих сочинений, где она — главное действующее или скорее недействующее лицо, что имя это вымышлено) — история наших взаимоотношений, говорю я, лишний раз подтверждает убийственную правоту автора «Поисков утраченного времени».

Здесь, я думаю, кроется и ответ, зачем мне понадобилось переименовать её. Новое имя преображает его носителя, и я почувствовал, что должен описывать мою пессию не совсем такой, какой я её знал, но той, чей образ некогда рисовало мне моё воображение. Литература — это воображение. И вот теперь, вспоминая далёкие времена и один эпизод, сам по себе совершенно незначительный, но врезавшийся в память, я спрашиваю себя: была ли эта Ира Вормзер, носившая тогда своё настоящее имя, реальной Ирой, а не иллюзией семнадцати-восемнадцатилетнего юнца?

Я чуть было не начал это письмо с упоминания о другом письме. Ослепительная идея объясниться в любви таким способом не впервые осенила вашего корреспондента. Письма, как верстовые столбы, разметили мою жизнь. Письма обозначили эпохи жизни. Вы, дорогая, знакомы с моими сочинениями; не устаю благодарить вас за терпение и снисходительность. Прочитав в отрывке письма Герцена из владимирской ссылки к кузине Наталье Захарьиной, я заболел эпистолярной манией, и первым её симптомом было письмо к 20-летней Нюре Приваловой, написанное во время войны в эвакуации, в спальном бараке, при свете коптилки, тайком опущенное той же ночью в сельский почтовый ящик, письмо, сочинённое с единственной целью: пусть она знает! За этим отважным поступком последовало возвращение в Москву, университет, первый курс... и снова письмо — к кому же? Вы улыбаетесь... Разумеется, к той, кому я много позже в своей литературе присвоил имя Иры Вормзер. Не буду сейчас о нём. Как вы теперь знаете, оно не было и последним. Замечу лишь, что эти письма-объяснения, подобно письму Татьяны (которому я, конечно же, невольно подражал), скорее вредят их авторам, — впрочем, об этом ниже. Итак, довольно о письмах; перейдём лучше к эпизоду, о котором я мельком и, может быть, неосторожно упомянул выше.

Если верно, что юношеская любовь, которая почти всегда остаётся безответной, может чему-то научить, подобно тому (смелое сравнение!) как музыка гениального композитора постепенно, по

мере того, как мы её осваиваем, в итоге оказывается откровением нашей жизни, — если, говорю я, юношеская влюблённость представляет собой урок жизни, то правда и то, что увлечение Ирой Вормзер научило меня, в чём я убеждаюсь много лет спустя, кое-чему, во всяком случае, подарило мне две-три темы для будущего писательства. Упомяну примечательный парадокс: невозможность раздвинуть таинственную завесу, которую я сравнил бы (не довольно ли, однако, литературных реминисценций?) с покрывалом Изиды у Новалиса. Юный Гиацинт приподнимает покрывало, скрывающее некую истину, и оказывается, что возделенную тайну воплощает его возлюбленная, неуловимая Розенблют. В моей ситуации было нечто комическое: я знал, узнавал Иру, словно книгу, зачитанную до того, что из неё можно цитировать наизусть целыми страницами; я знал во всех подробностях её убор, причёску, походку, черты лица, манеру поправлять упавший на висок завиток бледно-золотистых волос, издавала угадывал звук её шагов, замечал её в толпе сверстниц, закрыв глаза, видел её всю... а вместе с тем не решался её разглядывать, не мог себе представить, что найду случай ненароком коснуться её одежды. Она была для меня восхитительной плотью, и, однако, я не мог, не смел и не умел вообразить её хотя бы наполовину обнажённой. Было просто невыносимо поднять покрывало над её тайной, не оскорбив при этом, пусть мысленно, её целомудрие и не посягая на её а priori принимаемую теоретическую невинность. Была ли она «невинной»? Впрочем, в те времена, в пуританском обществе, воспитавшем нас, презумпция девственности была чем-то само собой разумеющимся. Сегодня, после всех пронёсшихся надо мною лет, я сумел бы, призвав на помощь свою литературную искущённость, а лучше сказать, испорченность, разоблачить тайну, или, что то же самое, истину — описать её тело юной, только что созревшей женщины, каким оно ныне предстало моему воображению, — если бы не опасение шокировать вас, дорогая. Вы поверите мне, если я вам скажу, что никогда не помышлял о том, чтобы соединиться с Ирой, обладать ею.

Но я отвлекся; будем продолжать.

Я назвал общество тех лет пуританским; думаю, вы согласитесь со мной, что ещё верней было бы наименовать его — имея в виду не только политику, но и мораль — полицейским. Тут — или, как принято говорить, «в этой связи» — мне хотелось бы кое-что сказать о нашем «поколении». Трудная тема! Шаткое, невер-

ное слово, которое приходится брать в кавычки. В самом деле, кто такие были эти «мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, изобретение писателей. Моё поколение — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал желания связываться.

«Я поздно осознал свою принадлежность к поколению», — замечает Марк Харитонов (эссе «Родившийся в 37-м»), — даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». Мне кажется, я мог бы подписаться под этими словами.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Мы жили в эпоху, которой не было. Рискуя впасть в неуместное острословие, можно сказать, что эпоха «эпох» в нашем государстве попросту прекратилась. Бывают такие страны, где история проваливается время от времени в яму.

Но! Хочешь не хочешь, придётся возразить самому себе. Ныряя в омут минувшего, я принужден буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному «мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае к поколению московской интеллигентной молодёжи ранних послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг призывного возраста к моменту окончания великой войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное поколение, и не только потому, что всякое проявление солидарности, любая попытка сплотиться, тень единомыслия, группа или дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции — тогдашнего МГБ, прослаивались донощиками и заканчивались арестами, — не только поэтому. Но и потому, что мы были поколением, которого не было, потому, что угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени. Вы, дорогая, разумеется, помните эти годы.

Сказать о нас, что, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, мы не знали жизни, сказать так было бы и правдой, и неправдой. С реальностью повседневного существования в Советском Союзе, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., со всем этим мы сталкивались весьма чувствительно и достаточно рано. Перед этими сиротливыми ку-

лисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась наша молодость, поколение одиночек, типичными чертами которого были какая-то странная, всё ещё не преодолённая невзрелость, застенчивость и стыдливость, поразительное невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед мужской инициативой у девушек вкупе с их неизбежным следствием — обоюдной скованностью... Короче, богатейший материал для фрейдистских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнён к политической крамоле.

Пожалуй, я слишком растёкся по древу. Пора заканчивать, но позвольте мне пересказать одно маленькое воспоминание, которое я нахожу на дне омута, как ловец жемчужин — раковину на дне Индийского океана.

Был такой — и, говорят, стоит до сих пор на Пречистенке, некогда переименованной в улицу Кропоткина, — Дом учёных; здесь в те годы устраивались вечера для студенческой молодёжи. Не помню, по какому случаю мы оба, Ира Вормзер и я, оказались на одном из этих вечеров. Я не ожидал её увидеть. Надо вам сказать, что я обожал танцы. И вот — какое грандиозное воспоминание! Грянул духовой оркестр, праздничная толпа всколыхнулась, и, набравшись духу, я приблизился к Ире. Кажется, она была удивлена. Она была прекрасна. Что было на ней? Пытаюсь найти нужное сравнение. В те годы в Москве появилось, в числе других американских продуктов, которыми кормился весь город, — счастливицы получали их по карточкам, — волшебное лакомство, сгущённое молоко с сахаром; если подержать закрытую банку в кипятке, молоко меняло свой цвет. Таким — золотисто-коричневым — было платье Иры, облежавшее уже довольно полную грудь и бёдра, и оно удивительно шло к ней, к её рыжеватым и светящимся, слегка вьющимся волосам, собранным в небольшой узелок на затылке. Музыка звала и будоражила нас, пары теснились вокруг, я неловко обнимал её, как полагалось, за талию, её ладонь лежала на моём плече, я видел в нескольких сантиметрах от себя её вздымающуюся грудь, губы Иры были приоткрыты, свежее дыхание обвевало меня. Казалось, и она была взволнована, и вся жизнь была впереди, жизнь была окутана дымкой недосыгаемого будущего. То были первые

послевоенные годы надежд и ожиданий, приближалось новое время, и никто не подозревал о том, каким хищным будущим было беременно это время. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, которая пожрёт и тебя, и вместе с тобой — твоё короткое прошлое, всё то, что впоследствии сохранит усталая память; мы не знали, что из чаши лет за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего, что Иру ждёт бедственное замужество, потеря ребёнка, мучительная болезнь, меня — арест, тюрьма и лагерь.

Дорогая! Вы чувствуете, что письмо, весь этот чересчур затянувшийся рассказ, требует завершения. Happy end — если бы можно было его так назвать...

Одним из немногих счастливых событий — может быть, самым счастливым в истории нашей многострадальной родины — была смерть вождя-каннибала, неожиданно ухнувшего в преисподнюю, чтобы разделить там по-братски с Шикльгрубером котёл с кипящей смолой. Я был выпущен на волю с запрещением возвращаться в Москву. И всё-таки, буквально на другой день не утерпел и позвонил из телефона-автомата Ирине Вормзер. Долго добирался до неё, она проживала в новом районе, на последнем этаже одной из новостроек. С колотящимся сердцем я поднялся по лестнице и позвонил в дверь.

Она отворила.

Узнали ли мы друг друга? Узнал ли я Иру? Конечно, как принято говорить в романах, годы наложили на неё свой отпечаток. Обо мне и говорить не стоит; мне с моей наружностью и без того терять было нечего. Зато она... Что ж, по крайней мере для меня она должна была оставаться красавицей.

Должна. Странное замечание, скажете вы.

Всю мою, показавшуюся необычайно длинной дорогу на окраину донельзя разросшейся столицы, мимо незнакомых станций новой линии метро, потом в переполненном автобусе и, наконец, в поисках дома, поднимаясь по ступеням неуютных этажей, — всю дорогу я не переставал думать об одном, вспоминал, как я любил Иру и не отваживался сказать об этом вслух, тщетно жаждал ответного внимания и мучался неутолённой страстью.

Мы сидели за скромным угощением, чокнулись бокалами с красным вином, но сердце моё уже не стучало. Жестокая догадка поразила меня. Похоже, я уже не любил её. Нет, зачем же: любил, конечно. Но *не так*.

Я встал. В маленькой прихожей снял с вешалки своё пальто. Она тоже поднялась, приблизилась и поцеловала меня.

И вот теперь, после её смерти, я спрашиваю себя: зачем я тогда не обнял её, зачем не спросил, не предложил ей выйти за меня замуж?

Дорога

Я писал Историю железных дорог.
Чехов

1. Интродукция

Среди ночи, в крошечной тьме, я проснулся от паровозного свистка, выскочил на перрон, бежал рядом с грохочущими вагонами, протянув руки к поручням, сбил с ног кого-то, мне казалось, перрон с киосками и провожающими едет назад, мне казалось, что я бегу на одном месте; я вскарабкался на тормозную площадку и лишь тогда заметил, что это не тот поезд. Пришлось прыгнуть, и я кубарем покатился с насыпи. Я смотрел вслед последнему вагону, а оттуда на меня смотрел человек в стеганом бушлате и солдатской шапке-ушанке. В ужасе я понял, что это был тот поезд, что поезд ушел и меня не досчитаются. К счастью, это произошло мгновенно, — мне удалось поменяться с ним одеждой и местами: я стоял в бушлате, с фонарем в руке на площадке последнего вагона, а с насыпи человек отчаянно махал руками вслед уходящему составу, так тебе и надо, подумал я злорадно. Еще я успел заметить, как отставший выбрался на полотно и побрел по шпалам, а поезд тем временем набирал скорость. Каждый знает, что идти по железнодорожному полотну неудобно, расстояние между шпалами слишком мало для нормального мужского шага. Колонна шла по четыре человека в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, глядя вниз, себе под ноги, и впереди, и позади колонны, придерживая на груди болтающиеся автоматы, семенили конвоиры, еле поспевая и тоже опустив головы. И вновь свисток пробудил меня от навязчивых и бессвязных мыслей. Нас нагоняла платформа, груженная щебнем, лопатами, перевернутыми тачками.

Далеко позади, толкая вагоны и платформу, тяжело дышал и вращал колесами паровоз, машинист не видел колонну, и кри-

чать было бесполезно; конвой оглядывался, состав нагонял колонну; как лошадь не может свернуть с дороги, так мы бежали по шпалам, и следом за нами визжали колеса, побрякивали тачки и лопаты. Солдаты сбежали с пути, что-то выкрикивали, но мы не могли сойти с дороги, шаг влево, шаг вправо, конвой применяет оружие, это заклятье сидело у нас в спинном мозгу, страшное чувство действительности, от которой некуда деваться, парализовало меня.

Тут, однако, кое-что изменилось. Оловянное небо низко стояло над лесами, над пнями и гатями, там и сям поблескивало тусклое серебро болот, надо было решаться. Патруль ждал по ту сторону пути, за шумом и громом пронсящих вагонов, и я знал, что, как только поезд пройдет мимо, проводник СРС спустит зверя, проводник служебно-разыскной собаки. Он сам был похож на свою СРС. Кто кого держал на поводке? Поезд гремел на стыках, патруль ждал, кирзовые сапоги, заляпанные грязью, были видны между мелькающими колесами, пес перебирал передними лапами, мне даже казалось, что я слышу, как он повизгивает от нетерпения и сержант щелкает языком. Паровоз взвыл, давая понять, что состав минует таежную станцию с древнерусским названием, которого не было на карте, весь наш гиблый край не существовал; и вот я вижу, как приближается последний, так называемый русский двухосный вагон, короткий, в отличие от четырехосного двухсоттонного пульмана, слишком тяжелого для проложенной на скорую руку узкоколейки. Вагон катился, вихляясь, в хвосте состава, и надежда оставила меня окончательно. Терять было нечего, я подпрыгнул и сорвался, снова прыгнул, получил сильный удар, но сумел подтянуться и взобрался на площадку, и тотчас все улетучилось в свисте ветра, я забыл, кто я и откуда, словно все было сном и восстановилась нормальная человеческая жизнь. Войдя в теплый вагон, я уселся в проходе на свободное место. Пассажиры молча, брезгливо подвинулись, косясь на мою одежду. Буфетчик в белом грязноватом фартуке нес на согнутой руке корзину, в другой руке держал большой алюминиевый чайник, предлагал какао, булку с колбасой, вещи, которых я не ел тысячу лет, денег у меня не было, толстый буфетчик сжалился и налил мне горячего какао в бумажный стаканчик, и сладкая усталость сморила меня, и я уснул под стук огромных часов, под гул поезда, уходящего в черный туннель, под гром вагонов на мосту и внезапно ворвавшийся свист и вой идущего мимо экспресса.

Голова моя болталась на груди, во сне я видел сверкающие на солнце рельсовые пути, стрелки, пикетные столбики и далекие мачты светофоров.

2. Путевые картины

Я спал и не спал и думал о том, что так и буду ехать всю жизнь, поглядывать в окошко на снежные леса, весенние разливы, на бабу-стрелочницу со свернутым желтым флажком. Давно уже я замечал, что железная дорога играет особую роль в моей жизни, в моей клочковатой, тряской, гремячей жизни, — с той поры, когда ребенком я подбегал к полотну, вслушивался в подрагивание рельсов и вглядывался в далекий туманный путь, откуда медленно, незаметно несло на меня неведомое будущее. Что-то смутное, голубоватое, все ближе, ясней — это шла электричка. Ветер нес навстречу запах дегтя и стали, ржавого щебня, мазута, был канун выходного дня, ранний вечер, и мачты, и протянутые в вышине друг над другом, соединенные перемычками провода рисовались на серебряном небе.

В то время у меня была целая коллекция билетов, картонных прямоугольничков, красных — с названиями далеких станций, желтых — с номерами пригородных зон, я ждал, когда схлынет толпа дачников, лез под дощатую платформу, чтобы добыть билетик с треугольной пробоиной от щипчиков контролера, брел по дорожке, усыпанной иглами, пересеченной корнями деревьев, как следопыт, впиваясь глазами в лесную тропу. Железная дорога пробуждала необъяснимое волнение, и, может быть, собиранье билетиков было лишь поводом для того, чтобы вдыхать ее запах. Железная дорога звала за собой и обещала избавление — от чего? Дорога связала эпохи моей биографии, не давая ей распасться, как стержень, на который нанизаны места и времена; четырехструнный инструмент судьбы. Стоит ли удивляться? Я догадался, что иначе и не могло быть в огромной расплывающейся стране, простроченной рельсовыми путями, которые скрепляют ее рыхлое тело.

Поезд был похож на электрички нашего детства, с широкими окнами, без купе и верхних полок. Быть может, сидячие вагоны чередовались со спальными; или скорость так возросла, что поезда дальнего следования стали похожи на пригородные; оба предположения были маловероятными, но чего не бывает в пути? Например, я заметил, что путь деформирует время.

Дорога перемалывает часы в километры, сутки — в климатические пояса. Вы уезжаете из одной жизни, приезжаете в другую. Трудно сказать, сколько времени я дремал; чей-то взгляд заставил меня пробудиться. И, прежде чем я разлепил веки, я понял — спинным мозгом, который не ошибается, — что за мной следят.

Контролер! Или, чего доброго, поездной патруль под видом контроля. Или то и другое вместе. Медленно двигались они по проходу навстречу друг другу, слышался служебный голос, щелкали щипчики. Даже если они не знали, кто я такой, хотя за мной-то они скорее всего и охотились, ведь я уже был объявлен во всесоюзный розыск, — остаться неузнанным было невозможно. У меня не было билета, не было паспорта, на мне была лагерная одежда, можно было не сомневаться — на ближайшей остановке меня ждали местный оперуполномоченный и конвой. Даже если бы просто посадили меня, на станции ждал конвой. На всех станциях всегда стоит наготове конвой. Итак: не мешкая встать и выйти в тамбур. Разумеется, меня окликнут, может быть, схватят за рукав; вырваться, пробормотать: я в уборную, сейчас вернусь, что-нибудь в этом роде; на мое счастье, в вагон набился народ, протолкаться в проходе и тамбуре, проскользнуть по железному трапу в другой вагон, выбраться наружу, пересидеть на ступеньках в свисте и грохоте, пока они не уйдут; на худой конец спрыгнуть и скатиться с насыпи. Все это неслось и стучало в моем мозгу.

Между тем я давно уже очнулся и лишь для виду клевал носом в нелепой надежде, что, увидев меня спящим, они пройдут мимо. У меня даже возникла мысль, что я услышу, о чем они будут говорить между собой, уверенные, что я сплю, и разгадаю их планы. Так было со мной в далекие времена, пожалуй, мне было уже лет тринадцать, когда однажды утром соседка зашла к моей матери, а я все еще был в постели и стеснялся встать, притворившись спящим; все мое тело стонало от вынужденной неподвижности, но я не мог открыть глаза, охваченный внезапным волнением и любопытством; я слышал вещи, о которых не говорят при детях и мужчинах; соседка пожаловалась на то, что она похудела и лифчики стали велики для ее груди, и мама ей что-то ответила, а та говорила, что она только притворяется, будто испытывает удовольствие, а на самом деле жизнь с мужем не доставляет ей радости и она боится, что он догадается и найдет себе другую. Здесь было много неясностей, и я надеялся, что из дальнейшего разговора все прояснится. Я встал, разминая затекшие члены,

и чрезвычайно удачно выбрался, никем не замеченный, оттого что контролер, или кто он там был, занялся другим безбилетником. В тамбуре у окна стояла невысокая кругобедрая женщина с грубоватым лицом продавщицы или колхозницы, разговор моей матери с соседкой не выходил у меня из головы, я подумал, что с простой девушкой можно не церемониться; слушай, прошептал я, обнимая ее сзади, у нас мало времени. Чего ж ты говоришь, что лифчик стал тебе велик? Когда у тебя такие спелые, такие круглые груди! Но она молча повернула ко мне выпуклые глаза, давая понять, что нас могут застукать. Оглянувшись, я показал ей на дверь туалета, она радостно закивала и схватилась за ручку, мы оба схватились за ручку узкой двери с надписью и глазком, что придавало ей сходство с тюремной камерой, дверь не поддавалась, возможно, так кто-то был; вместе мы дергали и рвали ручку, как вдруг дверь отворилась, и тотчас я понял, что все обман. Из уборной выступил контролер. Не исключено, что они оба были в заговоре. Это был ложный ход. Я снова сидел в вагоне, на этот раз у окна — съездившись, смежив веки, ждал, когда меня схватит за плечо сильная и безжалостная рука.

3. Попутчики

Но ничего не происходило. Похоже было, что они ушли.

Чей-то пристальный взгляд по-прежнему не отпускал меня; так спящий чувствует на щеке солнечный зайчик. Все еще не доверяя удаче, я открыл глаза, осторожно, как отворяют дверь. Поезд несся вперед, народ сошел на станции, которую я умудрился не заметить, очевидно, и контролеры сошли. В опустевшем вагоне громче раздавался мерный стук колес. Мир свистел и летел мимо, а здесь было тепло и покойно, кое-где по углам дремали редкие пассажиры, покачивались на крюках сумки с продуктами.

“Не знаете ли вы...” — просипел я. Пожилой приличный господин, сидевший напротив, улыбнулся и наклонил голову. “Не скажете ли вы, — повторил я, прочистив горло, — где мы едем?” Человек ответил что-то на языке, который показался мне не совсем знакомым; вероятно, и он скорее догадался, чем понял, что я сказал. Возле него у окна сидел, свесив ноги, кудрявый ребенок, очевидно, внучка, она смотрела на проносящиеся леса. Услыхав наш разговор, повернула ко мне личико, напоминавшее мне кого-то.

Я почувствовал благодарность к моему визави; собственно, и заговорил-то с ним оттого, что испытал прилив симпатии к случайному спутнику, незаметно подсевшему, пока я боролся с кошмаром. Вот человек, подумалось мне, которому ничего от меня не надо, который ни в чем меня не подозревает и не требует предъявить документы. Мое молчание могло быть воспринято как невежливость. Я спросил: “Вы, наверное, из Прибалтики?”

Он покачал головой. “Вы иностранец, — сказал я с восхищением, — из какой же вы страны?” Он пожал плечами. “Америка? Англия?” “Тепло”, — промолвил он с хитрым видом. “Голландия?” — “Еще теплей”. “Германия! — воскликнул я. — Дойчланд! Вот видите, я сразу усек, что вы из-за бугра, вы улыбнулись незнакомому человеку, а у нас, знаете ли, это не принято”. Я говорил и не мог остановиться.

“Да еще вдобавок, если он в таком виде”, — добавил я и показал на телогрейку и ватные штаны.

Пассажир снова пожал плечами, оттого ли, что плохо меня понимал, или желая сказать, что для него не имеет значения, кто как одет. Может быть, он решил, что в этой стране принято так одеваться, что, в общем-то, было недалеко от истины.

Что касается его собственного наряда, то тут я должен сказать, что он не просто выглядел иностранцем, но как будто явился из другого века. Конечно, в дороге кого только не встретишь. Пассажир был облачен в черный сюртук, жилет, высокий крахмаль-ный воротничок с отогнутыми уголками, черный шелковый галстук. На крючке под багажной полкой висели его шляпа и плащ с пелериной, называемый, если не ошибаюсь, крылаткой, в который девочка зарывалась всякий раз, когда я посматривал на нее.

Мне было стыдно, что я так плохо говорю, и я пробормотал, что когда-то учился, только вот все забыл.

Он поднял брови.

“Забыл язык!” — сказал я сокрушенно.

“О, нет, вы прекрасно говорите”, — возразил он и погладил внучку, которая, открыв рот, слушала нас или, вернее, меня и, видимо, вовсе ничего не понимала. Она положила голову на колени деду, не спуская с меня глаз, как будто хотела показать, что он ее собственность, и она не намерена уступить ее даже на короткое время чужому человеку.

Старик сказал:

“Конечно, язык очень быстро забывается; я знаю это по себе. К тому же вам мешает мое произношение. Сами немцы, знаете ли, не всегда понимают друг друга. Ведь у нас что ни область, то новый диалект”.

“Но вы же...” — проговорил я, глядя на бархатную лиловую шапочку на его лысой голове в венце желто-серых кудрей.

“Что я?.. Ах вот оно что! Видите ли, — он усмехнулся, — все немецкие евреи считают себя немцами — или по крайней мере считали. Немецкие евреи — большие патриоты. Или были ими... Несмотря на то, что они евреи. То есть именно потому, что они евреи, они были такими патриотами. Also? (Так что же?)”

“Я спросил, где мы едем, потому что это должен быть поезд дальнего следования, — сказал я, старательно подбирая слова. — Поезд, который пересекает несколько областей. А у нас области очень большие, каждая величиной с целую Германию”.

“О, да”. — Он улыбался, кивал с сочувствующим видом.

“Так вот, я хочу сказать, этот поезд выглядит как пригородный. Нет ни полка, ни купе. Странно, не правда ли?”

“Но в Европе все поезда такого типа”.

“Это в Европе. А мы должны ехать в поезде дальнего следования. Поэтому я и спросил”.

“В дороге, — сказал пассажир, — бывают всякие неожиданности”.

“Верно, замечательно верная и важная мысль. Понимаете, жизнь так сложилась, что у меня было мало практики. Общение с иностранцами у нас не поощряется. Да и вообще столько времени утекло, знаете ли... Но вы мне сразу понравились. Внушили доверие. У нас ведь, знаете, как: если к тебе хорошо относятся, значит, жди подвоха. Или к тебе подлизываются, думают, что ты начальство, или хотят облапошить тебя, пользуясь тем, что ты растаял. А чтобы просто так к тебе хорошо относились, — сказал я, качая головой, — не-ет, так не бывает”.

“Вы слишком строго судите”.

“Я?” — И я усмехнулся.

Мне хотелось говорить, я не мог остановиться.

Я чувствовал, что выражаюсь бессвязно и нарушаю не только правила грамматики, но и приличия, необходимые в разговоре между незнакомыми людьми. Не умея найти нужный тон, я должен был показаться моему собеседнику тем, кем я, в сущности, и был: полунинтеллигентом, полубосоком. Уютный вагон,

спасение от преследователей, чудесным образом исчезнувших, — сейчас я уже не мог отличить реальность от наваждения — развязали мне язык, и при этом я испытывал восхитительную беззаботность, как бывает, когда приходится изъясняться на иностранном языке. Это может показаться странным, но чужой язык обрекает вас на косноязычие и в то же время расковывает. Чувствуешь себя в самом деле свободнее, исчезает страх, падают запреты. Стыдные слова, запрещенные слова, опасные слова — все, что так боязно произнести на своем родном языке, словно наткнуться на колючую проволоку под током или наступить на мину, — теряют свою взрывную силу; на чужом наречии легче объясниться в любви и ничего не стоит произнести вслух самую страшную крамолу.

“Вы, наверное, не знаете, — сказал я, смеясь, как говорят со смехом о собственной смертельной болезни, — вы даже не знаете, что у нас бывает за связь с иностранцем”.

Он спросил: “Что вы подразумеваете под связью?”

“Разговор. Вот как мы сейчас с вами разговариваем”.

Да еще, хотел я добавить, когда турист заводит знакомство с такими, как я. С несуществующими людьми.

“Я вообще удивляюсь. Вы так свободно разъезжаете, и никто за вами не следит?”

“Кто знает, может быть, и следят”.

“А все-таки мне ужасно приятно, что мы едем вместе”.

“Мне тоже. Впрочем, это не должно вызывать удивления”, — заметил он.

“И куда же вы едете?”

“Гм, куда я еду? Как вам сказать, по правде говоря, я сам еще точно не знаю. Еще не решил!” — сказал пожилой пассажир и развел руками. Поезд шел, не сбавляя скорости.

4. Воспоминания

Тут, наверное, надо было спросить: как это вы не знаете, ведь билет-то у вас до определенного места? С другой стороны, я не имел представления о порядке передвижения иностранных граждан по нашей стране.

“Это ваша внучка?”

Пассажир усмехнулся, снял панамку с ребенка и слегка взъерошил его золотистые волосы. Малыш потянулся к его бархатной

шапочке, старик наклонил голову, малыш схватил шапочку и надел ее на себя. Старик напялил панаму. Эта игра продолжалась некоторое время.

“Слышал, что сказал дядя? — спросил пассажир, насаживая шапочку на свои седины. — Он сказал, что ты моя внучка. Хочешь быть девочкой?”

Малыш насупился и энергично помотал головой.

“Вот он, наверное, мог бы поговорить с вами по-русски, если бы не дичился. А? Скажи что-нибудь”.

От тепла и ритмичного покачивания меня начало морить. Долгий разговор утомил меня, я уже не понимал, с какой стати я вдруг так разболтался. Голова моя стала толчками опускаться на грудь, и уже почти сквозь сон я услышал голос попутчика:

“Позвольте...”

Не позволю, подумал я. Дайте поспать, я целые сутки не смыкал глаз.

“...задать вам один вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь...”

“Нет, не приходилось, — сказал я поспешно. — Послушайте: мы так долго едем... Сколько сейчас времени?”

“Бойтесь проехать вашу станцию?” — насмешливо спросил он.

“Мне пора выходить”.

“Сидите, до станции еще далеко. Also! (Ну так вот.) Вам приходилось когда-нибудь видеть свои детские снимки?”

“Что?” — спросил я.

“Фотографии вашего детства”.

“Знаете что, — сказал я ему. — Очень вас прошу. Не задавайте мне никаких вопросов”.

“Но вы даже не знаете, почему я спросил”.

“Все равно; ни о чем меня не допрашивайте”.

“Помилуйте, какой же это допрос! Так... все-таки?”

“Не помню”.

“А вы вспомните”.

“В ящике письменного стола, — сказал я, — лежала большая фотография, где я на руках у моей матери. Мне, наверное, было меньше года”.

Пассажир сказал:

“Она и сейчас там лежит”.

“То есть где это там?”

“Там, где вы сказали. В письменном столе”.

“О чем вы? — вскричал я. — Никакого письменного стола давным-давно не существует”.

“Верно, — сказал он мягко, — но в каком-то смысле все-таки существует. Так же на фотографиях человек продолжает жить, хотя, может быть, его давно уже нет... А более поздние?”

Я ответил, что была еще карточка, на которой я был снят во весь рост, в бархатном костюмчике и с бантом на шее. “Знаете, — и я рассмеялся неожиданно для себя самого, — бант — это была просто мука. Меня тоже в детстве принимали за девочку. Худшего оскорбления нельзя было придумать”.

“Вот видите, надо было и мне повязать ему бант. Сходство было бы еще заметней. — Он помолчал. — Ты все еще не узнаешь себя?”

Разговор в самом деле затянулся, а я так и не решил, что делать, сойти на ближайшей станции или ехать дальше; я устал говорить на чужом языке и уже не был уверен, что правильно понимаю моего собеседника. А между тем было ясно, что мы только подбираемся к главному, и остановиться было невозможно, как невозможно было затормозить движение поезда.

5. Туннель

Пассажир вытянул за цепочку из кармашка брюк серебряные часы, отколупнул крышку.

“Вы хотите сказать...” — пробормотал я.

“Надо будет свериться на ближайшей остановке, похоже, что мои часы отстали. Вероятно, мы в другом часовом поясе... Впрочем, какая разница. М-да. Вот именно, — сказал он, щелкнул крышкой и спрятал часы. — Именно это я и хочу сказать. Вас это удивляет, но, в сущности говоря, как бы вам объяснить.

В дороге все бывает. Мне кажется, вы того же мнения”.

Я не знал, что сказать, чем ему возразить, и моя физиономия, как можно предположить, приняла глупое выражение. Он продолжал:

“Дорога — это великая вещь. Можно встретить кого угодно. Можно разговаривать с человеком, которого вы не удостоили бы в обычной жизни и двумя словами. Можно встретиться с теми, кого вы не только никогда больше не увидите, но и не могли бы увидеть в обычной жизни”.

“Что значит — в обычной жизни? Знаете ли вы, кто я?”

“Ungefähr. (Приблизительно.) Сиди спокойно, — сказал он мальчику. — Хочешь ко мне на коленки? Или к дяде. Не бойся, ведь это ты сам”.

Вспыхнули лампы, поезд вошел в туннель. Сквозь тьму мы мчались под грохот и визг колес, и рядом с нами в чернотуманном стекле пошатывался ярко освещенный вагон, и за окном мы трое, я и напротив меня старик в антикварном одеянии, с ребенком на коленях. Старик что-то говорил. Мальчик уставился на свое отражение. Впереди забрезжил утренний свет, померкло электричество, вагон вылетел на волю. В наступившей блаженной тишине вновь слышалось ровное, мерное постукивание. За окном тянулись пустые ровные поля, и казалось, что поезд еле движется. Изредка мелькали безлюдные полустанки. Леса отступили к горизонту. Покойно качались в углах вагона безмолвные дремлющие пассажиры.

“Мы прекрасно помним себя детьми, это остается на всю жизнь. Вот и вы, например, сразу вспомнили, как вы негодовали, когда мама повязывала вам на шею бант... Мы способны возвращаться в детство, в сущности говоря, это и есть наша единственная родина, наш дом... И когда мы входим туда, все стоит на своих местах, вещи, игрушки. И фотография лежит в письменном столе... Только взрослых больше нет. Я вам скажу так, — сказал он доверительно, тоном, который в самом деле поразительно напоминал интонации родственников в моем детстве, — я вам скажу так... Математическое время Ньютона, те-те-те, все это мы прекрасно знаем. Но, дружок мой, это ведь не более чем абстракция... Мы не живем в одном определенном времени, не плывем пассивно в его потоке, как лодочник по течению реки. Мы существуем, если вдуматься, и в настоящем, и в прошлом, и, может быть, даже в будущем. Нынешняя жизнь, вот это путешествие... и наша встреча... — это будущее, не правда ли, если смотреть на него оттуда? Я вам не наскучил своими рассуждениями?”

“О, нет”.

“Но... вы поняли, что я хочу сказать?”

“Стараюсь, — сказал я. — Мне кажется, многое зависит от языка. Немецкий язык выражает все эти вещи как-то убедительней. Однако из этого не следует, что они существуют на самом деле”.

“На самом деле... Бог ты мой, кто знает, что это такое — на самом деле! Что значит существовать? Может быть, мы все существуем в каком-то условном смысле, в чем-то великом уме, о котором нам ничего не дано знать. Впрочем, не решаюсь с вами спорить, тем более что... — Он развел руками. — Для дискуссии, сами понимаете, у нас не так много времени. Должны же мы наконец куда-то приехать!”

“Послушайте, — сказал я в сильном беспокойстве, — я очень-то разбираюсь во всех этих вещах. Но это не важно. Мы не должны расставаться. Раз уж так получилось... Разумеется, у меня тысяча вопросов, но, может быть, позже! Знаете что? Я сойду вместе с вами. Мы пересядем в другой поезд. Вам надо ехать назад”.

И я с вами, хотел я сказать. Это была внезапная ошеломительная идея. Какая разница, что он там нес! Для меня это был неожиданный выход.

“В крайнем случае объясните контролеру, что вы не смогли купить билет, не знаете русского языка, вам поверят. Покажете паспорт... Ведь у вас есть паспорт?”

“Конечно”.

“Иностранный, да? Иностранный паспорт! Этого достаточно. Уверю вас. А если кто-нибудь начнет придираться, скажите, что вы хотите связаться с посольством. Главное, уезжайте. Уезжайте поскорее и увезите его отсюда”.

И меня. А как же моя телогрейка, весь мой вид? Наголо остриженная голова? А, подумал я, терять все равно нечего.

“Пожалуйста, — сказал старый пассажир, — успокойтесь. Видите ли, в чем дело... Я, конечно, всего лишь гость и, может быть, долго не задержусь. Все мы гости в этом мире... в конце концов я приехал из-за него, приехал, чтобы повидать вас... или тебя, я все-таки твой дед, зачем нам это ‘выз’?..”

“Уезжай”, — прошептал я.

6. Другая жизнь

Старик усмехнулся. “В Германию я, конечно, не вернусь, мне там делать нечего. Я человек старого поколения, я никогда им не прощу того, что было...”

“Здесь не лучше!”

“Ты не даешь мне договорить. Поверь, получить визу было непросто. Так что до некоторой степени я знаком со здешними порядками. Впрочем, ты прав, виза — это для меня нечто вроде охранной грамоты. В крайнем случае вышлют, вот и все. Но что касается мальчика...”

“Как? — сказал я. Простая мысль пришла мне в голову. — Ты говоришь, дед. Но у меня не было никакого деда. К тому времени, когда я родился, мои дедушки, оба, уже умерли”.

“Что значит — умерли? Для кого умерли, а для кого нет”.

“Но я говорю, что я никакого дедушку-немца не помню”.

“Конечно. И не можешь помнить, потому что никто тебе обо мне не рассказывал. Иметь родственников за границей не полагалось. Твой отец был болен...”

“Это я знаю”.

“Твой отец был моложе твоей матери. И он был болен. Удалось добиться, чтобы он приехал ко мне. Его привезли уже совсем плохим, и он скончался в клинике, между прочим, очень хорошей клинике. Твоя матушка приехала с тобой — тебе было меньше, чем сейчас ему, — на похороны. Вот и все. Конечно, если бы ты остался, все было бы по-другому. Но она хотела вернуться, и я ее понимаю...”

Подумав, я спросил:

“Сколько же вам лет?”

“Тебе, — поправил он. — Это интересный вопрос. Сейчас я кое-что покажу. — Он снял бархатную шапочку. — Ты знаешь, что это такое?”

“Знаю”.

“А вот это, — он вывернул ее наизнанку, — видал?”

“Ты каббалист!” — вскричал я.

“Поэтому, — сказал он наставительно, разгладил шапочку, сдул с нее какие-то пылинки и насадил обеими руками на лысину, — нет никакого смысла спрашивать, сколько мне лет”.

“Смотри, смотри!” — закричал мальчик.

Что-то со свистом пролетело за вагонным окном. Дедушка вздохнул и погладил внука по голове:

“Ты говоришь: сядем в другой поезд. Очевидно, ты думаешь, что, если я его увезу с собой назад за границу, от этого что-нибудь изменится. Ты думаешь, если он уедет, его жизнь потечет по-другому и он вырастет другим человеком, свободным или уже не знаю каким. Милый мой, это невозможно”.

“Почему?”

“Потому что невозможно. Потому что не существует никаких черновиков: то, что написано, написано раз и навсегда. И никакая магия тут не поможет. Твоя жизнь уже состоялась. Пойми простую вещь. Жить два раза никому еще не удавалось. И то, что было, того уж не изменишь!”

“А как же вот он?”

“Он — это ты. Пойми это, Файбусович! Совершенно так же, как нельзя выбрать себе другое имя, так нельзя выбрать себе другую жизнь. У него только одна жизнь — твоя. У него нет выбора. Он обречен. Как поезд идет по рельсам и не может свернуть в сторону, так и он ничего не сможет изменить. Просто он об этом еще не знает”.

“Смотри!” — сказал ребенок, и мы оба взглянули в окно.

Я почувствовал, что время уходит, а мы ни о чем так и не договорились, и он сойдет на ближайшей станции — наденет свою шляпу, похожую на гриб, свою крылатку и выйдет, держа за руку внука, и больше я его не увижу. Он сказал, что мы живем в детстве, будучи взрослыми, или что детство навещает нас — что-то в этом роде, — но я не мог представить себе, что был когда-то этим мальчуганом, подобно тому как мальчик не подозревал о том, что он станет таким, как я. Они сойдут, и мне останется только гадать, что это было: сон, наваждение или правда.

Но разве все-таки невозможно, хотел я сказать, ведь мы все вместе, мы встретились, вот что главное, — разве невозможно вместе и уехать, бежать отсюда, раз уж случилось такое чудо? Какая мне разница, думал я, в каком времени мы живем, ньютоновском или не ньютоновском, я не философ и не в состоянии разобраться в этих хитросплетениях, я знаю только, что я в неволе и до самой смерти останусь в неволе, что за мной гонятся, так вот, нельзя ли?.. Кроме того, я думал — мысли, как трассирующие пули, неслись в голове, — я подумал, что если этот малыш в самом деле я, то почему же он обречен прожить мою жизнь, почему не наоборот, почему я не могу зажить другой жизнью? Я глядел на моего попутчика в безумной надежде, губы мои шевелились, я что-то бормотал, о, конечно, он не имел ни малейшего представления о том, что со мной будет, если я останусь. И в этот момент в наш вагон с двух сторон вошли контролеры.

7. Финал. Чудесное пробуждение

Вошли и стали проверять билеты. А у меня нет билета.

“Знаете, — сказал я, озираясь, — вы меня извините, мне придется рвать когти...”

“Когти — что это значит?”

“Мне надо исчезнуть... Вы тут посидите, я сейчас...”

Быстро выйти из вагона, на ходу придумать объяснение, если окликнут; прикинуться глухонемым, слабоумным или что у тебя колики; быстро, не мешкая — по железному трапу в другой вагон, оттуда в следующий, запереться в сортире, на худой конец выбраться наружу, на ступеньки, скорчиться, чтобы не увидели из окна вагонной двери, спрыгнуть! Скатиться с насыпи, замереть, пока не просвистит мимо и не исчезнет вдали поезд.

Поздно. Он приближается с щипчиками.

“Ага, — говорит старый пассажир, — судя по всему, это контролер, порядок есть порядок. Где наши Fahrkarten?”

Поздно!

Он ищет в кармашке жилета, во внутреннем кармане сюртука: где же они, Бог ты мой, куда я их засунул? Человек в железнодорожной форме и фуражке величественно ждет, пассажир протягивает билеты, свой и детский. Щелчок компостера. Два щелчка. Человек шествует дальше.

“Слушайте, — говорю я вполголоса на языке, который никто, кроме нас, не поймет, теперь уже совершенно уверенный, что вижу какой-то несообразный сон. — Почему же он не спросил билет у меня?”

“Какой билет?”

“Мой”.

“Но я же предъявил твой билет”.

“У меня нет билета, — сказал я. — У меня ничего нет. Ни билета, ни паспорта”.

“Не пори чепухи, вот твой билет”.

“Это не мой. Это его... Я с вашим внуком не имею ничего общего.

Я... Я беглый. Я вне закона. Вот они сейчас спохватятся и вернутся”.

Он улыбнулся. “Зачем им возвращаться? Проверили, все в порядке. Я же сказал, вот твоя карта, можешь убедиться...”

“Чья, чья карта?”

Старый каббалист покачал головой.

“Милый мой. Жить два раза невозможно. Одно из двух. Он для тебя уже не существует, а ты еще не существуешь для него. Он едет с билетом. А ты...” — И он пожал плечами.

И я понял (с великим облегчением), что меня нет.

Гиббоны и облака

1. Гиббоны и облака

Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной дороги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всём участке вплоть до Голутвина никто отродясь не видел контролёров. Тем не менее однажды вечером, в десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного государства.

Произошло это так: в ответ на вопрос контролёра пассажир, улыбаясь, помотал головой и развёл руками. Подошёл второй контролёр, женщина. Поезд нёсся мимо тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы вагона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролёр показывал пассажиру сложенные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного формата в дерматиновой обложке с гербом и короной. Контролёр развернул диковинный паспорт, как ребёнок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядывала через плечо. Контролёр попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.

Иностранный гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где был встречен местным милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица побежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и чесал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей стране. С некоторым остолбенением

присутствующие разглядывали фотографию владельца, который был представлен во весь рост, в лазоревом мундире с золотым шитьём и орденами, на фоне пальм.

Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, оттуда последовали неопределённые указания, видимо, там тоже не слышали о новом государстве, освободившемся от ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, было в газетах: советско-zedангские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы поставить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с органами. Пускай уж там, выше, сами разбираются, наше дело, сказал начальник станции, доложить.

Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, невзирая на поздний час, посольство. По указанию начальника старшина ввёл иностранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе был внесён скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаровательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил глоток и стал крутить телефонный диск.

Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провёл на кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник сидел в своём кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он расхаживает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задремезжал телефон, голос с иностранным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.

Зелёная луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, послышалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только одно ответственное лицо, но зато какое! Военный атташе собственной персоной, с бахромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напоминал швейцара к каком-нибудь шикарном отеле. Ко всеобщей радости оказалось, что атташе превосходно

владеет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.

Дрезина, как только высокий гость сошёл на платформу, сама собой тронулась и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зелёный сигнал на красный.

В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трёхзвёздный армянский коньяк, лимон, нарезанный ломтиками, явилась селёdochка, проплыла мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на жидких волосах уборщица Степанида или Аглаида, история не сохранила её точного имени, — с огромной скорородой, на которой журчала глазуня с салом. Под звон стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и их вождей: Генерального секретаря КПСС и Его Величества революционного короля Али-Баба Зеданга Мудрого, а также Его Высочества революционного наследного принца Али-Баба Мухамеда Зеданга, Ещё Более Мудрого. Как это, ещё более? А вот так: каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет Ещё Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» — вскричал военный аташе. Начальник рассыпался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошёл в кабинет. Пир продолжался втроем и оставил по себе самые лучшие воспоминания.

Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанского вокзала, причём аташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся коробке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин королевства Зеданг мурлыкал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину, словно бадью из колодца, будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомкнул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме коммунальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь на защёлку, задвинул задвижку и — уфф! — плюхнулся на диван.

Мундир с регалиями висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, что он не нов. На старом костяном роге —

возможно, это был рог единорога — раскачивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», — зевая, проговорил экс-атташе. — «Успеется; работа не волк». — «А ты, — сказал атташе, — когда-нибудь доиграешься». В ответ коллекционер махнул рукой. — «Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Думаешь, они не догадались?» — «Зачем им догадываться?» — возразил хозяин.

Он был прав: в самом деле, зачем? И ещё много лет спустя начальник станции рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.

В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пузырился желудёвый кофе. Над продавленным диванным ложем штабеля альбомов в массивных переплётах грозили обрушиться вместе с полкой. На почернелом от городской копоти подоконнике стоял аппарат для рассматривания водяных знаков. Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, выполненной в точном соответствии с изображениями на марках. Она обошлась ему в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филателист был нищ, как всякий обладатель сокровищ.

«Ну, я пошёл», — пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер за ним дверь.

Он рассматривал через увеличительное стекло добычу, ради которой было предпринято путешествие в Голутвин, к собрату, доживающему там свои дни. Три недостающих экземпляра. Теперь у филателиста были все двенадцать марок — полная серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Голубошерстные гиббоны, которым была посвящена серия, принадлежали к виду, не известному за пределами сказочных нагорий Зеданга.

Нелишне будет заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то мнимые грамоты, имитации редких монет, знаков военной доблести или знаков почтовой оплаты, есть занятие столь же легитимное, как и собирание подлинников. В некотором высоком смысле поддельный раритет равноправен подлинному. Существуют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с которыми оригинал выглядит беспомощным подражанием. Вышедшая из рук высокоодарённого мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама превращается в оригинал и, в свою очередь,

может быть подделана. Но своей вершины искусство изготовления фальсификатов достигает в подделывании *несуществующих подлинников*.

Большая, во всю стену карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье филателиста, убеждала в том, что эпоха великих географических открытий не закончилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в нагорьях Юго-Восточной Азии и на островах тёплых морей, страна, где не существует смены времён, где царит вечное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии, там были отпечатаны карты и прочее; особый успех выпал на долю почтовых знаков: за короткое время цена их удвоилась. Уже в начале века известный каталог Гизевиуса поместил их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и эта история со временем превратилась в легенду или, лучше сказать, стала малозначительным эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы многое рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске и коварстве его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию кухне.

Магия крошечного цветного квадрата завладела собирателем, словно он выглянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубоватой шерстью животных на разогретой солнцем каменистой тропе.

II. Россия в 2009 году

Уважаемые господа!

Надеюсь, вы поймёте меня. Этот доклад не может быть ничем иным, как только информационным сообщением, отчётом о поездке, по возможности объективным, без домыслов и прикрас. Выступая перед столь серьёзной аудиторией, я сознаю, что моя обязанность — изложить факты. И всё же мне трудно обойтись без личных интонаций. Я всегда считал себя кабинетным отшельником, *l'homme sedentaire*¹, — да и был им, — и вот оказалось, что мне пришлось пуститься в некую авантюру, совершить трудное и странное паломничество. Я не отниму у вас много времени.

¹ букв.: сидячим человеком (*фр.*).

Но прежде напомним вам одно место из книги «Масса и власть» иностранного писателя Элиаса Канетти: он говорит о национальных символах. Так он их называет. У немцев это лес, у французов революция, у англичан палуба корабля, у испанцев арена и поединок тореадора с быком — и так далее. Наше отечество, если не ошибаюсь, в этой книжке не упоминается, но и у нас есть наш исконный, неизменный национальный символ: это — дорога. Путь-дороженька, по которой можно ехать целыми днями, забыв обо всём на свете, ехать, ехать, и всё это будет Россия.

Но оставим мифологию; всякий, кому случалось путешествовать вглубь нашей страны, поймёт, что я имею в виду, говоря о долгих часах в пути, о чувстве какой-то роковой неизбежности, о невыразимой дорожной тоске. Еду, еду в чистом поле... Сменив коляску на автомобиль, мы мало что выиграли, если не проиграли. Господи, бывает ли зрелище безотраднее этих дорог... Хорошо ещё, что я догадался запастись армяком и сапогами. Едва только, не доезжая Великих Лук, мы свернули на грунтовую дорогу, как машина заскользила в колеях, запрыгала на ухабах. Полил дождь. Переживал ли кто-нибудь из вас дождь на разбитых дорогах Средней России? Приходилось ли вам трястись в кузове грузовика, прислонясь к заднику заляпанной грязью кабины, где водитель, рядом с другим попутчиком, отчаянно крутит баранку, вперяется в смотровое стекло, по которому, в потоках дождя, словно маятник, мотается дворник-стеклоочиститель? В конце концов мы застряли всерьёз, мотор ревел, задние колёса крутились, разбрызгивая жижу, и с каждым рывком всё глубже уходили в трясины. Пришлось отправиться на поиски трактора в соседних деревнях.

Так протащились ещё километров пятьдесят, может быть, больше, впереди были ещё сотни и сотни вёрст. Я устал, господа. Устал, устал, устал от всего этого! От этой жизни, от вечной неустроенности, от дождей и осенней слякоти, от этих людей, от вечных посулов и обещаний, которые никогда не выполняются, от будущего, которое становится прошлым, так и не сбывшись... Итак, на чём мы остановились? Дождь кончился. Под вечер выглянуло медно-оранжевое солнце. На пригорках тусклым золотом отливали стволы сосен. Надо было подумать о ночёвке.

Я помахал рукой шофёру и двинулся с рюкзаком за плечами вдоль единственной деревенской улицы, имея крайне приблизительное представление о том, в какой части света я нахожусь. Стучался в ворота, поднимался на крылечки, заглядывал в окошки,

залитые закатным огнём, — никого не было видно, никто не откликался. Дойдя до околицы, повернул назад. Старая женщина в лохмотьях шла навстречу, вела упирающуюся козу на верёвке, привязанной к рогам, — две живых души, может быть, единственные во всей округе. Она одиноко жила в доме на краю деревни.

Я с наслаждением растянулся на большой кровати (хозяйка улеглась на печке), завернулся в тряпье, и сон, подобный смерти, накрыл меня чёрным саваном; сколько-то времени спустя постояльца разбудил стук ходиков, скрип половиц; в темноте старуха бродила по избе; я спросил, который час, и услышал в ответ её бормотанье. «Почему вы не спите?» Она ответила, что никогда не спит. Что же она делает ночью? А ничего.

Я встал и вышел за нуждой; ночь была ясная и холодная. Снова натянул на себя ветхое одеяло и уже не мог понять, сплю я или не сплю, ночь казалась очень длинной, стучали ходики, время двигалось толчками; внезапно я услышал шаги — старая хозяйка опять принялась бродить. Но это была не хозяйка. Белое привидение остановилось посреди горницы, вот так новость, подумал я. Девочка или девушка, совершенно нагая, с чёрными провалами глаз, с тенью внизу живота. Хотел её поманить, протянуть к ней руки, но она сама приблизилась и присела на кровать у меня в ногах.

Утром я сидел за дощатым столом, пил козье молоко и беседовал с хозяйкой, которая на все вопросы отвечала односложно, словно разучилась говорить. Я пытался выяснить, как мне двигаться дальше. Тут раздались шаги в сенях, застонали дверные петли, в избу вступил, нагнув голову под притолокой, парень в сапогах и замасленной телогрейке. Самое замечательное в наших краях то, что при общем развале всё как-то устраивается, откуда-то всё берётся: и провиант, и нужные вам люди, и средства передвижения; ничего нет, и всё есть. Тракторист оказался весьма кстати, и вообще всё сложилось как нельзя лучше. Стояла прекрасная погода. Дошли до машинотракторной станции, там нашёлся попутный грузовик. Я уселся наверху среди мешков с льняным семенем. одному Богу известно, кто здесь возделывал лён.

Отмечу кстати, что, с кем бы ни приходилось встретиться по пути, никто не спрашивал меня о цели моей поездки: должно быть, люди считали, раз я сам помалкиваю, значит, нечего и выпытывать. Но что я мог бы ответить? Мне никто бы не поверил, если бы я сказал, что пустился в дальнюю дорогу с намереньем

пополнить свою коллекцию. Пожалуй, приняли бы за сумасшедшего; а уж если бы я намекнул, куда я держу путь... Впрочем, не стоит об этом. Ещё одно обстоятельство должно было бы удивить иностранца, — меня оно вовсе не удивляет. Чем дальше вы продвигаетесь вглубь нашего обширного государства, — словно опускаетесь в воронку, — тем всё вокруг становится глуше, всё меньше встречных, все реже и скудней человеческое жильё. Сердцевина страны безлюдна.

Пошла уже вторая неделя моего путешествия, накануне мне повезло: я остановился в большом, некогда богатом селе — избы из массивных почернелых брёвен, на высоких подклетьях, где прежде помещались амбары; на главной улице почта, клуб, сельсовет и Дом крестьянина, где за скромную плату удалось получить койку. Было уже довольно поздно, я ждал, когда придёт дежурная; последовало разглядыванье моего паспорта, заполнение анкеты; наконец, меня провели в тускло освещённый, сплошь уставленный койками зал, всё это громко храпело, чмокало, постанывало во сне, — что снилось людям? Я думаю, им снилось всё то же самое.

Расплатившись, я попытался навести справки; по моим предположениям, оставалось уже недалеко; и, хотя конкретно ничего узнать не удалось, — дежурная в Доме крестьянина была новым человеком в округе, другие сообщали разные, отчасти фантастические и противоречащие друг другу сведения, — я, по крайней мере, понял, в какую сторону мне надо направиться. Оставалось каких-нибудь десять-двенадцать километров. Я шагал с палкой и отощавшим рюкзаком по лесной дороге в самом лучшем настроении, пели птицы, сиреневое небо между верхушками сосен постепенно теплело, голубело, во мхах и травах на полянах сверкали цветные искры росы. Откуда-то издалека донёсся звук, похожий на зов охотничьего рога, какие тут могут быть охотники, подумал я, всё это принадлежало далёким романтическим временам. Пронёсся ветер. Никто не попался мне навстречу, сперва на дороге были видны следы колёс и копыт, кто-то куда-то ехал на телеге, потом верхом, не доехал и повернул назад. Осталась дорога — теперь это была тропа — и медленно спускалась в лощину. На дне лежал мёртвый лось, полурастерзанный, с пустыми глазами, с лопатообразными рогами, белыми от птичьего помёта, тучи пернатых взвились над ним. Вокруг стояли вековые тёмные ели, местами густой колючий подлесок мешал пройти.

Я объяснил, кто я такой. Но прежде надо всё-таки досказать в двух словах, как я добрался до замка. Да, господа, невероятно, но факт: я всё-таки побывал там, — я, тот, кто стоит сейчас перед вами. Если бы можно было, я бы там так и остался... Лес поредел, впереди посветлело, солнце стояло уже совсем высоко, я брёл вверх и наискось по склону, и вот впереди на открывшейся равнине завиднелось что-то, блестели стёкла, обозначились стены, на башне под слабым ветром веял и трепыхался флаг. Не скажу, чтобы я был разочарован, но всё-таки представлял себе здание выше и помпезней. Правда, внутри, как это часто бывает, оно оказалось гораздо обширней.

Теперь, когда я, наконец, добрался до места назначения, я чувствовал смертельную усталость, коснеющим языком пролепетал несколько слов — как уже сказано, объяснил, кто я и зачем прибыл. Дама за стойкой сняла телефонную трубку, поглядывала на меня, на мой одичавший вид; я не слышал, что она говорила, упал в совершенном изнеможении в кресло и тут же в вестибюле уснул, словно мореплаватель с затонувшего корабля, добравшись вплавь до берега.

Несколько времени спустя я был препровождён в помещение для приезжих, смог, наконец, побриться, принять душ, выспаться. В пустынном зале я сидел за завтраком, подошёл человек и скромно отрекомендовался: это был экскурсовод. Собственно говоря, прежде чем отправиться по залам (я был единственным участником экскурсии), мне хотелось прозондировать почву касательно некоторых экземпляров, которые я надеялся здесь приобрести. Гид заверил меня, что у нас ещё будет возможность об этом поговорить, ведь я никуда не тороплюсь, не так ли, — и предложил начать с осмотра музейных коллекций.

Из его объяснений было видно, что он хорошо знает своё дело; я едва удержался от желания спросить, не является ли он сам коллекционером. Думаю, что и у него вертелся на языке тот же вопрос. Во всяком случае, он довольно скоро понял, что имеет дело не с торговцем.

Мы остановились перед знаменитой двадцатипятифунтовой Северной Нигерией с портретом короля Эдуарда VII. Экскурсовод сообщил, что ныне известно восемь негашёных экземпляров (о некоторых владельцах я знал), здесь я увидел девятый. Лет пятнадцать тому назад один такой экземпляр был продан — если не ошибаюсь, на аукционе в Нью-Джерси — за 23 тысячи долла-

ров; ныне марка оценивается вдвое, а то и втрое дороже. Вообще здесь можно было увидеть сокровища, ради которых стоило проделать такой долгий и трудный путь. Упомяну, к примеру, полную серию траурных марок СССР 1924 года с зубцами, весьма редких, в отличие от марок с Лениным без зубцов. Упомяну неплохо сохранившиеся Маршалльские острова кануна Первой мировой войны; серию крупноформатных марок Баварского королевства с профилем принца-регента — отнюдь не дороую, но я её очень люблю.

Мы углубились в интереснейшую беседу о календарных и специальных штемпелях, клеях и сортах бумаги, способах гашения, водяных знаках и надпечатках. «А что вы скажете об этой серии», — говорил время от времени мой спутник. «А как вам нравится вот это?» — и он подвёл меня к невзрачной на вид марке с гербом Стеллаленда, мало кто помнит, где находилась эта колония, выпуск 1885 года, с надпечаткой «twee» ручным штампом. Никаких дефектов, отличные зубцы, одним словом, одна из лучших дошедших до наших дней. Я отнёсся к ней довольно прохладно. Весьма незаурядный экземпляр, но ведь не Бог весть что, — марка была выпущена большим тиражом, считать её редкой, извините... «А вы приглядитесь». Он опустил над витриной большую круглую линзу, прибавил подсветку. Я взглянул и ахнул...

Господа, я напому вам случай, обошедший всю филателистическую печать; о нём сообщали крупные газеты, не говоря уже о специальных изданиях. «L'Echo de la Timbrologie» поместило подробный отчёт о судебных заседаниях. Не буду называть имя подсудимого, возможно, он ещё жив. Это был высокоталантливый художник-копиист.

Вы согласитесь со мной, что коллекционирование фальсификатов есть занятие столь же традиционное, столь же достойное и заслуживающее такого же уважения, а в иных случаях и восхищения, как и собирание подлинников. В некотором высшем смысле поддельный раритет равноправен подлинному, — если не оказывается ещё выше. Ибо в данном случае имитация превзошла подлинник. Роли переменялись: настоящим, редчайшим и поистине драгоценным образцом оказалась подделка.

Как я уже сказал, марка известна во многих экземплярах, ценность её относительно невелика. Во много раз дороже, однако, подделка — довольно неумелая, почему она и была тотчас разоблачена, но выполненная в единственном экземпляре. И вот этот

экземпляр находился сейчас передо мной. Нет, не этот; в том-то и дело, что не этот. То, что показал мне экскурсовод, было искуснейшим подлогом — изумительной по степени сходства имитацией. Но не малоценного подлинника, нет, а подделкой поддельного экземпляра. Мастер продал её за огромную сумму.

Мне остаётся добавить, что и этот подлог был в конце концов разоблачён, художник привлечён к суду. Но что было делать? Закон преследует фальсификацию государственных знаков почтовой оплаты, но не фальсификатов. Судья вынес оправдательный приговор.

Перехожу к главному, — вы поймёте, почему я заговорил об идеальном мире имитаций. Гид, или вожатый, — уж и не знаю, как его назвать, — ввёл меня в отдельный зал почтовых марок, открыток с напечатанными марками, конвертов и прочего, украшенный геральдическими орлами, под сенью трёхцветных знамён: зал Объединённого Западно-Восточного Королевства Зеданг.

Те из вас, господа, кто специально коллекционирует Зеданг, информированы лучше меня. Но и я более или менее осведомлён об этой стране. Изумительная по красоте художественного и литографического исполнения серия «Гиббоны и облака», естественно, занимала здесь одно из почётных мест. Полностью всю серию — 12 марок — мне приходилось видеть только в книгах, точнее, в каталоге Гизевинуса, в V томе, в разделе фиктивных государств. Я остановился, ошеломлённый, зачарованный, как останавливаются перед Джокондой, как застывают перед Афродитой Анадиоменой. Экскурсовод скромно ждал. От гиббонов мы перешли к портретным сериям монархов. Моё внимание привлёк последний выпуск, с этой серией я ещё не был знаком, — после чего перешли в демонстрационный зал.

Я опустился в кресло, испытывая блаженную усталость. В мягком сумраке сами собой опустились и мои веки. Тотчас же я очнулся. В глубине большого, по-видимому, оснащённого новейшей техникой стереоскопического экрана, в рамке с зубцами, неприметно меняя цвета, появились, приблизились, осветились номиналы, официальное название страны, поясной, вполоборота портрет Его Величества. За этой серией последовала пейзажная, тоже недавнего выпуска и мне ещё неизвестная; должен признаться, она повергла меня в немалое недоумение. Дело в том, что Зеданг расположен, как вы знаете, в субтропиках, к северу от тропика Рака и южнее 37 параллели. Между тем ландшафт на экране

был типично... как вам сказать? Да, типично русским — какая-нибудь Тверская, Калужская или Орловская область. Но что значит типично? Это был таинственная, затягивающая красота. Вдали смутно виднелась деревня. Косо из левого нижнего угла в верхний справа почтовую марку — пожелтелые поля — пересекала дорога. Серо-жемчужное небо, кромка леса на горизонте. Тихая музыка в зале, где мы были только вдвоём, напоминала Римского-Корсакова, немножко Танеева. А может быть, давнишнюю, из времён детства, Первую симфонию Василия Сергеевича Калинникова.

«Послушайте, вы... — пробормотал я, — вы что, меня морочите?»

Это была снова, во весь экран, марка с портретом монарха. Я повернул голову, экскурсовод сидел с непроницаемым выражением. Ну-ка, повернитесь, сказал я.

«Почему вас это удивляет? — спросил король. — Да, конечно. Но не могу же я, — он кивнул на экран, — надевать всё это каждый день...»

«Кстати, — промолвил он после некоторого молчания, — известна ли вам этимология слова “Зеданг”? Филателисту следовало бы это знать... Загляните как-нибудь в словарь. Самый обычный русский этимологический словарь».

«Ваше Величество, — лепетал я, — мне... я... Мне так неловко...»

«Ничего, ничего. Я ведь не представился. Точнее, вы не были нам представлены. Мы хотели поближе познакомить вас с моей страной».

«Да, но ведь её не существует!»

«М-м, как вам сказать... Это ведь и ваша страна... в известном смысле. Но дело в том, что... Одним словом, я обязан вас предупредить».

Кажется, на моём лице появилось вопросительное выражение. Венценосец сказал:

«Аппаратура позволяет посетить Зеданг. Демонстрация далеко не окончена, но вы, собственно, уже вступили туда, экран больше не нужен. Однако путешествие в королевство должно быть ограничено весьма коротким сроком. Вам не захочется возвращаться. Вы не первый, кто навсегда остался в этой стране. Эта страна затягивает. Вы почувствуете себя на родине, вас подстерегает та же опасность».

Господа! я там побывал. Хоть и с трудом, мне удалось вернуться.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ОКНА. ЧЕЙ-ТО ЗАМЫСЕЛ

От автора,
мимоходом пять предисловий

Профессор, снимите
очки-велосипед.

Маяковский

1

Нижеследующее, род лоскутного одеяла, можно сравнить и с галереей зеркал в Комнате смеха, — смотришься в них и видишь неодинаковые отражения. И недоумеваешь; неужто это я?

Память скрепляет этот маскарад, но и память ненадёжна: жизненные передраги, мнимые достижения, прискорбные неудачи, везение, невезение взаимно дискредитируют себя... Возвращается, как призрак Банко, страна, где посчастливилось или угрозило родиться. Скажут, что книжке эта — плод самолюбования. Но может статься, что напротив, её породило сострадание сочинителя к самому себе, Как говорили в старину: занавес падает, простите автору его ошибки!

2

Для начала вернусь к весьма отдалённой поре, когда автор заведовал бывшей земской участковой больницей в Калининской, ныне Тверской области. Однажды я прочёл в «Литературной газете» (была такая) интервью с известным земляным писателем, одним из тех, кто привлёк сочувственное внимание столичной публики к колхозной деревне. Минувшим летом, говорил он, я отдыхал на моей родной Вологодчине, где мне всегда хорошо работается. Слова, произнесённые, надо думать, с умыслом и

упором на «о», должны были подчеркнуть близость писателя к «корням». У человека с психологией бывшего лагерника они могли вызвать только смех. Хорошо работается. Ничего себе раб-отёнка — не мешки таскать.

Должен был, однако, сознаться, что и сам я оскормился: вечерами, возвращаясь от больных, поскрипывал пёрышком. Никто об этом, разумеется, не знал. Стыдясь своего сочинительства, я никому эти литературные пробы не показывал, никуда их не посылал. Было очевидно, что среди настоящих писателей, тех, кто печатается в журналах, состоит в Союзе писателей и отдыхает на родных Вологодчинах, мне нет места.

Впрочем, об этом позже.

3

Не стану говорить о *памяти* языком нейрофизиолога, психолога или философа. Я только сочинитель; воспоминания, истинные или ложные, всегда занимали меня, всё было моей жи-вой. Если не ошибаюсь, Бергсон говорил о том, что если нам снят-ся люди, давно исчезнувшие с нашего горизонта, значит, мы ни-чего не забываем. Память хранит, минувшее и пережитое в под-валах, куда мы не заглядываем. Лишь сон способен выволить от-туда узников, осуждённых, казалось бы, на вечное заточение. В Первом манифесте сюрреализма (1924 г.) Андре Бретон рас-сказывает, как однажды ночью он услышал фразу, донёсшуюся из глубин, где рождаются сновидения. Чей-то голос проговорил: «Вот человек, надвое рассечённый окном». Пробудившись, я по-нял, продолжает Бретон, что речь идёт о метафоре, способной вдохновить художника. На этом грёза оборвалась, но не исключе-но, что она была продолжением другого, более подробного сно-видения.

Греческое «мнемэ», память, звучит почти как русское «мни-мый», здесь присутствует общий для индоевропейских языков корень; сходство многозначительное.

4

Если память берегает реальность, то она же и поощряет вымысел. Память удваивает то, что происходило в действи-тельности, оплодотворяя её фантазией. Давний случай, о кото-

ром я вспоминал не раз, побудил меня в своё время записать следующее: «...Нынче утром гости из высокого учреждения явились и забрали все рукописи и черновики, всё до последнего листочка, освободив меня раз навсегда от литературных сомнений. Я думал, что умру от горя, это было всё равно как если бы я три года, день за днём, выжимал каплю за каплей сок своего мозга, нацедил целую банку, а потом её взяли и выплеснули содержимое в отхожее место. Но затем рассудил, что визит этот во главе с плюгавым следователем, так называемые понятия, тотальный обыск и прочее были не что иное как перст судьбы, ткнувший в грудь подпольного сочинителя, дабы он понял, что если сам он не догадался вовремя спустить в канализацию своё изделие, то за него это запросто могут сделать другие. Так или иначе, я был освобождён от ответственности перед самим собой и волен сколько угодно внушать себе и другим, что мир лишился шедевра. Видите ли, с книгами происходит то же, что и с людьми: сгинув во цвете лет, они становятся интересней, чем были при жизни...»

Ещё два слова о снах. Особая проблема прозаика — точка зрения. Чьи глаза взирают на происходящее? Избрать ли нам первое лицо глагола или третье — или ещё какое-нибудь? Мой рассказчик (в пропавшем романе) не был безличным лицом, он сам был и автором, и героем. Книга представляла собой адаптированную автобиографию; повествователь вспоминал свою жизнь, мешая прошлое с настоящим; все недостатки субъективного изложения сгустились. Книга взывала о помощи, и автор решился ввести в неё дополнительную точку зрения: . я включил в роман сны.

Изящное рассуждение Паскаля о ремесленнике и короле (*Pensées* VI, 386) заканчивается словами: «Жизнь есть тот же сон, только чуть менее непостоянный».

Во сне можно пережить состояние утраты своего «я», оставаясь кем-то или чем-то мыслящим и видящим. Ты очутился в странном мире, который вовсе не кажется странным. Ты действуешь в согласии с его абсурдной логикой, замечаешь множество подробностей, но сознание своей личности отсутствует. Центр, заведующий этим сознанием, отключён. Кажется невозможным лишиться «самости», сохранив все её способности, — и вот, пожалуйста. Это то же самое, что увидеть мир после своей смерти: он тот же — и неузнаваемо изменился.

Сон не есть другая действительность, но другое толкование действительности. Сон — это действительность, вывернутая наизнанку, швами наружу, как бы для того, чтобы показать, из чего она шита, — из лоскутков души. Сны, которыми я уснастил свою прозу, представляли собой род вставных новелл и в сюжетно-композиционном отношении были абсолютно лишними. Их было несколько. Сны были жутковатыми, полными тайного значения и до ужаса похожими на действительность. Сны оценивали то, чем жил герой, с иной точки зрения, как будто принадлежащей сознанию повествователя и вместе с тем чему-то внешнему, — с точки зрения божественного идиота. Я предпочёл бы не называть его, по Юнгу, коллективным бессознательным. Вот, собственно, и всё. Прибавлю, что впоследствии арестованная книга была написана заново, опубликована на родине и за рубежом.

5

В России всё повторяется, и наши глухие восьмидесятые годы напоминали параллельное десятилетие XIX века. Это был тупик. Нас охватывало отчаяние. Не то чтобы успехи тайной полиции обескуражили тесный интеллигентский кружок — люди знали, на что они шли. Но стало ясно, что добиваться минимальных уступок, вообще вести сколько-нибудь разумный диалог с властью невозможно. Режим разлагался, но казалось, что гниение будет длиться вечно. Мы спрашивали себя, на чём всё это держится, и вместе с тем не могли отрешиться от уверенности, что по крайней мере на наш век его хватит. Государственная безопасность хоть и успела растерять половину зубов, но оставшихся было достаточно, чтобы грозно щёлкать ими. По-прежнему коллегия старцев в одинаковых меховых шапках стояла на площадке мавзолея, обрюзгший правитель взбирался, поддерживаемый кем-то безликим, на трибуну, шамкал юбилейную речь, внизу страховидная рать шагала и громыхала, поедая глазами ветхих властителей. Аромат старческой мочи витал над столицей.

Это были люди вполне ничтожные, но наделённые звериным инстинктом, который говорил им, что любые перемены опасны, как опасно всякое неосторожное движение для инвалида.

Что касается отношения интеллигенции к народу, тут кое-что изменилось. То была эпоха окончательного расставания. Самое слово «народ» вызывало горькую усмешку. Испарилась вера, унаследованная от поколений мыслящей и совестливой элиты; дос-

таточно было взглянуть на опустившегося гегемона, чтобы понять, что с этим жертвенным поклонением больше делать нечего. Да и с нашей страной нечего было делать — секта наша чувствовала себя бездомной...

Происхождение

Вдохновлённый одиночеством, чтением и воспоминаниями, я отваживаюсь писать о собственном происхождении, не смущаясь тем, что мой род не выдвинул знаменитых людей, вообще ничем не замечателен, хоть и несёт на себе из поколения в поколение отсветы судьбы своего народа, страны и эпохи. Считать ли эту отмеченность преимуществом, подарком богов или возмездием? За что? Во имя чего? Я начинаю с вопросов, на которые вряд ли кто в состоянии дать аргументированный ответ. При первых же попытках разобраться в прошлом разум сталкивается с абсурдом. История нашего века — царство абсурда. Суровый Бог Пятикнижия, Бог Спинозы, Монтеня, Пруста, Малера и Эйнштейна, научил свой народ самим фактом его похожего на бессмертие существования противостоять абсурду истории.

* * *

Мне неизвестны предки, к которым предположительно восходит мой род, — и не он один, — я могу судить лишь о том, откуда произошли пращуры мои, пожранные, как выразился русский поэт, жерлом вечности.

О них я ничего не знаю. Известно только, что на жарком Переднем Востоке они были земледельцами и пастухами, после долгих кочевий, потеряв свою землю, стада и богатства, рассеялись по египетскому, греческому и романскому Средиземноморью, пережили Персидское царство и Халифат, расселились в Священной Римской империи. Гонимые отовсюду, подались на славянский восток. В конце концов, после третьего дележа Польши, они стали добычей хищного двуглавого орла. Тысячелетия приучили их глядеться в мёртвые воды колодца, называемого историей, и видеть там своё отражение. Так они прибыли в новый Ханаан — Россию. Ум, не изверившийся в историческом разуме, нашёл бы такой финал провиденциальным.

Мой отец проложил тропу, по которой бредёт моя жизнь: он остался один у меня, когда в 1934 году умерла моя мать, как я остался с моим сыном после смерти Лоры в 2007 году.

Мой отец родился одновременно с веком, в январе 1900 года. в городке Новозыбков Брянской губернии, возникшем на исходе XVII столетия из слободы бежавших от преследований старообрядцев. Впоследствии, после второго раздела Польши, по указу императрицы (спровоцированному, как считают, письмом некоего витебского купца по имени Цалка Файбушович) с предложением ввести «черту постоянной оседлости евреев», Новозыбков с округой, как и находящийся в двухстах верстах от него белорусский Гомель, родина моей мамы, оказался внутри этой, назовём её роковой, черты.

Папа был младшим сыном еврейского ремесленника Грейнема Файбусовича, о котором мне известно, что он был книжник, знаток Закона, и умер в 17-м или 18-м году, сорока лет с небольшим, оставив без средств многодетную семью.

В телефонной книге «Весь Ленинград» на 1926 год я нашёл двух Файбусовичей под одним абонентным номером: это были мой отец Моисей Григорьевич и его старший брат Исаак Григорьевич, дядя Исаак, ненадолго переживший моего папу. В начале 20-х оба оставили родные места и поселились в Петрограде, вскоре переименованном в Ленинград; отец, окончивший новозыбковское коммерческое училище, намеревался продолжить образование во второй столице, поступил в Технологический институт, но оставил его за недостатком средств. Он стал служащим в каком-то из государственных учреждений, к этому времени уже был женат; в 1928 году появился на свет будущий составитель этой хроники. Не могу сказать, кто из родителей придумал моё неупотребительное имя Героним, гибрид древнееврейского Грейнем и греческого Иероним. Иронический экивок истории видится мне в том, что моим тёзкой, тёзкой иудея, оказался отец церкви Блаженный Иероним, высокоучёный аскет IV века, создатель латинской версии Ветхого и Нового Заветов и, по некоторым предположениям, глаголической азбуки.

Я никогда не видел моего голубоглазого, рыжебородого деда, ушедшего из жизни незадолго до моего рождения. Он был, как уже сказано, ремесленник, бедняк, считался знатоком Торы и Талмуда. От него не осталось портретов, не осталось ничего. От него остался я — и через дальние годы мои полувзрослые американские внуки.

Ничего не знаю и о предках с материнской стороны, но помню мою мать, Розалию Павловну (Пинхусовну), урождённую Рубинштейн; по-видимому, семья её родителей была достаточно состоятельной, чтобы дать возможность дочери окончить Петроградскую консерваторию по классу фортепиано.

Я думаю, что во мне сказалось двойное наследство — противостояние слова и музыки.

Привязанность к Слову, к листу бумаги, к начертанию букв (я придумывал и собственные) проявилась у меня чуть ли не с раннего детства, она передалась от деда и через него — от бесконечной череды согбенных книжников, толкователей священных текстов, столбцов прямоугольных букв с локонами, похожими на пейзажи. А мою любовь к музыке, жизнь в музыке я получил от матери.

Я стал волей судеб писателем, потому что Слово для меня — воплощение логики, ясности и дисциплины, и эти начала сталкиваются и сливаются с тем, что не поддаётся переводу на язык слов, — с музыкой. Проза есть царство разума, но его размывают волны музыки, как ночь размывает день. Не оттого ли возжеланная чистота и логическая упорядоченность прозы мешаются в моих писаниях с фантастикой, с искривлёнными зеркалами, с безответственным отношением к времени, с мертвящим, как взгляд василиска, неверием в благодать Творца и сомнениями в разумном мироустройстве.

К тому, что уже сказано здесь о моей матери, можно добавить немного. Она была моложе моего отца на один год. Скончалась в апреле 1934 г. от декомпенсированного митрального порока сердца в московской Басманной больнице. Двумя годами раньше, в 1932-м, родители вместе со мной переехали из Ленинграда в Москву и поселились в Большом Козловском переулке, поблизости от Красных Ворот и Чистых Прудов. Двойственность рано дала себя знать и тут: я вырос в двух столицах, меня воспитали мой отец и домработница, русская крестьянка Анастасия Крылова. Она меня любила, я помню её и буду помнить до конца моих дней. Её образ отразился в моём романе «Я Воскресение и Жизнь», хотя реальная Настя не была религиозной (папа тоже был равнодушен к религии), в церковь не водила меня и не рассказывала ребёнку (как в романе) эпизоды из Евангелия; зато помню, как она читала мне наизусть «Дядюшку Якова», который до сих пор остаётся моим любимым стихотворением Некрасова.

Детство от шести до двенадцати лет (когда отец женился на Фаине Моисеевне Новиковой, дальней родственнице, в юности знавшей мою мать и влюблённой в моего отца, вдове расстрелянного в годы ежовщины отца моего сводного брата Толи, которого мой отец усыновил после женитьбы), — детство, говорю я, насыщено памятью об отце до созвучия с иудейским архетипом всемогущего Отца в такой степени, что я помню, вижу воочию по сей день мельчайшие подробности моей жизни, которую он осенил. Я не раз возвращался к моему детству, раннему и «позднему», в своих сочинениях.

Он был красивым мужчиной, брюнетом с зелёными глазами. В детстве казался мне высоким, но на самом деле был среднего роста. У меня сохранилась фотография: я на руках у папы, мне, вероятно, один год, у папы на пальце обручальное кольцо.

В первых числах июля рокового 1941 года папа записался в московское народное ополчение. Трагическая судьба этого войска, брошенного командованием на произвол судьбы и почти полностью погибшего во вражеском окружении в заснеженных лесах между Вязьмой и Смоленском, — одно из бесчисленных преступлений советского режима и его вождя-каннибала.

Отец выжил, сумел выбраться и вернулся в Москву. Как все бывшие фронтовики, он не любил говорить о войне, но однажды рассказал, как, блуждая в неизвестности, он заночевал в избе, в какой-то деревне. В дом вошёл немецкий патруль: молоденький офицер и два солдата. Офицер спросил, показав пальцем на моего отца: это кто? Partisan, Jude? Отец, которому был 41 год, оборванный и, обросший седой бородой, выглядел крестьянином много старше своих лет. Хозяйка ответила: он из нашей деревни. Патруль ушёл.

Офицерик прибыл в Россию из страны, где я живу теперь много лет. Кто знает, быть может, его фотография в траурной рамке стоит до сего времени в углу на столике в каком-нибудь близлежащем немецком доме.

Отец мой умер в ноябре 1971 г. от злокачественного заболевания крови — эритремии, в возрасте семидесяти одного года. Нынче я намного старше его.

Сопоставление дат напоминает игру в кости, и оно же делает жизнь похожей на путаный, не в меру затянутый и кишачий неувязками роман — творение малоодарённого беллетриста. Впрочем, приходят в голову и другие сравнения: сон, оркестровая партитура...

Видно, такова человеческая натура, если сон, сновидческая активность мозга, нечто призрачное и обманчивое, узурпирует права рассудка, посягает на суверенность нашего «я», принимает решения. Однажды, лёжа в больничной палате после несчастного случая, в одну из тех тягостных ночей, когда теряешь способность отличать действительность от хаотических грёз, я набрёл на мысль подвести чёрту. И вот, возвращаюсь к ней. Мне 88 лет. Я многое видел. Кое-что написал. Моя жизнь лежит передо мной, в самом деле, как некая партитура, — но кто стоял за дирижёрским пультом?

Словно веку назло, наперекор несчастью родиться в несвободной стране, мне всё же отчасти, в некоторых отношениях, повезло. Потомок иудейских предков, я избежал газовой камеры. Не окошел в лагере. Был рождён и вырос в русском языке, почему и обрёл себя почётной, хоть и не слишком выигрышной участи русского писателя. Наконец, встретился с девушкой, которая стала женщиной моей жизни (и без которой влачу теперь остаток дней). Тридцать лет тому назад мы оставили родину, ставшую чужбиной. Изгнание спасло мне жизнь, избавило нашего сына от дискриминации и нищеты, дало мне возможность отдаться литературе. И вновь буравит сознание тот же вопрос: кто был дирижёром, исполнившим сочинение анонимного композитора перед пустым залом?

Отечество. Путь-дороженька

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка...

А. Блок

1

Некогда в книге Элиаса Канетти «Masse und Macht» («Масса и власть») меня удивило и даже обидело, почему, говоря о «массовых символах нации» (у немцев — строевой лес, у французов революция, у англичан палуба корабля, у испанцев бой быков, у евреев пустыня и шествие по пустыне, и так далее), почему, перебрав одну за другой древние нации, или культуры Евро-

пы, писатель забыл нашу страну. Но такой символ, национальный символ русских, существует, — и какой же может быть иначе? — дорога.

Бесконечная русская дорога до края небес, до синеватой кромки леса на горизонте, всегда одна и та же, дорога, которая служит мерой безмерности страны и вместе с тем бережёт её от распада, прошивая необозримые дали; дорога, по которой можно ехать, не слезая, часами и сутками, по которой хоть три года скачи, сказано классиком, и ни до какого государства не доскачешь, которая засасывает, как сама Россия, — вот оно, нужное слово: засасывает! — и обещает успокоение, и дарит забвение. Еду, еду в чистом поле... Страшно, страшно поневоле среди неведомых равнин — это она, русская дорога, есть в ней что-то роковое и чарующее, в её способности завлечь и пожрать всё; дорога — символ страны, где география поглотила историю, дорога гибельная и спасительная, истощившая завоевательный натиск монгольской конницы, утопившая в снегах Великую армию Наполеона, засавшая в осеннюю трясиину тевтонское полчище, путь-дороженька, по которой бредут калики перехожие вот уже тысячу лет, и так и не добрались нидокуда, по которой неслась во весь опор гоголевская птица-тройка — до тех пор, пока не сломались колёса и не свалился в грязь бородатый ямщик, сидевший чёрт знает на чём...

Дорога — это всегда расставание со старой жизнью и ожидание новой. Первая серьёзная вещь юноши Чехова, повесть «Степь», восхитившая старика Григоровича, сделавшая автора известным, была рассказом о путешествии; в финале «Невесты», последней прозы умирающего писателя, девушка Надя отправляется в путь.

«Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда».

2

Я был сельским врачом в Калининской, ныне Тверской области, заведовал бывшей земской участковой больницей чеховских времён близ села Есеновичи, в прошлом Спас-Есеновичи, сведения о котором восходят к XV веку, в трёх часах езды от Кувшинова, в двух часах от Вышнего Волочка. По тракту, проходившему мимо больницы, в годы коллективизации везли трупы «зелёных братьев» — отчаявшихся мужиков, бежавших от коллекти-

визации, с топорами и вилами в леса. Здесь же, говорят, проезжал в бричке из Волочка Лев Толстой, гостил у какого-то деревенского философа.

Однажды в ноябре, — зима уже давно началась, — я вёз в своей машине с красными крестами на стёклах четырёхлетнего ребёнка, больного бронхиальной астмой, к которому ездил в дальнюю деревню. Малыш сидел у меня на коленях. Рядом с нами водитель, немолодой мужик по имени Аркадий, ворочал рулём, всматривался в мотающийся дворник. Снег сыпал не переставая. С двух сторон от дороги теснились косматые ели. Узкий тракт успело завалить, не дай Бог встретиться с кем, — не разъедешься!

Доехали до горки, спустились — и началось. Заревел мотор и взревел снова. Вновь и вновь сотрясающаяся машина пытается взять подъём. И опять Аркадий, флегматичный, как все люди его профессии, вылезает из кабины с лопатой и уныло-терпеливо разгребаёт снег — вотще! Едва вскарабкавшись, экипаж съезжает вниз юзом. Идут часы, и всё так же перед нами она, вечная русская дорога.

Медикаменты — а более всего дорога — исцелили моего пациента. Мы катим дальше; малыш, укрытый, спит у меня в руках, на моих коленях.

3

Дорога — очарованность, чувство, родившееся в детстве, на даче в Подмосковье, где я вдыхал волнующий запах нагретых солнцем просмоленных шпал, вперялся в блестящий рельсовый путь и ждал — вот-вот покажется в далёкой дали и начнёт понемногу расти голубоватый призрак, всё ближе, ближе, и примутся поддрагивать рельсы, и свет лобовой фары побежит по стальному пути... — это идёт электричка, и возвещает о себе низким гудением двойного, крепящегося на головном вагоне рожка перед ветровым стеклом машиниста.

Дорога — сидение в тесном, не шевельнуться, не вытянуть ноги, одиночном боксе тюремного фургона, темнота и неизвестность, куда везут, последнее путешествие по московским улицам; стоп — оказывается, это вокзал, а там длинный, как срок, который тебе вlepили, ждёт эшелон, и конвоир, приковавший к себе заключённого щелчком наручников, подгалкивает тебя к глухому, без окон столыпину, уже битком набитому, — народишку-то ведь

в России пропасть, — и дальше, не мешкая через узкий полутёмный проход мимо решётчатых дверей, за которыми — головы, головы под скачущим лучом карманного прожектора — там лежат, сидят, прижавшись друг к другу, съёжились, скорчились, до восемнадцати рыл в купе, и, наконец, пронзительный свисток локомотива, вагон тронулся с места — и вот она, легендарная, вечная русская дорога, — многосуточный, тряский, стучащий и громыхающий путь через всю страну в лагерь.

Дорога — по костромским, вятским, пермяцким непролазным болотам в моей повести «Запах звёзд», деревянные лежни наподобие рельс, по которым, кивая огромной головой, вколачивая в ступняк плоские, растрескавшиеся копыта, тащит двойную вагонку престарелый, тощий и рослый, с раздутой в эмфиземе грудью, всё ещё могучий конь-ветеран, и по-прежнему из ночи в ночь сеется с лиловых небес осенний дождь, неотвратимо темнеет день. Визжат железные колёса, последний рывок, и трещат изношенные лежни, рушится дорога, и конь, и возчик со своим экипажем проваливаются в трясину, и лошадь бьётся в оглоблях, путается в вожжах, вздымая фонтаны грязи, и, выбравшись, наконец, шатаясь, я бреду во тьме за подмогой навстречу мглистым огням лагпункта.

«Ничего... — повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и всё в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное...»

Это снова Чехов, — и право же, лучше не скажешь.

Окна

Madame! ich habe Sie belogen. Ich bin nicht
der Graf von Ganges.

Ideen. Das Buch Le Grand

Сударыня, я обманул Вас.

Я не граф Гангский.

Гейне. «Идеи. Книга Легран»

Мадемуазель! Некий молодой человек записал в начале позапрошлого века: «Первый поцелуй — начало философии». Шопенгауэр не читал Новалиса. Но во втором томе трактата «Мир

как воля и представление», в главе 44, «Метафизика половой любви», он спрашивает, отчего философы обошли вниманием этот феномен, и возвещает о своём открытии: любовь мужчины и женщины, какой бы возвышенной она ни казалась, порождена заботой о продолжения рода. Нашёл топор под лавкой.

Мировая воля, основа всех вещей, зовёт к жизни всё новые существа; и будущий ребёнок пробуждается из небытия уже в ту минуту, когда влюблённые впервые встречаются глазами друг с другом. Стремление существа ещё не живущего, но уже пробудившегося из первоисточника всех существований — жажда вступить в бытие — породила страстное чувство друг к другу будущих родителей. Томящееся небытие стучится в мир.

Я охотно поставил бы это в эпиграф к моему рассказу, если бы не облако скандальной славы, до сих пор витающее над сорок четвёртой главой; впрочем, то, что невозможно доказать, нельзя и опровергнуть. Я предпочёл бы говорить о судьбе. Что такое судьба? Нам кажется, что мы это знаем или, по крайней мере, чувствуем, но, пытаясь объяснить, вязнем в словах. Итак, не стану вас больше утомлять туманными рассуждениями и учёными цитатами.

* * *

Проснувшись в крошечной тьме, я спускаю ноги с моего ложа, сию. Сколько-то времени требуется, чтобы вынырнуть из безвременья в земное время.

На часах половина шестого. Я скитаюсь по комнатам. Неохотно брезжит рассвет. Кофе всё ещё не готов, а тем временем время уходит. Жизнь коротка! Жизнь уносится мимо, а ваш поклонник всё ещё ополаскивает посуду после завтрака. Но вот, наконец, мы у цели: я зажигаю лампу и включаю аппарат для записывания снов. Вам захотелось, чтобы я рассказал «что-нибудь этакое». Что же именно?

Милая барышня, я всего лишь сочинитель и готов даже вас принять за литературный персонаж. Я понятия не имею, кто вы: русская, немка, еврейка? Какого вы роста? Хорошо ли сложены? Вы окутаны тайной, несмотря на то, что находитесь поблизости. Скажу больше: вы, быть может, в некотором смысле моё другое «я». Моё неизвестное, безымянное, прячущееся за портьерой, скользнувшее за окнами «я».

Однажды я присутствовал на сессии районного совета, полуфантастического учреждения, куда я был избран, так как состоял в почётной должности главного врача сельской участковой больницы; дело было при царе Горохе. Выступали депутаты, доклад о борьбе с преступностью сделал местный прокурор. В древнерусском городке, каких немало сохранилось в северо-западных областях нашего отечества, в магазинах по известным обстоятельствам не было ничего, кроме несъедобных консервов. Зато существовал мясокомбинат, поставлявший свою продукцию для начальства обеих столиц. Рабочие воровали колбасу; мы, патетически воскликнул прокурор, этот гнойник вскроем.

Далее с сообщением о столь же неосуществимой задаче выступила передовая колхозница. Её рассказ напоминал историю с конюшнями элидского царя Авгия, о котором Гомер упоминает в XI песне «Илиады». Уже издалека, приближаясь к владениям Авгия, Геракл почувствовал смрад, Двор тонул в дерьме. Герой придумал оригинальный способ санации.

Докладчица говорила о коровниках колхоза имени Ильича. Они тоже не чистились много лет. Скот, подобно кобылицам Авгия, стоял по брюхо в навозе. К несчастью, поблизости не было реки, да и народ не слышал о греческой мифологии. Подумали, почесали в затылках и нашли решение — махнуть рукой на загаженные хлева и воздвигнуть новые, в рассуждении, что на сколько-то лет их хватит; а там посмотрим. Но к чему я это рассказываю?

А вот к чёму: видите ли, я фаталист. Ничто в жизни, уверяю вас, не проходит даром. На второй год учёбы в институте студенческий отряд отправился на целину. Принцип грязных коровников (назовём его так) был положен в основу грандиозного государственного проекта. Не то чтобы в европейской части страны не хватало пахотной земли, но уж очень всё было запущено. Чем пытаться всё это разгрести, вновь и вновь латать вконец прохудившееся сельское хозяйство, не лучше ли на новых землях начать всё с начала. И вот эшелоны товарных вагонов со студентами, солдатами, школьниками старших классов,

колонны грузовиков и тракторов двинулись в дальний путь, в казахские степи. Город Акмолинск, мало похожий на то, что вы и я называем городом, был переименован в Целиноград. Государственный энтузиазм, вечно озабоченный поиском новых фантомов, обрёл свежую пищу.

Вначале дело как будто пошло. Груды зерна, просыпанного из кузовов машин, несущихся к элеваторам, выросли вдоль импровизированных дорог, на окаменевшей глине, и степные орлы, сидящие на пригорках, с изумлением взирали на эти гонки. Но спустя два-три года хлеб перестал родиться, пыльные бури развеяли тонкий плодоносящий слой. Впрочем, это было позже, а речь у нас о другом.

Мадемуазель, замечали ли вы, что многое в этой жизни совершается по законам литературы? Вопрос в том, кто этот автор, сочинивший нас. Лукавый, всегда себе на уме романист обманывает нас, уводит в сторону, сбивает с толку мнимыми случайностями; оттого нам кажется, будто всё происходило само собой. Таков секрет искусства: персонажи существуют как бы сами по себе, живут собственной жизнью — а между тем всё подстроено. Судьба (назовём так этого Автора) шагает в маске, прячется за углом, украдкой заглядывает в окно, неслышным шагом прокладывает свой путь.

Нечего и говорить о том, что ни о чём таком ваш слуга не догадывался, ведь тайнопись жизни может быть расшифрована лишь *post factum*. Судьба есть понятие ретроспективное. Судьба, не правда ли, только тогда и оказывается судьбой, когда всё завершилось. Но когда всё это началось?

* * *

Сойдя с поезда, я перешёл через пути по эстакаде, отыскал адресное бюро. Город был разрушен дважды: при отступлении наших войск и в уличных боях при возвращении; из окна трамвая приезжий видел пустыри на месте сгоревших кварталов, но центр был восстановлен. Круглая главная площадь, откуда тремя лучами расходятся магистральные улицы — таков был проект архитектора Карла Ивановича Росси, отменивший древнее прошлое княжеской столицы, соперницы алчной Москвы. Медицинский институт только что переехал из Ленинграда. Импозантное здание выходило покоем на одну из центральных улиц. Когда-то здесь помеща-

лась гимназия, а в недавние времена — известное учреждение, подобие трехъярусной вселенной Данте: наверху рай таинственных вершителей судеб, апартаменты начальств; средний этаж — чистилище, кабинеты следователей; в подвалах — камеры погибших душ и боксы-отстойники для вновь преставившихся.

Нет, какая всё-таки ирония судьбы! Открою вам страшную тайну: я не граф Гангский. Я бывший сиделец. Трёх месяцев не прошло, как меня выпустили. Теперь в одном из бывших кабинетов, в первом этаже, сидела барышня из приёмной комиссии, принимала документы.

Был прекрасный майский день, выйдя из института, я увидел ограду городского сада. В счастливом одиночестве — вокруг ни души — я сижу на скамье, с улицы доносятся звонки трамваев. В конце аллеи, ведущей от ворот, посреди клумбы, — выкрашенный серебряной краской, с поднятой рукой, алебастровый монумент отбывшего в иной мир, но всё ещё не развенчанного Вождя. Я читаю письмо с зашифрованным обратным адресом.

Письмо было из лагеря. Старый приятель, вдвое старше меня, украинский немец Брайткрайц, так он произносил свою фамилию, просил прислать ему книги. Я не уставал удивляться причудливой судьбе. Трёх месяцев не прошло!.. Какое это счастье, мадемуазель, сидеть на скамье в безлюдном парке, в незнакомом городе; никто не гонит на работу, никто не запретит мне двинуться на вокзал, ехать в Клин, где разрешено прописаться, и уже начали отрастать волосы на моей наголо остриженной голове, и вместо ватного бушлата, вислых штанов, вместо почернелых портянок и буро-жёлтых, на грубых подшивках, расширяющихся книзу валенок на мне обыкновенная, лёгкая и роскошная гражданская одежда, обыкновенные носки и ботинки.

* * *

Были нешуточные основания сомневаться, выйдет ли что-нибудь из этой авантюры. Во-первых, мой волчий билет — паспорт с особой отметкой. Во-вторых, забытые школьные предметы Четыре вступительных экзамена. Положим, написать сочинение не составляет труда. Иностранный язык — не проблема. Зато химия и физика... Я рьяно взялся за дело. Зубрил, посещал лекции для абитуриентов. Лекции происходили в разных местах, в том числе в московском Планетарии на Садовой-Кудринской.

Тут, между прочим, случился малозначительный эпизод, один из тех обходных манёвров, к которым прибегает Сочинитель. Расскажу о нём вкратце. Я стоял в очереди перед кассой, подошла пара и стала за мной. Кавалер был невзрачный юнец, лицо без речей. Девушка — прелестное белокурое существо с нежным подбородком, наивными губами, с обдуманно растрёпанной причёской. Она командовала своим одноклассником.

Я купил билеты для себя и для них. После лекции дошли втроём до угла площади Восстания. Барышня помахала рукой надоевшему поклоннику; он растерянно смотрел нам вслед.

Она была готова идти пешком, беспечно болтая, до Смоленской площади, и ещё дальше, и в конце концов мы оказались перед её домом, вошли в подъезд, и была сделана попытка обняться. Мне казалось, я чувствовал зов, исходящий от её тела. Ещё два-три встречи, и мы поднимемся по лестнице, войдём в квартиру: умышленно выбран час, когда родителей нет дома. Тишина, июльский полдень, пятна солнечного света на полу и широкий диван. Тут, однако, Автор (о котором уже говорилось) сказал себе: баста. Судьба сулила иное. Это значило — в переводе с метафизического языка на обыденный, — что мне «не до этого».

У меня не было времени продолжать знакомство, я не имел права посягать на её неопытность, меня томили другие заботы. Я вообще был человек без прав, лицо без определённых занятий, выходец из подземного царства теней. От таких надо дежаться подальше. Любой милиционер мог меня остановить и потребовать документы. И тотчас, увидев пометку в моей новенькой книжечке, пахнущей скверным клеем, опознать во мне паспортного инвалида. «Пройдёте». — «Куда? зачем?..» — «Там разберутся».

Мадемуазель, вы не знаете нашу страну и не помните ту эпоху.

* * *

Я был мертвецом среди живых, в моём пиджачке и свежееотглаженных брюках, оставшихся у родителей от далёких времён, я был загримирован под живого и двигался, и говорил, словно был живым человеком, и старался не вставлять в свою речь слов подземного языка, и моё имя значилось на доске объявлений в списке принятых, и я бродил по незнакомому городу в поисках жилища, и надеялся, что меня здесь пропишут.

Время было либеральное. Но известное дело: кто однажды отведал тюремной баланды — будет жрать её снова! Не могло же вечно длиться то, что в ту пору называлось оттепелью. Хоть бы удалось проучиться, думал я, два-три года. А там, попав снова в лагерь, я не окажусь, как в первый раз, голым среди волков. Смогу быть лепилой, то есть «лекарским помощником», и не загремлю на общие работы.

Между тем нужно было до начала занятий поехать в колхоз убирать картошку, и вот однажды, сидя на поле в компании мальчиков и девочек, я заметил на просёлке издали шагающую синюю фуражку. Можете мне поверить: я струсил. Испытал панический страх, какого никогда не переживал в заключении. Бежать, спастись — куда?.. Милиционер дошёл до межи и свернул в сторону.

* * *

Был один знакомый, он вернулся из санатория, где подружился с директором Дома учителя в городе, куда меня привела судьба. И несколько дней я ночевал в этом Доме, в физкультурном зале. В огромных пустых окнах вспыхивала и гасла кровавокрасная уличная реклама. Утром я выходил из подъезда, сворачивал на главную улицу и шёл на лекции в институт. Но было совестно злоупотреблять добротой директора, и через несколько дней я перебрался в гостиницу, где не обратили внимания на отметку в паспорте, а может быть, не знали, что она означает. Я воспользовался этим эпизодом в одном из моих романов, который вы, к счастью, не читали.

Время от времени мне напоминали, что нужно сдать паспорт на прописку. Я возвращался в гостиницу поздними вечерами, надеясь незаметно проскользнуть мимо регистратуры. Голос дежурной остановил меня. «Вам повестка». Вызов в милицию. Сердце моё оборвалось, стало ясно: попытка начать жизнь заново, экзамены, которые я сдал на все пятерки, счастливое зачисление в студенты — всё пошло прахом. Приказ покинуть город в течение двадцати четырёх часов. Я поплёлся в отделение.

Знаете ли вы это чувство человека, который останавливается перед мрачной контролёршей в мундире с лычками погон, с необъятным бюстом и животом, перетянутыми ремнём с портупеей, протягивает повестку, кажет свой ненадёжный паспорт, бредёт,

как потерянный, по тусклому коридору мимо дверей с табличками, усаживается перед начальственным кабинетом и ждёт, ждёт. Мимо меня маршировали милицейские чины, поскрипывали сапоги. Кого-то вели, прочно держа за локоть. Но судьба была себе на уме. Первый вопрос был, знаю ли я такого-то. Оказалось, меня вызвали в качестве свидетеля. Сосед по номеру в гостинице, уехавший накануне, увёл казённую простыню.

* * *

Вы прошли за окном, отчего бы вам не заглянуть в мою берлогу? Я вас романтизирую, для меня вы — мечтательная барышня с тонкой талией, с наивно-испытующим взором, как у Амалии, кузины Гейне, — а на поверку, того и гляди, окажется, что вы сама трезвость. Внешность девушки обманчива или, лучше сказать, разоблачает её, нужно лишь приглядеться. И вообще мы живём в другом веке. Ничто так не меняет психологию и тактику молодой женщины, как её наряд; а мы живём в век нарочитого безобразия женской одежды.

Я морочу вам голову, разглагольствуя о Сочинителе, о Замысле, о том, что тропинки в чащобах жизни извилисты, но стрелка компаса всегда указывает в одну сторону. Есть два вида причин, учил Стагирит, *causae efficientes*, приводящие в действие механизм бытия, и *causae finales* — те, что ведут к цели. Существует задание.

Но, возразят мне, угадать судьбу, уловить её неслышную поступь — не значит ли расколдовать жизнь, преступить некий закон, хуже того: спугнуть судьбу, разрушить её нежную тайну? Мадемуазель, если я заранее уведомляю вас о Сочинителе, если посвящаю вас *ante factum* в эту тайну, то потому, что читаю повесть моей жизни дважды, от начала к концу и с конца к началу. Должен ли я развить эту мысль — любимую мою мысль о двух векторах времени?..

* * *

Я предстал перед высоким собранием, я возвращаюсь назад, это было собеседование — словечко тех лет — перед началом семестра, с новоиспечёнными студентами. За столом сидел декан факультета, перед ним стопка личных дел, вокруг, в креслах и на

диване — члены педагогического совета, если я правильно называю этот синклит. А я — надо ли повторять? — я был тот, кто ещё недавно таскал лагерный бушлат и ушанку рыбьего меха, топал на рассвете, с пропуском бесконвойного, из зоны на станцию Пбёж, самую северную остановку отсутствующей на картах железной дороги, тот, кто расчищал от снега рельсовые пути, заправлял керосином фонари стрелок, колол дрова и топил печи в здании полустанка, — комендант станции, так называлась эта должность; я оброс лагерной шерстью, и мне было 27 лет.

Меня уважительно спросили (взрослый человек, не школьник), кем я работал до института, ожидая услышать, что я фельдшер, теперь хочу стать врачом, что-нибудь в этом роде.

Вместо этого я сказал: «Я был в заключении».

Воцарилось недоброе молчание. И я догадался — трудно поверить! — что моих бумаг никто не читал. Барышня из приёмной комиссии наскоро перелистала документы — школьный аттестат, автобиография, справка о состоянии здоровья, справка с места жительства, что там ещё, всё на месте, — и сложила в папку. Никто не заглянул в злосчастную биографию, где, опасаясь наказания за сокрытие факта, я написал всё как есть. И не оттого ли, что никто это не читал, мне не чинили препятствий на вступительных экзаменах?

Кто-то, это был завкафедрой неорганической химии, заметил, что-де надо бы проверить документы.

Документы! Магическое слово, зловеющий пароль.

На что декан, святая душа, возразил: «Но ведь у него есть паспорт».

Стало быть, уже проверили.

* * *

Проснувшись в шестом часу, я сажусь, спустив ноги с кровати, и думаю — о чём?.. Я влачусь по квартире. Холодный душ, кофе. Я впадаю в панику. Время уходит! Искусство вещь долгая, а жизнь коротка. Но, кажется, я уже говорил, что ничего не собираюсь придумывать. Загорается экран, похожий на блёклые небеса, на пустынную даль, на водную гладь. Плывём. Куда ж нам плыть?

Мадемуазель! Я приближаюсь к финалу, ради которого всё и затеяно. Приняв мудрое решение бросить загаженные коровники

и построить новые, труженики колхоза имени Ильича продемонстрировали то, что учёные экономисты именуют экстенсивным способом ведения хозяйства. Постановив распахать целину вместо бесплодного ковырянья на старых землях, правительство прибегло к тому же методу.

Закончилась двухмесячная экспедиция в азиатские степи, наступила осень, и уже не в товарных вагонах, а в пассажирском поезде, оставив позади полстраны, brave целинники воротились восвояси. В городском театре, на той же главной улице, проложенной по чертежам Росси, где располагался медицинский институт, был устроен торжественный вечер. Я опаздывал. Случилась авария на линии, пустые трамваи стояли вдоль всей улицы. Пока я добирался с окраины, где находилось моё жильё, доклад был уже закончен, отхлопаны здравицы, вручены почётные грамоты. Начался концерт. Партер был заполнен до отказа. Я поднялся на балкон, туда тоже набился народ. Я углядел свободное местечко. Рядом сидела девушка, и первое, что я увидел, были её сияющие глаза.

* * *

Раз в году, в Судный день, решается участь каждого, утверждается, кому отойти и кому явиться на свет в предстоящем году, кому быть богатым, кому бедным, кого будут помнить, а кто будет забыт. Еврейское предание должно быть исправлено. Кто с кем встретится и свяжет с ним свою жизнь — об этом Тот, кто придумал фабулу нашей жизни, успел позаботиться много раньше, решение вынесено давно. Но путь к намеченной цели извилист.

С самого начала, вы могли это заметить, Сочинитель прикидывался реалистом. Данный литературный метод предписывает не вмешиваться в происходящее. Изображать жизнь так, словно она предоставлена самой себе, словно люди действуют по собственному разумению или неразумию и всё в мире происходит так как оно происходит. Мадемуазель, — это художественная иллюзия. Уверяю вас, всё было подстроено.

И то, что кто-то надоумил меня попытаться стать снова студентом. И то, что институт переехал из Ленинграда в другой город, именно тот, где жила девушка, сидевшая на балконе. И то, что я выдержал приёмные экзамены. И то, что на собеседовании

декан за меня заступился. Мы должны быть благодарны правительству страны за то, что ему втемяшилось в голову распахать степь, — если бы не гротескная компания освоения целины, мы бы не встретились.

Судьба отключила ток на трамвайной линии, чтобы я опоздал к началу концерта и поднялся на балкон. Всё, всё было искусно подстроено, цепь мнимых случайностей обрела своё оправдание и смысл. Всё — ради того, чтобы двое встретились и принадлежали друг другу всю жизнь.

* * *

Она повернула ко мне насмешливый взгляд. Знала ли она о том, что в этот миг происходит самое важное событие в нашей жизни. Мы обменялись фразами, которые ровно ничего не означали. Романист не любит пафос. Это были пустяки. Это было лёгкое, естественное, как дыхание, кокетство и та рвущаяся наружу радость жизни, которой я был начисто лишён. Ей исполнилось восемнадцать лет, она не подозревала, с кем имеет дело. Внизу на сцене прибывший из Москвы певец исполнял арию Ленского.

И вот я сижу, спустив ноги с моего ложа, между сном и бодрствованием, и мне представляется туманное жёлтое солнце, застывшее над бескрайней равниной, там и сям сидят с закрытыми глазами, опустив голову, незачатые дети, и приходит момент, когда два человека в первый раз видят друг друга, и дитя, чьё имя — любовь — поднимает голову, пробуждаясь от предвечного сна.

Повесть, написанная на больничной койке

Жизнь, как загадка, темна,
Жизнь, как могила, безмолвна.

А.Блок (1898)

От сочинителя

Я отдаю себе отчёт в том, что попытки объяснить суть и смысл произведения чаще всего ни к чему не приводят. «Забывают одно (говорит всё тот же Борхес): мало что в искусстве значит

меньше, чем намерениях автора». И, однако, необходимость разобраться в своих намерениях заставляет автора искать оправдание — не столько перед воображаемым читателем, сколько перед самим собой. Оставим открытым вопрос, насколько всё это выполнимо.

Мы можем жить не только в трёх временах школьной грамматики, но и в некотором совокупном времени. В таком случае нам придётся признать, что для каждого из грамматических времён — существует своё настоящее, своё прошлое и своё будущее. так что мы можем вспоминать и мимолётное настоящее, и ушедшее прошлое, и несбывшееся будущее.

Принимаясь за свой рассказ повествователь, тот, кем он когда-то был, кем когда-нибудь будет, убеждается в том, что его воспоминания — не совсем то, о чём он собирался рассказывать. Скорее это судороги сбитой с толку памяти, которая вторгается в «сюжет», теряет нить, перепрыгивает, словно мятущийся луч, с места на место, короче, пренебрегает всякой последовательностью, так что от нормального повествования мало что остаётся, прошлое, каким его рисует себе рассказчик, всё меньше заслуживает доверия. Минувшее уносит с собой и свое будущее. Но с той же безответственностью, с какой своенравная память распоряжается прошлым, она расправляется с будущим. Так рассказчик-баснослов вспоминает не прошлое, которого больше нет, а будущее, которого никогда не будет.

Очевидно, что сказанное влечёт за собой решительный сдвиг в художественном мышлении. Приходится отказаться от того, что представлялось главной задачей литературы, — обуздания хаотической действительности. Художник, чьё дело — вносить порядок и гармонию в сумятицу и какофонию мира, вынужден усваивать новое мышление, которое следует назвать фасеточным, или калейдоскопическим. Как прежде, он не смеет отступить в страхе перед жизнью. Но вера в лейбницианскую предустановленную гармонию вещей поколеблена. Вместо идеально стройного здания художник видит перед собой обломки, которые нужно каким-то образом склеить. В этом, по-видимому, состоит новая задача и обновлённый смысл его работы: не потерять равновесия, взглянуть, как смотрят в разбитое зеркало, без страха и отворачивания в лицо действительности. Пусть эти соображения послужат извинением за все, пусть немногие, небылицы, которыми сочинитель нашпиговал своё изделие.

Глава I

Обыденная жизнь, суррогат вечности, повторяясь с утра до вечера изо дня в день, таит в себе залог бессмертия: в который раз, просыпаясь, я чувствую холод гранитной подушки и вспоминаю о том, что я всё ещё жив. Поднимаюсь с затёкших колен, запахиваю своё старое, верное пальто, подбираю и встряхиваю подстилку. Густой туман окутал каменные изваяния и кресты. Я озяб, но утро обещает хорошую погоду.

Внезапно солнце брызнуло из-за деревьев старого кладбища, Оля смеётся на заблестевшем медальоне. Я понимаю, что означает её взор. Стыдись, хочет она сказать, ты всё ещё существуешь. Ты не подождал меня, взгляни ещё раз на даты моей короткой жизни. Но я успею тебя догнать. Всю ночь она не смыкала глаз.

«Она права, — сказал доцент Журавский, — я тоже почему-то чувствую себя виноватым».

Ты-то тут причём, хотелось мне возразить. Я обернулся. Доцент сидел, как всегда, в проходе между отсеками, на скамейке для посетителей.

«Опаздываете, доктор». Это его манера, особый педагогический шик — на четвёртом курсе называть нас докторами.

Я снова запахиваюсь. Мне холодно.

«Приведите себя в порядок. В Гиппократовом кодексе говорится: врач должен быть аккуратно одет, и надо, чтобы от него приятно пахло. Подтяните галстук. Впрочем, что вы там услышали?»

Я вновь приникаю ухом к памятнику: тоны сердца глухие, аритмичные, слабый пресистолический шум. Живое сердце Оли, пусть неровными толчками, бьется в граните.

«Ваш диагноз, доктор?»

Я отрапортовал: «Митральный стеноз. Сужение левого предсердно-желудочкового отверстия».

«Отлично. Позвольте, однако, возразить. Великий Лаэннек, изобретатель стетоскопа, с вами бы не согласился. Камень не обладает такой звукопроводимостью, как, например, дерево. Я вам уже рассказывал. Однажды Лаэннек прогуливался по двору Лувра, там шло строительство. Он увидел двух мальчишек, один стучал по бревну, а другой слушал, прижавшись ухом к торцу. На другой день доктора пригласили к молодой

пациентке, Он не решился выслушивать ухом её грудь, взял со стола тетрадь и свернул трубкой. А потом попросил сделать для него деревянную трубку».

Но уже пора, доцент Журавский поглядывает на часы. Он встал и вышел на главную аллею. Туман окончательно разошёлся. Мы шагаем к воротам. До свидания! Сердце Оли билось в граните всю ночь. Её глаза всё ещё открыты и провожают нас.

Десять часов, в подвале областной больницы, находится раздевалка для студентов, мы облачаемся в белую униформу, выходим наверх. Солнце блещет в широких окнах терапевтического отделения, десять халатов плетутся за шествующим впереди наставником, десять крахмальных шапочек приоткрывают девичьи чёлки; академические группы в провинциальном мединституте невелики. Доцент Журавский остановился в конце коридора, постукивает костяшками пальцев; дверь отворяется Ты здесь, как в камере, в одиночной палате-изоляторе, полулежишь на высоких подушках, твои лиловые губы ловят воздух, грудь, едва проступающая, поднимает больничную рубашку в такт учащённому дыханию. Глаза тревожно блестят. Малиновый румянец на щеках красит тебя, Оля. Ты хороша, как никогда. Этого достаточно для диагноза. Преподаватель присаживается боком на твою кровать, поигрывает изобретением Лаэннека.

«Лицо Корвизара, — со вкусом произнёс, глядя на большую сверху вниз, доцент Журавский, который любил историю медицины. — Описано лейб-врачом Наполеона Корвизаром. Обратите внимание на цианоз губ, щёк, кончика носа. Болезнь надевает на лицо пациента маску. Нужно уметь её распознать...».

«Э, нет, — он покачивает головой. Девицы, одна за другой, вооружились фонендоскопами, повесили на шею никелированные рога, — нет, друзья мои, вот этот простой прибор надёжней, дерево обладает замечательной звукопроводимостью, не так громко, но зато звук чистый, и шумы сердца отчётливей. Лучше, чем металл и... и, например, чем камень. Коллега меня поддержит...».

Доцент указывает на меня. Я киваю.

«Кардиолог должен тренировать свой слух. Слышите? Бой перепела, трёхчленный ритм. Ту-ук, тук-тук. Патогномоничный симптом порока митрального клапана... Кто-нибудь из вас слышал, как стучит, словно молоточком, перепёлка?...».

И он уверенно приподнимает твою рубашку, повыше, там бледные полудетские холмики, там ямка между ключицами, — приставляет свою дудочку, устремляет в пространство задумчивый взгляд. Больная, испуганная, безмолвная, вздрогнув под стетоскопом, опускает ресницы.

«Па-азволь!» — раздалось в дверях. Девушки расступились. Доцент Журавский поморщился, вставая. Два санитары вкатили тележку, прикрытую простынёй. Кислород для Оли?

«Ошибаетесь, доктор...» В самом деле, кто же так возит громоздкие металлические баллоны с живительным газом. Больная лежит, по-прежнему тяжело дыша, на высоких подушках. Сейчас её глаза открыты. Странная, как у некоторых кукол, способность то отпускать, то поднимать фарфоровые глаза. Доцент Журавский откинул простыню — там стоит гранитный памятник. Там её медальон с широко открытыми удивлёнными глазами. Зачем он здесь? Я знаю, ты ждёшь и не находишь меня.

«Я здесь», — прошептал я. Оглянувшись украдкой, — никто больше не торчит за дверью, — я опускаюсь на колени, чтобы слушать. Камень молчит.

«Не беспокойтесь, доктор... Увидит и обрадуется».

Не удержавшись, разозлённый, я спрашиваю, кого, собственно, он имеет в виду. Где увидит, кого? Кто это?

«Ты, — был ответ. — Кто же ещё, хе-хе...». И этот его хитренький, злорадный какой-то смешок. Рука протянулась с платком из-за моей спины, доцент протирает фарфоровый медальон и надпись. Присматриваюсь, всё на месте, обе даты, и она в овале, с сияющими глазами, смеясь и радуясь, но вместо твоей фотографии, Оля, я вижу свою.

Глава II

Моя фотография, думал я, торопясь вниз по ступенькам. А где всё остальное? Там стоит только одно имя: Ольга Кобзева; а где же другое, моё? Где мои даты? Завтра приду и проверю. Нужно быть начеку, нельзя давать волю мыслям нестись вперёд, обгоняя события... Этот камень, и холод гранитной подушки у меня под ухом, и твой укоряющий взгляд... И неутраченное, бессмертное сознание: я здесь, а тебя нет! В конце концов, говорю я, всё зависит от того, куда повлекут нас наши мысли. От грамматики. Какое глагольное время мы употребим Безумие моё, а лучше

сказать, моё самообладание в том, Оля, что я не в состоянии зачеркнуть будущее. Я знал, что нас поджидало, висело над нами, как грозовая туча. И вот чем оно разразилось... Забыть, забыть. Будь я осторожней с моим знанием, ничего бы не случилось. Санитары увезли тележку с её грузом, занятия окончены, мы покинули терапию. Кучкой, друг за другом мы спешим вниз, в подвал с раздевалкой, — а ты там лежишь в твоей маленькой палате, и твои синие губы ловят воздух, и рубашка кольшется под твоим дыханием, ты задыхаешься, оттого что прыгала по широкой больничной лестнице, стараясь не отстать, схватила за меня.

Щурясь от яркого света, мы вышли из подвала наверх, а там больничный двор и ворота. Простудился, говорю я, ты в одной рубашке. Ты переступаешь голыми ногами. О, какой радостный, сияющий день, последние недели октября, как прекрасна жизнь в этом городе и звонки трамваев, и шорох автомобилей, и это щедрое бабье дето. Туман на кладбище давно рассеялся, и наш доцент, должно быть, всё ещё сидит на скамейке. Сейчас, Оля, мы пойдём.

Не тут-то было. «Ни в коем случае!» — Проклятье, голос доцента Журавского снова у меня за спиной. — Ей нельзя вставать, постельный режим, как это вы, доктор, допустили, а ещё будущий врач. Извольте следить за вашими мыслями, мало ли что придёт в голову, не пускайте их на самотёк. Не играйте с действительностью...»

Хотел бы я знать, что это значит. Ход наших мыслей опережает шахматные ходы вещей, ситуация на доске меняется — я выигрываю, не это ли он хочет сказать? Небось, завидует мне... Оля передёрнула плечами, мельком взглянула на него, презрительно отмахнулась, чему я несказанно рад. Ревность обжигает меня при виде рослого, щеголеватого доцента, при одном звуке его голоса, а сам я робок и неказист. Едва успев сбегать вниз за пальто, убеждаюсь, что она здесь. Но никакого пальто, кажется, больше не нужно. Какой это холод по сравнению с тем, который пронизывает её в земле. Ветерок слегка вздувает подол твоей рубашки. В это мгновение я чувствую себя на твоём месте здесь, здесь, на улице, свежесть осени обнимает нас, поднимается к тебе между коленками, до нежного паха, холодок внизу живота, то же ощущаю и я — мы одно, не зря наши лица рядом на стьлом граните. Я вскакиваю с колен, подбираю и встряхиваю подстилку, поспешно запахиваюсь.

«Пошли?»

Перейти улицу, тут и рельсы, и чахлый сквер перед зданием института.

Мы шагаем по тротуару вдоль институтской ограды, твои ботинки постукивают рядом, ты стараешься не отстать. Гремит, нас обгоняя, трамвай. Я спрятал руку в карман моего пальто, теперь оно пригодилось, и там, в безопасной темноте, притаилась в моей ладони твоя рука, наши пальцы сплетаются. Там, как в былые дни, я ощущаю эманацию твоей юной прелести. Узкая, исхудавшая рука поднимается, прощаясь с моей рукою, над твоим одеялом, над гранитом, я ощупываю все косточки, но рука падает и снова скрылась в моём кармане. Довольно, лежи спокойно под нашим камнем, зачем заклинять прошлое, будить храпящее во сне будущее? Вслед за трамвайной линией мы сворачиваем на Советскую, — все главные улицы в областных городах называются Советскими, — и дальше, вновь твоя рука в моём кармане тайно обнимает мою руку, пальцы находят друг друга, мы шагаем в ногу. Я как будто иду теперь мимо выставки музейных экспонатов: город — это музей моей умершей жизни

Гром и звон нагоняют нас, прицеп мотается за головным вагоном, это всё тот же трамвай успел доехать до вокзала и возвращается. Так, пройдя всю Советскую, мы окажемся на её продолжении, проспекте Чайковского, перед домом, который построили после войны пленные немцы.

Глава III

Я ищу глазами рядом с подъездом крытый толем навес, ещё один экспонат. Под навесом, в фартуке и с колодкой между ног, зажимая губами горстку гвоздей, сидит, постукивает раздвоенным, изогнутым, как клюв, молотком кудлатый, в чёрной шёлковой ермолке на седых кудрях холодный сапожник, — всё ещё сидит, пока на него не успели донести жильцы дома. Объясняю Оле, ведь ты, говорю, ничего этого не застала. Жильцы пожаловались на него за то, что он занимается частным промыслом вместо того, чтобы работать. Работать — это значит числиться кем-нибудь где-нибудь, и кто не числится, тот не работает, а кто не работает, тот не ест. Люди не догадываются, кто он такой. Всё в том же вечном своём фартуке и кирзовых сапогах, сжимая колодку между коленями, с гвоздями во рту, он сидел на крыльце своего дома в городе на отрогах Иудейских гор под палящим

солнцем — как сидит сейчас возле дома, который построили немцы. Тут слышался шум. Мимо, подгоняемый толпой, тащился измождённый человек, остановился, попросил помочь ему волочить за собой тяжёлый снаряд, сколоченный крест-накрест из брусьев палисандрового дерева, но сапожник отмахнулся. Хорошо, сказал человек, задыхаясь и еле ворочая языком, может быть, ты и прав, говоря, что много тут разных шатается, хорошо, я пойду; а вот ты будешь вечно сидеть с молотком и колodкой под навесом возле дома на проспекте Чайковского, построенного пленными немцами. А когда вернусь, мы сочтёмся. Человек с крестом, говорят, никогда больше не приходил, а придёт участковый и прогонит сапожника: жильцы-таки настучали, что он нигде не работает, а занимается тунеядством — частным промыслом, вместо того, чтобы работать. Работать — это у нас значит числиться кем-нибудь где-нибудь, кто не числится, тот не работает, а кто не работает, тот не ест. Сапожник всё же ест: мацу или что там. Не знаю, говорю я, зачем я это тебе рассказываю, ты ведь христианка.

«Меня мама отнесла в церковь крестить, я была ещё совсем маленькая».

Мы заглядываем в подъезд, я веду Ольгу, там еврей медленно поднимается в своей разношенной кирзе, в чёрной шапчонке над большими ушами, подрагивают его седые лохмы, под мышкой трёхногая скамейка, за спиной мешок с не востребованными заказами. Внезапно отворяется дверца каморки под лестницей, кашель, как хриплое карканье, доносится из подвала, ворчливый голос осведомляется: где он числится? А ты где, мрачно отвечает сапожник вопросом на вопрос. Старая карга, однако, работает — числится сторожихой сама и назначила себя уполномоченной следить за порядком. Зовёт к себе.

«Некогда мне, я работаю», — отрезал он.

«Эва! где ж это ты работаешь?».

«У меня патент есть».

Обыденная жизнь, что в нашем городе, что в Ерусалиме, суррогат вечности... Ибо всякое настоящее, если не уходит в прошлое, становится вечностью, говорит блаженный Августин.

«Арончик, ты не сердчай на меня, Бог с ним, с патентом, и с Гаврилой нашим, ступай ко мне, чай будем пить. Я вашу нацию уважаю. только зачем вы нашего Христа распяли? Иди, коли зовут. Чайку попьём, кхе, кхе...»

На улице, рядом с подъездом, прислонясь к стене, подпирает дом могучими плечами, стоя на костылях, одноногий Атлант, капитан Кобзев с лотком на двух лямках; лоток накрыт чистой простынёй и одеялом. Народ столпился вокруг, выхватывают из капитанских рук горячие, пахучие пирожки, надкусывают, подают объедки нищенствующим супругам, мужику и бабе, квартирантам доброй сторожихи. Милиция не трогает капитана.

Твоя рука, Оля, у меня в кармане! Тепло твоей ладони, эманация твоего тела. Товар распродан, лоток отдыхает в подъезде. Костыли составлены вместе и прислонены к перилам. Угрюмый, грузный капитан, поддерживаемый с двух сторон, — я справа, ты с отцом слева, — допрыгал по ступенькам, первый этаж, второй этаж — представь себе, Оля, я забываю, что и он вскоре ляжет там, где ты теперь, где мы оба... На лестнице раздражающе пахнет пригорелым маслом. Дверь открыта. Мы ввалились в квартиру. В кухне, на двух сковородах мама жарит, помавает, как кадиллом, жирной кисточкой — смазывает бледно-глянцевые, ожидающие на столе пирожки. Кто не работает, тот не ест. Мама числится бухгалтером в столовой Военторга, откуда и масло, и мясо для начинки, — в магазинах-то хоть шаром покати. Я несущу вниз корзину, капитан стоит с лотком. Оля разгружает товар. И голодный люд топчется перед продавцом, и чета нищих, кряхтя, поднялась с ложа любви в каморке каркающей сторожихи, мужик подтягивает портки, тётка, удовлетворенная, одёргивает пестрядинную юбку, расчёсывает жидкие волосы гнущей гребёнкой, повязывается монашеским платком. Сума через плечо — бродить по городу. Жизнь продолжается.

«А ты, бабушка, между прочим, заблуждаешься, никто его не распинал, зачем его распинать».

«Зачем же ты его прогнал, он, говорят, здесь ходил».

«Это ты стихи имеешь в виду?»

«Какие такие стихи?»

«Удручённый ношей крестной всю тебя, земля родная».

Жизнь продолжается, слава-те, Хосподи, дело идёт, и мама по-прежнему стоит у плиты, несмотря на то, что её тоже нет в живых. А там народ сгрудился на тротуаре, тут же и участковый Гаврил Степаныч, — «здорово, сержант», — «здравия желаю, таа-иц капитан!», а у самого в руке уже пирожок, зубами — хватить! — некогда нам тут лясы точить, служба зовёт! Милиционер удалился ко всеобщему облегчению. день продолжается, мы ещё живы,

Оля, прошлое не возвращается, о нём молчок, и человек с крестообразным снарядами никогда не вернётся, воскреснет только грядущее. Всё та же обыденная жизнь влачится, одна и та же, вечная, как сама вечность, и нескончаемый, незабвенный тянется день приподнявшейся солнечной осени, сметает с улиц память, отменяет смерть.

«Ты куда собрался, Арончик, посиди ещё» — «Мне пора, бабушка, до свиданья». — «Да кто тебя гонит. Небось Гаврила, дубина стоеросовая. Говорила ему оставь жида в покое, чего ты к нему привязался. Он тебе сапоги починит. Сиди, Арончик. Куды тебя несёт?».

Гремит трамвай, маршрут всё тот же: проспект Чайковского до вокзала. Сапожник стоит, поставив мешок с заказами у ног, на площадке вихляющегося прицепа, едет к себе в Ершалаим.

Глава IV

Играй, скрипач вечности, исполняй свои визжащие, тянущие за душу вариации на заданную тему. В который раз, просыпаясь, я вспоминаю о том, что я. ещё жив и как будто здоров, и поднимаюсь с затёкших колен. Подбираю и встряхиваю подстилку. Турман окутал кресты и деревья, предвидится ясный день. Но утро испорчено для меня, доцент Журавский сидит на скамейке, ждёт; чего доброго, так и проторчит здесь всё утро — пока не сомкнутся за нами створы ворот. Зуд ревности терзает меня и требует его расчёсывать, подстрекает, кормит новой пищей воображение, я готов растерзать и моего соперника, зуд нестерпим, удовлетворять его становится всё больнее, чужая страсть обуревают меня, казнит меня, не надо мне ничего объяснять, я и так знаю, как это у них — у вас с ним, Оля! — происходило. Как он там, в отделении, на дежурстве, — преподаватели вуза дежурят наравне с ординаторами, — подждал тебя в запертом кабинете заведующей отделением. Обнимал, обладал тобою — сознайся, бормочу я, впиваясь глазами в твои глаза, ведь было так, уговорил тебя, и ты поднялась и вышла в своей к рубашонке ночью, и вы лежали, содрогаюсь, на диване в кабинете заведующей, и ты тихонько стонала, ты боялась, что кто-то услышит, а вернее, боялась «последствий», а он вынул пакетик, и ты сама, о, проклятье, горе мне, сама надела ему своими тонкими пальчиками. Было, было! Не зря же он сидит каждое утро на скамейке. Ты уже... осмелюсь ли выгово-

речь, уже принадлежала кому-то, ты согласилась, чтобы тебя насильвовали, сознайся... Зачем ты скрывала от меня? А он, неужели он, кандидат наук, не знает, что оргазм, опять приходится произнести это ужасное слово, опасен для твоего сердца? Что вы там слышите, доктор, спросил он. Что я слышу, Господи... Аритмию, пресистолический шум. Живое сердце Оли бьётся в граните.

Ушли, растопились в будущем дни, когда Арон, иерусалимский сапожник, ставил набойки, подрезал кривым ножом, постукивал загнутым, как клюв, молотком, сидя под навесом, а капитан Кобзев стоял на одной ноге со своим лотком. Но времена изменились, милиционер приказал сапожнику, частнику, убираться, а горсовет постановил удовлетворить ходатайство жильцов, твоему отцу инвалиду Отечественной войны выделили двухкомнатную квартиру, — в том же доме, построенном теми же немцами, с которыми он воевал, правда, без лифта. В кухне газ. В большой комнате обеденный стол и кровать родителей под белым пикейным покрывалом, с горой подушек, с подзором в кружевах. Над кроватью в рамке отец и мать щеками друг к другу, на другой стене — репродукция, вырезанная из «Огонька»: святая Инеса испанского художника Риберы, с грустным детским личиком, в плаще распущенных волос, — злые люди хотели её обесчестить, заставив девочку ехать по городу голышом, но пышные волосы накрыли хрупкие плечи и грудь, ангел с неба, из угла рамки, бросил простыню. В другой комнате — ты...

Мы оба. «Не беспокойся (это ты шепчешь мне), они смотрят телевизор. Никто не войдёт», — и преклоняешь колени. А как же доцент Журавский, думаю я, ах, пускай он там сидит, не дожждётся, солнце ещё не взошло, туман не рассеялся, мы идём к воротам, скрипка долдонит одно и то же, и тут чудесным образом оказывается, что никакого доцента не существует.

Глава V

Наша комната, молельня, наш храм... И мама не войдет, хотя давно догадалась. Дом строился военнопленными после войны, когда ты была подростком, как Инеса. Я ступаю наверх, по лестнице, в сыром известковом сумраке, перебираю железные перила, первый этаж, второй этаж, звоню; мне открывают, опустив глаза, поджав губы. Знаю, твоя мама меня не любит. Она считает меня виновником всего. Это правда.

Мы вдвоём, и с каким-то благоговейным ужасом я смотрю на тебя, твои глаза распахнуты, и мне кажется, что моё сердце распахнулось навстречу тебе, твоим рукам, творящим священный обряд. Я стою под ливнем твоих поцелуев. Ты обнимаешь меня и опускаешься на колени перед *ним*.

Семестр начался, было это или не было, не могу сказать, студенты только что вернулись из поездки на картошку в далёкий, Богом забытый район — род патриотической барщины. Всё ещё медлит тёплое бабье лето, доцветает любовь, тебя могли освободить от колхоза, а ты взяла и поехала. Было, было... Как на зло пробудился кашель, вестник ненастья, словно желая тебя предупредить, и вот, дождик сыплет с жемчужных небес, темнеет мокрый гранит, тускнеет золото твоего имени в последний раз, Чёрным крылом накрыло твои глаза, Оля, — и уселось на камень, чтобы выклевывать их, прожорливое будущее. И вновь я вступил в кошачий подъезд, там бдит и бодрствует сторожиха, там больше не греются возле железной печки нищие любовники, там стоит прислонённый к стене, уже давно ненужный лоток капитана Кобзева, звоню в квартиру, никто не открывает. Прощелестели шаги, мама, погрузневшая, усталая, молча смотрит на незваного, визитёра. Тесную прихожую освещает костлявая лампочка, щель света проникает из большой комнаты через полуприткрытую дверь, голос домашнего чревоутолятора, — обыденная жизнь, словно ничего не случилось, — дверь захлопывается, я жду, я всему виной — и, тому, что дождь поливает памятники, и что твоё одинокое сердце бьётся в граните, а я жив, и в том, что мы себе «позволяем», — во всём повинен я. «Но ведь они не знают!» — «Всё знают». Мама прочила тебя за доцента, мама знала о том, что он ухаживает за тобой, даже кажется, приходил к вам в гости, — когда? — ты об этом не говорила. И я стою, парализованный внезапной тишиной, и на своё несчастье знаю, помню всё что произойдёт, и вдруг, наконец, тихонько скрипнула дверь твоей комнаты. Твои вознесённые руки лежат у меня на плечах, задыхаясь, ты обнимаешь меня за шею, и я стою, уронив руки, онемелый, под дождём твоих лобзаний. Наша комната, наше убежище, мавзолей нашей тайны.

Здесь диван, на котором ты спишь, на котором и нам не дано было забыться вдвоём навсегда, у окошка в слезах дождя. На изогнутых ножках ученический письменный стол, школьная фотография, платье с белым воротничком, тонкая шея, чистый де-

вичий лоб — и глаза глядят, не моргая, как с медальона. Лежат стопкой учебники, «Пропедевтика внутренних болезней» Мясникова, «Болезни сердца и крупных сосудов» Зеленина, через месяц начало занятий, вместо этого мы едем в колхоз, в дальний район на картошку, и доцент Журавский со всеми нами, а тебя могли бы освободить. Пора — грузовик ждёт во дворе института, задний борт откинут, народ прыгает под брезентовую крышу, я занял местечко в углу перед стеклом кабины, и мы вдвоём. Смех и говор в кузове, белые халаты, белые шапочки заглядывают в твою одиночную палату, доцент вещает о маске Корвизара, ты могла бы остаться дома. Теснота под брезентом, урчит мотор, нас потряхивает на ухабах, визг и хохот встречают каждый толчок и падение.

Я послушно встаю с дивана, мне больше не стыдно. Мне теперь совсем не стыдно. Ты стоишь на коленях передо мной, понишим волшебным грибком. Юная, как Инеса, ты взрослеешь, шёпот пола подсказал тебе, твои странные, невозможные, смешны и непозволительные слова.

«Но ты уже видела», — говорю я.

«Я хочу видеть всё. Он прячется».

«Он боится. Ты его испугала».

«Он спит. Я буду смотреть на него, и он проснётся».

«Что ты там шепчешь? Ты молишься?».

«Я прошу у него разрешения его поцеловать».

«Лучше поцелуй меня».

«Но ведь я тебя и целую!»

Почему, спрашиваю я, она меня любит, несмотря на то, что мы всё ещё не до конца вместе.

«Мне достаточно видеть тебя, смотреть на тебя», — сказала она. И вдруг до меня доходит. Догадка, как молния, поражает меня. Конец — это и будет конец.

Чу! Кто-то остановился за дверью в самый неподходящий момент. Я вскочил, как ошпаренный. Она удерживает меня. Спокойно, задумчиво ты поправляешь на мне одежду, ты одеваешь меня, сосредоточенно, как одевают ребёнка. Твой взор затуманен, ты погружена в себя, словно созерцаешь будущий плод в своём чреве. Но ничего не произошло, — там скребются в дверь, — да, отвечает Оля, медленно, лениво, — «это ты, мама?..» — и мама входит, и видно, как ей не хочется меня приглашать.

Глава VI

Мучительная торжественность праздничного стола, крахмальная скатерть, на которой ещё приподнимается складка от глажения, хрустальные фужеры на тонких ножках, — мы робко озираемся, словно стыдясь нашего счастья, и не понимаем, в чём дело — какой там ещё праздник? Ах да, день Советской армии. Капитан Кобзев сидит за столом. И пока меня усаживают напротив отца — Оля рядом, словно мы официальные жених и невеста, — пока хозяин с графином в дрожащей руке, в суровом молчании, наливает настоящий на лимоне напиток мира и семейного благополучия, — полный, как глаз, бокал, экзамен на право считаться мужчиной! — в ту же минуту, я спохватываюсь, что всё перепуталось в моей голове, ведь уже осень, а день Советской армии — это февраль. На самом деле алкоголь смешал времена. Мы покинули прошлое и вернулись в наше будущее. Открывается дверь, пошатнувшаяся было действительность вступает в свои права.

Отворилась дверь. Мама входит из кухни, на столе воздвиглось дышащее жаром блюдо с пирожками. Капитан вознёс свой кубок. Мы сдвигаем бокалы. Неподвижные, серые, как у тебя, глаза солдата следят, чтобы я осушил свою чашу до дна, до последней капли. Ночь опустилась над нами, умолкли голоса, погасли смешки, грузовик со студентами раскачивается и подпрыгивает на ухабах, мы давно уже пересекли трамвайный путь, проехали мимо вокзала и оставили позади железнодорожный переезд, в темноте мы сидим, обнявшись, в углу между бортом и кабиной, — счастливейшие минуты моей жизни, никто нас не видит, и моя рука, кроясь под твоей одеждой, ищет ожидающий пробуждения миниатюрный сосок. Сейчас откроется дверь палаты, въедет тележка с твоим камнем, накрытым упавшей с небес простынёй ангела.

Отец ждёт, с бокалом в подрагивающей руке. Тост — за что? Капитан не любил — как все вернувшиеся с войны — говорить о войне. Как все побывавшие на войне, капитан не рассказывал ничего о войне. Вот он прыгает, поддерживаемый с обеих сторон, я справа, ты слева, по ступенькам, его лоток остался внизу в подъезде. Не будь соседа пенсионера и этой несчастной ссоры, он бы так и промолчал, не поминал бы новобранцев.

Были такие прыгучие мины, немцы называли их «шпринг», а наши — лягушками: ненароком наступишь, и смерть выпрыгнет из земли. Грузовик с брезентовым верхом подпрыгивает на ухабах. Были такие мины. И дорога долгая, как все дороги в нашей стране, и где-то там, за сумрачными лесами, под небом в разбухшей вате облаков пробуждается сызнова дальше эхо войны. Замирают звуки разрывов. В наступившей тишине донёлся протяжный гудок. Колонна санитарных фургонов защитного цвета, с крестами на стёклах, дожидается у переезда, и вот, наконец, показались огни, показался дымок в разрубе тайги, слепящий свет бежит по небесам, пыхтя, приближается задыхающийся локомотив, гремят на стыках вагоны, мелькают окна в белых занавесках, и на каждом белый круг с красным крестом. Гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль станционной платформы, из раздвинутых дверей выглядывают белые косынки, на ступеньках, держась за поручни, стоят медицинские сёстры.

Капитан остался за столом, отталкиваясь уцелевшей ногой, подъехал в кресле-каталке к подрагивающему от стрекотания пистолет-пулемётов, от громоподобного «ура!» молочно-мутному экрану, где все программы были посвящены дню Советской Армии, но твой отец не любил и эти фильмы. Между тем девушки-санитарки, в темно-зеленых, новых шинелях британского союзника, в русских сапогах и пилотках со звёздочкой, по двое, каждая пара с носилками, торопятся, топчут по мокрой платформе от вагона к вагону вдоль только что прибывшего из Тихвинского хирургического эвакогоспиталя военно-санитарного эшелона. Медленно, друг за другом проталкиваются мимо восставших шлагбаумов поблескивающие влагой фургоны, задние дверцы распахнуты. Там уже никого нет, последние носилки втискиваются в вагон. На носилках лежит командир батальона капитан Кобзев, списанный ещё в ДМП в невозвратимые потери, Капитан подорвался на «лягушке». Дождь льёт которые сутки подряд над всей Россией. Гремит марш «Непобедимая и легендарная». Телевизор празднует день Советской армии. Твой отец не любит вспоминать о войне и победе, не смотрит фильмы, в которых всё неправда. Дождь не унимается, точно так же он лил, как ошалелый, если кто помнит, на Красной площади во время парада Победы.

Был однажды такой случай с соседом пенсионером, который проживает напротив, дверь в дверь. Был спор, когда отец,

ты говорила, в первый раз нарушил молчание. Ударил кулаком по столу, так что повалились рюмки: «Какая, к такой-то матери, победа?!»

«Не вам говорить так, Виктор Лексаных, вы — победитель...»

«Кто-о?» — взвился капитан. — Я?»

Мама бросилась к нему успокаивать, поднесла сердечные капли, капитан отмахнулся тяжело дышал, сосед, оскорблённый, вышел вон, капитан молчал, погрузившись в свои могучие плечи, Оля сгребает веником в совок осколки, мать убирает со стола. Капитан молчал.

«Победа, ети её, — он наконец заговорил. — А сколько за эту победу заплачено... Это ты знаешь?»

Капли не подействовали, он проскрипел, что умрёт, не забудет, своими глазами видел. К нему в батальон, изрядно потрёпанный, прибыло подкрепление.

Капитан прижимает к уху трубку полевого телефона и озирает комнату. Вместо свадебного портрета, вместо полуобнажённой девочки в плаще распустившихся волос видит перед собой новобранцев с наголо стриженными головами. Что-то переспрашивает, вроде бы недослышал, там в ответ начальственный мат, приказ из штаба полка — старые опытные кадры беречь, наступать имеющимися силами, подкрепление гнать вперёд на минные поля, от не нюхавших порошу какой толк? Куда денешься, вот он этих мальчишек и погнал. А через три недели, сказал он, и от старых кадров никого не осталось. Это мне наказание, сказал капитан и постучал по культе. Есть Бог, нет Бога, бог его знает, только это было ему наказание. Капитан остался в большой комнате, а мы с тобой отправились к тебе.

Смерть выскакивает, Оля, из-под ног, рвутся фугасы, взлетают фонтаны земли, — а мы вдвоём в твоей комнате, как это соединить? Как связать прошлое с будущим? Ты поднялась помочь матери убирать со стола, уходишь на кухню с подносом, на котором составлены бокалы, лежат стопкой грязные тарелки, капитан Кобзев отталкивается уцелевшей ногой, отъезжает от стола, капитан выкрикивает команду, ребятишки в новых, болтающихся шлемах выбегают из окопа, одноногий Атлант подпирает дом могучими плечами, с лотком на лямках, пистолет в руке, бросает лоток с пирожками, бежит сам на здоровых ногах среди комьев земли и грязи, подгоняет своё редкое войско, навстречу противнику. Народ, милиционер, старуха, нищие лю-

бовники подбирают рассыпавшиеся пирожки на асфальте. Мёртвые выходят из воронок, и ты выходишь из-за праздничного стола собрать посуду и прячешься там, за камнем с фаянсовым медальоном. А я плетусь за тобой, пошатываясь от выпитого. Там твои поцелуи, Ольга. Ничто не минует нас. Сумасшедшее время передвинулось и приближается, как смерть, Взмахни смычком, пиликай, скрипач...

Комната качается, как ковчег на волнах, — я едва удерживаю равновесие. Я стою, как потерянный, с поникшей головой, опустив руки. Ты обнажаешь меня, ты стоишь передо мной на коленях, как я стоял перед твоим медальоном, боюсь шевельнуться, не смею переступить. Ты опустила ресницы, твои губы ищут прикинуть к моему оробелому средоточию, ладонь поддерживает тестикулы, губы шепчут молитву, — и моя душа рвётся тебе навстречу, Оля, Оля, — ты здесь, и я здесь, алкоголь, как волны моря, стучится в стены каюты, я чувствую жаркое излучение, которое исходит от тебя, чую свежесть увлажнённого тайника и не могу придвинуться ближе, не смею отдаться тебе, тобою овладеть, слышу, как ты шепчешь безумные слова, в страхе или в восторге перед явленным нам чудом.

Глава VII

Мы едем, трясёмся в колхоз. Картофельный октябрь. Всё то же серо-жемчужное костромское небо, сырая вата облаков, всё та же дорога, по которой в разливах грязи чуть ли не вплавь по озёрам луж продвигается колонна краснокрестных фургонов, и в одном из них везут из дивизионного медпункта в забытии безногого капитана Кобзева. Дома, в комнате на проспекте Чайковского, где телевизор транслирует концерт Краснознамённого ансамбля песни и пляски, очнувшись от стука сапог, капитан поднимает бокал. Строго глядит на меня. Мы сдвигаем фужеры. В грузовике под брезентовым тентом, забившись в угол, я обнимаю тебя, грею тебя. Сколько бы ни тянулась безрадостная дорога, дождь сколько бы ни поливал твой камень, — я с тобой, ты здесь.. И вот, наконец, прибытие.

Мы в деревне. Моросит дождик. Из двух окошек, между цветочными горшками, сочится оловянный рассвет. В углу мечет тусклые молнии темноликая Богородица в кружевном жестяном окладе, перед висячей лампадкой, на стене стучат ходики. На по-

лу три студентки, и ты с ними, поднимают всклокоченные головы от тряпичных подушек, тонкие руки падают на одеяло, сшитое из цветных лоскутов, девушки выпрастываются, садятся, прикрывая грудь, босые ноги шлёпают по полу, стучит на кухне сосок умывальника, девы зевают за столом. Хозяйка, в кофте и пестрядиной юбке, несёт чугунную сковороду с ломтями варёной картошкой. У завалинки под полуоткрытым окошком собралось местное общество, петух и его кудахчущие подруги, поодаль, не решаясь приблизиться, ждёт, помахивает подобострастно хвостом мокрый проголодавшийся пёс. Народ теснится перед подъездом в ожидании капитана с пирожками. Всё возвращается, сызнова начинается обыденный день, вернулся на трамвае из Еерусалима старик сапожник, с колодкой и торбой с не востребовавшимся товаром согбенный входит в подъезд, в каморку сторожихи под лестницей. Пьют чай из блюдец, держа в губах огрызок сахара, — а тут студентки, хохоча, бросают в окошко петуху и псу хлебные корки, — шум, гам, суета, кудахтанье, кто-то пытается впрыгнуть между створками окна, а там свинцовые небеса, и бригадир приходит звать на работу, и дождь, дождь...

Мы в деревне третью неделю, считаем дни. Я простужен, лежу за перегородкой в испарине, с фебрильной температурой, доцент Журавский выслушал и выстукал меня. Он здесь, исполняет патриотический долг помочь колхозу, воспользовался картофелеуборочной кампанией, чтобы сопровождать свою группу, тебя видеть, Оля, поверь мне — уж я-то знаю... Я болен, у меня жар, и по этому случаю он меня освободил от работы — не затем ли, чтобы мы не были вместе? Картошка гниёт на размокших пажитях, девочки, расквартированные в избе, где-то там. Тишина, никого в избе, я задрёмаваю, вижу тебя и нас с тобой в кислой деревне, я больше не в силах ждать, желание разжигает меня, и я боюсь, что не смогу больше беречь, удерживать то, что принадлежит тебе, только тебе, драгоценный, с сок жизни. У меня жар и озноб, я лежу под толстым лоскутным одеялом, под низким потолком, прислушиваюсь к шелесту дождя. И понимаю, что вижу сон.

Глава VIII

Где-нибудь, когда-нибудь, в клинике, в общей палате, я лежу, придавленный обвалившимися стропилами, обломками

крыши, не могу встать, не в состоянии выкарабкаться, в полутьме вокруг меня лежат заваленные люди, другие больные. Я стараюсь их разбудить, кричу им, что мы должны что-то предпринять, звать на помощь, выбираться из-под брёвен, иначе мы все погибнем. Но они молчат, не внемлют, не шевелятся. Хочу проснуться, зову к себе хриплым, неслышным голосом, никто не откликается. И, наконец догадываюсь, что лежу, придавленный толстым ватным одеялом.

В эту минуту я слышу что-то подобное визгу и пению несмазанных петель, отворилась тяжёлая дверь, в из сеней в избу вошла, согнувшись под притолокой, хозяйка. Я так и не могу понять, вижу ли я её наяву, выбрался ли из тягостных видений, из семерек сна. Она сидит на пороге, зажав между ногами мокрую юбку, стаскивает грязные, в глине, сапоги. Но, к великому моему веселью, это вовсе не она. Оля в толстых вязаных носках неслышно ходит по комнате, ищет меня, а я молчу, ожидание счастья переполняет меня, я сбрасываю одеяло. Сейчас, бормочу я, разгребём завалы, оттащим упавшие стропила...

Оля, бормочу я, здесь я, жив — здоров, так это ты?.. Оказывается, она не утерпела, дезертировала с колхозного поля, пусть там ковыряются! Я говорю: тебя могут хватиться. Она пожимает плечами. Сами догадаются, что пошла навестить больного. А как же доцент и все остальные? Поняли, наконец, что между нами что-то есть? Она отворачивается, презрительно машет рукой, она запыхалась, с трудом переводит дух, покашливает, протискивается ко мне через загородку. Я поднимаюсь, смеясь, мы сидим рядом на моём ложе под осуждающим взглядом сумрачной Богородицы. Сейчас это совершится. Но что это там? — Мы слышим жужжание небесной стрекозы, Ольга спрыгнула на пол. Это за мной, говорит она, тебе тоже пора. Нам обоим пора! Освободиться от уз безбрачия, от навалившихся стропил. Она вернулась без ватника, в кофточке и лыжных шароварах, были такие, из синей фланели, их надевали студентки, отправляясь на государственную барщину. Её глаза блестят, губы пылают, — зачем ты их накрасила? Она прижимает ко рту серое деревенское полотенце. Проснись, шепчет она, я пришла, но ей мешает говорить полотенце, неожиданно хриплым голосом она повторяет: просыпайся! Жужжит, рокошет небесная стрекоза, полотенце па-

дает из-за облаков на плечи и грудь святой Инессы, я помогаю ей стянуть через голову кофточку, спустить бретельки рубашки, сбросить лифчик. Она ныряет ко мне.

О, эти разговоры вполголоса под одеялом. Сколько странных и смешных заклинаний, сколько милых, запретных, слов бормочут влюблённые, оказавшись вдвоём, только вдвоём,

«Потихоньку. Не сразу. Теперь можешь. Только не раздави меня».

«Потихоньку. Да! Ещё... Туда. Только не уходи. Останься во мне. Весь останься... Там. Навсегда... Никогда из меня ни уходи, Мы умрём вместе».

Она задыхается. Вцепившись в меня, изнемогая, ищет спасения. Я поднимаюсь... Кашель налетел на Олю, как чёрная птица с окровавленными когтями, с красным клювом, хлопает крыльями над нами, целится в ямку между её ключицами, расклюёт сейчас маленькие груди, и всё твоё худенькое тело сотрясается под ударами гранёного клюва. Ты лежишь на спине, разбросав ноги, обессиленная, жадно, судорожно ловишь воздух, красноклювый хищник терзает тебя, плещет крыльями. Я оставляю Олю, я убегаю из избы.

Глава IX

Темно-красные пятна на простыне и полотенце не оставляют сомнений, диагноз доцента Журавского: инфаркт лёгкого. Довольно обычное осложнение митрального порока. И вот, наконец, — а ведь я её слышал, знал, что будущее подстерегло нас, — гигантская стрекоза поднимает своё брюхо, над вертолётной площадкой областной больницы, блестя лобовым стеклом, вращая лопасти крыльев, опускается тут же, рядом, на картофельное поле, колёса шасси мнут ботву, земля прилипает к подошвам, девушки-санитарки несут к вагону с красным крестом носилки с безногим капитаном, и мы вдвоём, я и доцент Журавский, несём носилки с колёсиками, лётчик и врач в халате поверх осеннего пальто вкатывают тебя по узким рельсам в жерло воздушного гроба, чрево санитарного вертолёта. Твоё лицо, Оля, с неподвижными заострившимися чертами маски, описанной двадцать четыре века тому назад, губы в предсмертной улыбке, и невозможная, бессмысленная и счастливая мысль о том, что в тебе осталась часть меня, капля, бытия, которую ты унесла с собой в вечную жизнь.

Кухня чародея

Ответ на запрос Майнцского университета

Вы разрешили мне писать по-русски. Как я работаю?

Прежде я писал пером, сперва без всякого плана, затем перепечатывал на машинке. Мне казалось, что таким способом я отстраняюсь от рукописного, слишком связанного с личностью автора текста и даже с его телесностью: машинопись нейтрализует текст, даёт возможность увидеть его со стороны как бы чужими глазами. С появлением компьютера эта технология изменилась, я стал сразу делать наброски на компьютере. Но и теперь, принимаясь за что-либо новое, иногда пишу пером. Писание от руки расковывает. В любом случае, однако, я не поклонник самопроизвольного писания, хоть и пытался когда-то в юности использовать этот метод, считал его своим открытием, не зная о том, что автоматическое письмо давно изобретено сюрреалистами.

Произведение может зародиться внезапно, без всякого повода, при слушании музыки (которая вообще мне очень помогает в моей работе), при чтении чего-нибудь постороннего. О некоторых своих романах и рассказах я могу точно сказать, что было первой искрой. Замысел начинает клубиться в мозгу и выглядит увлекательней, заманчивей, чем когда принимаешься, наконец, за дело. Всё что при этом получается, выглядит тяжёлой неудачей и скукой. Есть замечательная фраза Вальтера Беньямина: *Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption* (Произведение — это помертвая маска замысла).

Эту скуку нужно каким-то образом развеять. Как уже сказано, я пользуюсь теперь преимущественно компьютером. Печатаю написанные страницы, чтобы потом к ним вернуться. В молодости я мог заниматься сочинительством в любой обстановке. Теперь не то. У меня нет своего кабинета, но мне нужна тишина. Больше всего меня раздражает пошлая музыка. Я пишу утром — чем раньше начать, тем лучше — и до обеда, лучше всего в дождливую погоду, в снегопад. Во второй половине дня пишу письма, статьи, что-нибудь более лёгкое. Вечером настроение портится, всё, чем я занимался, выглядит ненужным, неудачным, бездарным; единственная надежда — утром, может быть, удастся обрести бодрость.

Я не составляю планов, набрасываю лишь, чтобы не забыть, отдельные мысли или сюжетные направления. Я замечал, что

легче начинать и продолжать, когда видишь конечный пункт пути, то есть приблизительно знаешь, чем всё кончится. С годами я стал уделять больше внимания сюжету, «истории» в собственном смысле. Проза — это рассказывание историй. Но теперь мне всё чаще приходится начинать что-нибудь, не имея абсолютно никакого представления, куда всё приведёт и чем кончится.

Я придаю очень большое значение языку, ритму и звучанию фразы, помногу раз переделываю свои пассажи и особенно зачины — и никогда не забываю совет Флобера читать свою прозу вслух (я читаю её шепотом). Я стараюсь находить не только слова с абсолютно точным, нужным мне значением, но и с необходимым числом слогов, с нужным ударением. Больше всего в произведениях современных писателей угнетает меня болтливость, многословие — наследственный недуг русской литературы. Но писать лаконично, как написаны «Повести Белкина», так же трудно, как вести добродетельную жизнь.

Любое сочинение, самое безумное, должно быть оснащено убедительными реалиями. Нужно уметь пускать пыль в глаза. У читателя не должно быть никаких сомнений относительно компетентности автора в той области жизни, культуры, профессиональных занятий, с которой имеют дело его герои. Это тоже один из уроков, преподанных классиками. Один старый бильярдист говорил мне: когда читаешь «Записки маркёра», то кажется, что Толстой всю свою жизнь только и делал, что играл на бильярде

Я постоянно пользуюсь справочной литературой, выискиваю нужную терминологию, разглядываю географические карты и планы городов. Для романа «Антивремя» я изучал астрологию, для «Нагльфара» — каббалу. И, конечно, приходится то и дело заглядывать в толковый словарь русского языка, словарь синонимов и проч. Художественные (или претендующие на художественность) произведения я пишу только по-русски.

Самое тяжкое и неприятное — написать «рыбу», то есть набросать первоначальный, сколько-нибудь связный текст. Всё равно, что прокладывать лыжню по глубокому снегу. Этот пробный текст ужасен, неопрятен, нелеп. Но над ним можно работать, от него можно отталкиваться, след проложен — это уже легче. Я сочиняю такие наброски на отдельных листках до тех пор, пока не накопится сколько-то страниц и почувствуешь, что выдохся — дальше двигаться нет сил. Тогда я возвращаюсь к началу, чтобы взять разбег.

Трудно сдвинуться с места, столкнуть воз. Хемингуэй дал хороший совет: не вычерпывать воду из колодца до дна, заканчивать работу сегодня на том месте, где нетрудно будет продолжать завтра. Съезжать с горки, а не брать подъём. И так продолжается до тех пор, пока не наступит желанный перелом — пока в воображении не возникнет некое целостное представление о времени и месте действия — мир романа.

Жан-Луи Барро писал о том, как рождается спектакль. Слово готовят майонез, — взбивают, взбивают, ничего не получается — и вдруг наступает момент, когда составные части больше не расслаиваются. Майонез готов.

Нечего и говорить о том, что мир романа отнюдь не копирует действительность. Но никто нам не запрещает совершать плагиат у действительности. Пишешь или, по крайней мере, начинаешь писать о чём-то тебе знакомом — хорошо знакомом. (Позже, почувствовав себя уверенней, можно будет с помощью фантазии, а также минимума эрудиции, разрешить себе вторгнуться в незнакомые области.) Опираешься на жизненный опыт, вспоминаешь живых людей, видишь обстановку, чувствуешь запахи. Короче говоря, помнишь прошлое до мельчайших подробностей. Так я помню своё детство. Но восстановление неотделимо от химического процесса, пышно именуемого творчеством, и этот процесс денатурирует былую действительность, как кислота денатурирует белок. И вот, по мере продвижения вперёд, возникает удивительное чувство, что действительность — это фантом. Начинаешь поддаваться чему-то вроде самогипноза. Подлинной реальностью становится мир романа. Теперь ты можешь его обживать. Необязательно всё описывать, важно всё хорошо себе представлять. Совсем не надо всё объяснять. Обойтись минимумом самых необходимых и ненавязчивых пояснений. (Для этого можно, например, как в пьесах, использовать диалог.) Нужно пропускать промежуточные звенья. У читателя должно возникнуть ощущение, что ты гораздо больше знаешь о людях и эпохе, чем сообщаешь. Читатель должен сам о многом догадываться. Нужно оставить ему простор для собственного домысливания, для фантазии.

Мало помалу действующие лица приобретают известную автономию, если не просто свободу действий. Во всяком случае, приходится считаться с их манерой вести себя, с их повадками и капризами. Шахматист ведёт игру, переставляет фигу-

ры, но фигуры на доске ведут себя по собственным правилам. Писатель распоряжается своей прозой, а проза распоряжается писателем.

С лучшими пожеланиями,
Ваш Борис Хазанов.

2005

Грёзы романиста

Величие подлинного искусства... состоит в том, чтобы вновь обрести, схватить и донести до нас ту реальность, от которой, хотя мы и живём в ней, мы полностью отторгнуты, реальность, которая ускользает от нас тем неуловимей, чем гуще и непроницаемей её отгораживает усвоенное нами условное знание, подменяющее реальность, так что в конце концов мы умираем, так и не познав правду. А ведь правда эта была не чем иным, как подлинной нашей жизнью. Настоящая жизнь, которую в определённом смысле переживают в любое мгновение все люди, в том числе и художник, жизнь, наконец-то открывшаяся и высветленная, — это литература. Люди её не видят, так как не пытаются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь остаётся нагромождением бесчисленных негативов, которые пропадают без пользы оттого, что разум людей их не проявил.

Пруст — графу Ж. де Лори

Ты царь, живи один.

Пушкин

1

Романист — это не тот, кто пишет романы. Романист — тот, кто мечтает написать роман.

Мысль о романе возникает как некое озарение — соблазн заново пережить свою жизнь. Тотчас к услугам будущего писателя является память. Память готова поставить необходимый материал. Подозрительная услужливость: товар как будто под рукой.

В действительности, материал прожитого скрыт. Залежи прошлого, заброшенные, погребены под спудом. Их надо откапывать. Археологические раскопки памяти — долгий труд. Однажды он завершится открытием. Романист — в этом суть — открывает самого себя. Он открывает в себе центральную фигуру своего будущего произведения. Археология памяти, как и разбуженная ею палеонтология прошлого, ставят писателя перед очевидным фактом: его жизнь есть не что иное, как черновик литературы.

Так литература становится для него дорогой к осуществлению дельфийского завета $\gamma\omega\upsilon\theta\iota\ \sigma\epsilon\alpha\upsilon\tau\acute{o}\nu$, «познай самого себя». Но условием для этого может быть только самоотчуждение. Осознав это, он понимает, что цель и смысл его поисков — он сам как полномочный представитель человечества. Лишь в таком универсальном качестве он окажется вправе притязать если не на внимание, то по крайней мере на уважение и сочувствие читателя.

2

Думает ли он о читателях? Не есть ли искусство извечное, глухое противостояние самоуглублённости художника чуждому и враждебному окружению? Занятый поисками себя, романист не спрашивает, кого может заинтересовать его работа. Волей-неволей он внимает критическим голосам. Он слышит клики о современности. Это эпоха культа Нашего Времени. Подразумевается нечто самодовлеющее, обязывающее писателя принадлежать ему во что бы то ни стало. Таков комический парадокс нашей эпохи: отрекшаяся от оптимистической веры в прогресс, она сама стоит на коленях перед прогрессом. Никакое столетие не мчалось вперёд с такой стремительностью, не пожирало с такой ненасытностью уготованное ей, надвигающееся будущее. Слишком редко современников посещает сознание, что со всем своим великолепием Наше Время, не успеешь оглянуться, превратится в труху, что (если повторить афоризм Петера Вейса) сегодняшний день завтра станет вчерашним. Думает ли романист, что работает, быть может, — вопреки всему! — для будущих поколений? С присущей ему самонадеянностью, он отмечает упрёки в эгоцентризме.

Между тем выясняется, что главное в литературе — не современность, а личность того, кто её, эту литературу, создаёт. Он, а не подставной персонаж беллетристического маскарада, станет, по определению Ролана Барта, «тем, кто говорит: я». Не успели мы оправиться от шока недавних заявлений о смерти автора, как почивший воскрес. Оказалось, что читать и размышлять о жизни и труде писателя подчас куда увлекательней, чем зевать над сверхактуальными творениями его коллег. На сей раз парадокс состоит в том, что сосредоточенность на обстоятельствах собственной жизни, раздумье, подчас многолетнее, о себе и захваченность собой как предметом литературной работы — всё это как раз и оказывается подлинно современным. Но тут повествовательная проза на наших глазах отступит перед новым соперником. Романист пасует перед диаристом. Таков случай дневников Франца Кафки, Андре Жида, Чезаре Павезе или Жюльена Грина. Таково новое оправдание литературной уединённости, таков чуть ли не шёпотный пафос эгоцентрического, назло всему и всем, писательства в новейшем массовом обществе с его девальвацией человеческой личности.

Вознамерившись (тем не менее!) написать о своей эпохе, я чувствую себя как в мышеловке. Трудность, если не заведомая невыполнимость, задачи, заставляет меня заключить само это слово «эпоха» в кавычки. Что оно собственно означает? История знает времена, к которым оно неприменимо; слишком уж торжественно оно звучит, чтобы не сказать — претенциозно. Позволю себе процитировать вступление к моему роману «Антивремя» (1982). Этот пассаж показывает, по крайней мере, что отношение к современности, далёкое от восторга, — не новость для того, кто готовится подписать своим именем настоящие заметки.

Конечно, я мог бы сослаться на интерес, который публика проявляет к «той эпохе». Но мне как-то неловко. Какая эпоха? Что за слова! Мы жили в эпоху, которой не было. Мы очутились в расщелине времён. Мы все, всё наше поколение, выпали

из истории. Мы были похожи на действующих лиц в фильме, где пропал звук: что-то говорили, махали руками — а никто ничего не слышал. Это первый и последний раз, когда я говорю о поколении; я не принадлежал ни к какому поколению. Нет, лучше уж прямо сознаться, что единственный читатель, к которому я обращаюсь, это я сам.

5

Итак, чем же всё-таки была, какой стала эта эпоха... Традиция предъявляет писателю грозное требование «отразить» своё время, представить доказательство своего законного сыновства, хотя бы он и чувствовал себя его пасынком. Порой (как только что) уступаешь искушению заглянуть в святцы старых текстов. Что найдёт в них, что сможет найти интересного для себя мой дальний потомок в этих пахнущих мышами томах, испещренных вязью умершего языка?

Детство в московском дворе, в коммунальной квартире, во дворе старого московского дома: тридцатые годы, запечатлённые в исландском романе «Нагльфар», конец мёртвого десятилетия, краткосрочное затишье перед воем сирен и скрещением прожекторов в ночном небе — канун Большой войны; детство, ни о чём не подозревающее, не знающее о том, что оно пробилося, как трава, между могилами. Так началась новая полоса. Тогда-то и утвердились оба символа, опознавательные знаки страны: лагерь и парсуна усатого Упыря. Новая полоса в истории Страны, распростёртой на двух континентах, единственной возродившей в XX веке античное рабовладение и средневековое крепостное право.

6

История складчата, как скатерть. Трупы, трупы, то и дело повторяющиеся складки. Разглаживание скатерти — невидимый, в укор всему, процесс восстановления потерь, казалось бы, невозполнимых: всё ещё не истощившая себя плодovitость народа, распаханутые, как врата бессмертия, бёдра деревенских баб. А затем вновь — ибо всё повторяется! — холмы и равнины кладбищ с повалившимися крестами, в сиянии новых лун — забытые вехи роковых тридцатых, сороковых, пятидесятых го-

дов, разрушительная индустриализация, обновлённое всевластие человекоядной тайной полиции, гибель деревни, сеть концлагерей, опустошавшая страну, и новые ресурсы человеческого сырья, пополнение, нужное Упырю, чтобы швырнуть очередное поколение в огненную пасть войны. Чудовищная топка, сконструированная и зажжённая ради того, чтобы окончательно добить Россию. И, как кульминация, как апофеоз эпохи — апокалиптический город развалин на западном берегу главной реки, сверху донизу забитый трупами бывших жителей и солдат обеих сражающихся сторон.

7

Азбучная истина: главный ресурс писательства — память. Но память — не то же самое, что воспоминание; роман демонстрирует эту разницу, если не противоположность. Вспоминая какой-нибудь эпизод, мы его беллетризуем. Почти невольно мы упорядочиваем прошлое, мы хотим рассказать (другим или самим себе) «всё по порядку». Эта насильственная процедура, собственно, и превращает память в воспоминание. Между тем изначально память не признаёт никакой последовательности, противостоит математическому времени, игнорирует хронологию, а вместе с ней и логическую последовательность. Не останавливает часы, а разбивает их.

Освобождение от вериг времени происходит перед отходом ко сну, когда в вечерней тиши, в зеленоватом свете ночника, угревшись в постели, мы остаёмся один на один со своим внутренним миром: хотим подумать о жизни, о делах и заботах только что прожитого дня, но тотчас память, выпущенная на свободу, затевает свою игру: цепляется за что попало, за случайные эпизоды близкого и далёкого прошлого. Всплывают полузабытые лица, юность, детство — всё сразу. Словесные или образные ассоциации — единственное, что правит хаосом памяти, поддерживает кое-как её цельность.

Ты думаешь о яблоках, которые забыл купить, к этой мысли прицепляется образ коня в яблоках, конь тащит за собой легендарного героя Чапаева с саблей, на картине в школьном коридоре, слышен шум, ребята вываливаются из класса, что-то глядит на тебя из окон, являются странные привязки, необъяснимые сближения — спохватываешься: о чем же я думал? —

мысли приняли неуправляемый, абсурдный оборот — по-видимому, я на грани засыпания — пробую прокрутить плёнку назад, разматываю клубок. Оказывается, это цепь прихотливых сближений, исчез тот самый порядок, подобный порядку романного повествования, где одно вытекает из другого. Способна ли проза передать этот хаос, не беллетризуя изначальную стихийность памяти?

Для литературы воспоминание — одновременно инструмент и материал. Вспоминая, литература денатурирует память, как кислота — белок: из аморфной, колышущейся, ускользящей массы получается твёрдое тело. Нечто непередаваемое преобразовано в текст, изделие языка. Не будь этой химии, мы получили бы словесный детрит, нечто такое, что происходит у больных с распавшейся психикой. Но, быть может, здесь скрывается обещание приблизиться к последней реальности души; соблазн изначального, подлинного манит писателя.

Приблизиться к краю бездны. Так в детстве, лазая по крыше московского дома у Красных Ворот, мы подходили к кромке брандмауэра и с замиранием сердца заглядывали вниз.

Великое слово «спонтанность» грозит опрокинуть всё здание мира. Или, что то же, храмину литературы. Революционная проза XX века не случайно стала ровесницей квантовой механики, радикально меняющей, отменяющей привычные представления об однонаправленном линейном времени, о причинно-следственном детерминизме. Как физическая теория, чтобы стать верной, должна быть безумной, литература должна быть безумной, чтобы стать правдивой.

Память возвращает нас в мир, где ещё не побывал Кант. Память игнорирует ту упорядоченность, которую интеллект привносит в окружающий мир непроницаемых вещей в себе. А ты, писатель, намерен реконструировать именно то состояние, когда хомут ещё не успели напялить на кобылу. Конечно, это утопия: такая проза невозможна, чему свидетельство — тупик, в который упёрся Джойс со своей разбитной бабёнкой Мэрион Блум, с её великолепным «потокосознанием». Но попробовать надо — приходится пробовать. Не подражая кому бы то ни было, но пользуясь только собственным, неповторимым опытом. Познай самого себя!

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая прихотливо носится от прошлого к настоящему,

и снова назад, цепляется, как репей, за что попало, меняет места и времена — у неё нет времени задерживаться на чём-нибудь одном, для неё нет важного и неважного; споткнувшись о случайное словцо, уловив мелодию, цвет, учуяв запах, она пере скакивает, как летучий огонь, от одного к другому, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, закоулки.

И, как многие до меня, я мечтаю о раскрепощённой прозе. Мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования; вместо этого — каприз случайных сцеплений, встречаемых образов, непредсказуемых поворотов. Так гребец оставляет вёсла, ложится на дно лодки и чувствует, как течение вращает и уносит его на своей спине.

Довольно притворяться. Порой испытываешь чувство усталости от прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Увы, своеволие заряжено анархией, уж мы-то это знаем. Не ты ли, художник, твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? Вернуться к истоку — не значит ли убить литературу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в пропасть. Накалённые солнцем крыши нашего детства: карабкаешься наверх по железной лестнице, бежишь по громыхающей кровле, добираешься до брандмауэра и, подойдя к самому краю, боком, искоса заглядываешь вниз. И, как во сне, видишь себя самого, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

Катастрофа

Было тихо. Я лежал под одеялом и грезил. Обычно сны происходят в безмолвии, подобно немому кинематографу. Донёсся слабый гул. Гул перешёл в треск, я выбежал, большая машина сотрясалась как в лихорадке. Надо было не мешкая выключить ток, я этого не сделал. Наконец, раздался взрыв. Глазам предстало страшное зрелище: на столе валялись обломки компьютера. Буквы и отдельные фразы плавали в воздухе, целые абзацы шлёпались на пол. Труды многих лет пошли прахом. Так завершилось позорным крушением моё писательство.

Мемориальная записка 2017

Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего.

Ал. Блок

1

Некоторые труды последних месяцев позволили мне надеяться, что я ещё не совсем утратил работоспособность. Борис Хазанов по-прежнему остаётся моим литературным именем. Мне 89 лет. Я был современником событий, которые закрепили за советской Россией место едва ли не самого ужасного государства. В моём возрасте живут памятью прошлого. Я обретаюсь в мире воспоминаний. Пример моей страны опровергает гипотезу исторического разума. Болезнь, называемая патриотизмом, приняла у меня особую злокачественную форму: я не в состоянии ничего забывать. Память обрекает на одиночество. Впрочем, это не новость. Одиночество и желание высказаться породили моё писательство. Не будучи в полном смысле слова автобиографическими, мои произведения то и дело оказывались беллетризованными воспоминаниями. В итоге вся моя литература есть не что иное, как нескончаемая песнь моей жизни. Разумеется, я не мог обойтись без плагиата у действительности. Не раз приходилось следовать известному правилу литературной практики: рассказ может граничить с безумием, но кулисы должны быть правдоподобны. Порой я отдавал щедрую дань фантастике и сновидениям. Но кем бы ни оказывались мои персонажи, женщины и мужчины, дети и старики, выбившаяся из сил рабочая лошадь, растерзанный клювами хищников старый орёл или раненый таёжный волк, я всегда узнавал в них самого себя.

Любовь, Память и Время были мои главные темы. Забота о стиле поглощала все мои силы. Меня научили отличать хорошую фразу от плохой великие прозаики Пушкин, Лермонтов, Флобер, Чехов и Хорхе Борхес.

2

В детстве я придумывал и рисовал на рулонах бумаги фильмы о будущей войне и необыкновенных приключениях

моих героев. Киностудия называлась «Самфильм», — словно, предвещала Самиздат, подпольную машинописную литературу поздних советских лет, в которой принял живое участие автор этих заметок. За что и был вознагражден изгнанием. И вот теперь вижу, что остался верен этой двусмысленной деятельности. Мало того, испытываю ностальгию по Самиздату. Я и сейчас «сам». Это заставляет задуматься о смысле собственного писательского труда.

Древние говорили: *Primum vivere, deinde philosophari*. Сперва живи, потом философствуй.

Приоритет «жизни» перед рассуждениями, недоверие к самоанализу, к рефлексии о собственных сочинениях, и т.п. созвучны обычному в нашей стране требованию от пишущего, чтобы он показывал, а не рассказывал, не рассуждал, а изображал. В «Понедельнике роз», некогда предпринятом опыте литературной автобиографии, нахожу следующее:

«Считается, что мания рассуждать о литературе, вместо того чтобы «просто писать», свидетельствует о творческой немощи, подобно тому, как слишком пространные рассуждения о Боге изличают недостаток веры. Возможно, правы те, кто говорит, что мы живём в александрийское время, что словесность, размышляющая о самой себе, — нормальная литература нашего века. Я отлично понимаю, что пример некоторых знаменитых писателей — критиков и комментаторов собственного творчества — не может служить для меня оправданием. Отечественная традиция приучила нас видеть в докучливых диатрибах о себе нечто нескромное. Вдобавок они чаще всего недостоверны... Если книжка не говорит сама за себя, никто за нее этого не сделает. И, наконец, то, что происходит у нас на глазах. — тихая катастрофа литературы, — заведомо обрекает все подобные упражнения на невнимание и провал».

Но я не собираюсь возвращаться к беллетристике. Пусть это будут просто мысли о себе, о времени, о том, что некогда казалось мне моим призванием.

Ребяческая мечта о Неизвестном Читателе, — есть именно мечта, попытка освободиться от старинного предрассудка, будто мы пишем ради того, чтобы нас читали. Играя, ребёнок не преследует цели внеположные игре, но действует исключительно ради того, чтобы играть. Мне возражат, что существуют фабрики детских игрушек, магазины, и покупатели, — подобно тому, как

имеются книгоиздательства и книжные магазины. Попробуйте внушить какому-нибудь редактору толстого литературного журнала, что он тоже участник этих игрищ. И всё же писателю в нынешней, якобы модернизированной России придётся ответить на сакраментальный вопрос: для кого? — кратко и определённо: *ни для кого*. Просто так. Не вздыхая о недостижимом «успехе», не вторгаясь в дебаты об упадке современной литературы, будто бы изменившей традициям великой русской литературы Золотого века. Довольно будет сказать об этой непонятной мании писать, работать, творить вопреки всеобщему равнодушию. *Нести свой крест — и верить*, как говорит чеховская героиня.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. ОТЕЧЕСТВО. ТРАКТАТ О РАБСТВЕ И ВОЛЕ

Вступление писателя

У меня есть предложение — к главному архитектору столицы или правителю страны: воздвигнуть, по аналогии с могилой Неизвестного солдата в центре города, памятник Неизвестному читателю перед зданием Национальной библиотеки. Этому безымянному читателю я хотел бы посвятить Четвёртую книгу

Заголовок указывает на две темы, общие для произведений разного жанра, вошедших в «Просветленный Хаос». Государственное рабовладение в форме лагерей принудительного труда, распространившееся по всей нашей стране, нужно считать оригинальным и важнейшим достижением России со времени переворота 1917 года. Побег из неволи — вторая тема — исконно русский мотив, подсказанный обширными пространствами страны. Веками мотив этот воспроизводится в народных песнях, в бегстве крепостных крестьян от помещика, каторжан и староверов-раскольников, в побегах из советских мест заключения, наконец, в повторяющихся политических и экономических эмиграциях.

Автор, прозванный патриархом зарубежной русской литературы, политический эмигрант Третьей волны, заканчивает свой труд в Мюнхене, на чужбине, которая заменила для него изгнавшую его родину.

Дубинушка, ухнем!

Две картины — что между ними общего, что их сближает: стиль, сюжет, композиция, наконец, идеология, — и превращает в две вести, две аллегии русской истории и судьбы?

«Бурлаки на Волге», самое известное полотно Ильи Ефимовича Репина, созданное спустя двенадцать лет после отмены крепостного права. Вчерашние крепостные крестьяне, мужики в деревенских портках, лаптях и онучах впряглись в лямки и тянут канаты, позади, заслонённая от зрителя, плывёт на канатной привязи баржа или товарное судно. Идут бичевой, тяжело ступая, нищие некрасовские бурлаки, и кажется, что они наступают на тебя. Из последних сил влечёт за собой бремя тяжеловесной истории и отечественной государственности могучий и терпеливый русский народ.

Митрофан Борисович Греков завершил замечательных «Трубачей Первой конной армии» в год своей смерти — 1934-й, когда самоистребительная гражданская война стала уже историей. Под трепыхающимся красным стягом воли движется шумное и пёстрое войско победителей. Бывшие тягловые бурлаки, мужики в изношенных гимнастёрках, сидя верхом, старательно дуют в свои инструменты, впереди боевые лошади отвернули головы от рёва и блеска геликонов. Если бы всадники знали, что ожидает их в уже недалёком, вожделенном будущем!

Беглец и Гамаюн

Отрывок из романа

*Посвящается всем, кто ускользнул
Всем, кто не вернулся
Всем, кто помнит*

1

Это — повесть о путешествии, о пассажире-призраке, повесть без начала и конца. Многое в ней остаётся сомнительным, кое-что покажется невероятным, но позволим себе возразить, что правда подчас и даже нередко оказывается малоправдоподобной. Это повесть о бегстве — вот единственное, что можно сказать, не боясь ошибиться. О великой и неистребимой мечте уйти с концами. Выражение очевидным образом заимствовано из морского обихода. Но государство наше всё же континентальное. Бежать — куда? Из страны вглубь страны, из гнусного времени в другое время. Из неволи — на волю! Рвануть, драпануть, скрыться от всевидя-

щих глаз, ускользнуть от погони, от автоматной очереди стрелка, от несущихся по пятам овчарок. Укрыться от Всесоюзного Розыска там, где никто не опознает. Так может мечтать жук на булавке — сорваться и уползти.

Это мечта о просторе. (Ведь слово «воля» имеет и такое значение.) Заметим, что удивительная черта нашего необозримо широкого отечества та, что в нём было очень тесно. Хотя в среднем на каждого подданного приходится столько земли, что её, как пел государственный поэт, глазом не обшаришь, здесь на самом деле, что называется, плюнуть негде. Всё занято, всё обсижено, везде народ, тьма желающих, и куда ни сунешься, ты всюду лишний. Жильё перенаселённое, в магазинах не протолкнёшься, в автобус не втиснешься, в трамвае, слава Богу, если нашлось местечко для ноги на подножке. Поезда берут штурмом, в отхожих местах сидят орлами на помосте зад к заду, в деревне на протоптанной дорожке не разойдёшься со встречным, не разъедешься на просёлке, и так везде, до последнего издыхания, до квадрата земли на кладбище, куда пробираются бочком между крестами и железными оградками, похожими на спинки старых кроватей; чего доброго, и в могиле не хватит места растянуться, и будешь сидеть на корточках в ожидании Страшного суда. А кругом, чуть подалее отъедешь — безлюдные просторы, бескрайние невозделанные поля.

Такова была наша страна, шестая часть обитаемой суши, в эпоху, совпавшую с началом нашего повествования, Пассажир ехал в битком набитом вагоне. Эшелон, растянувшийся на полкилометра, весь состоял из таких вагонов: каждый вагон внутри поделён на клетки, наподобие клеток в зоопарке, дверца железная на задвижке с всячим замком; за решёткой, на полу и на помостках, в три яруса сплошной массой сидят и лежат, ворочаются, переругиваются, колышутся под мерный стук колёс; в конце вагона, в купе перед железной печуркой коротает долгие дни и ночи обездоленный персонал. Дважды в сутки по узкому проходу вдоль клеток, светя фонариком, движутся тени, солдаты протягивают между прутьями решётки кружку с водой, раздают солёную рыбу, выводят на оправку в тесный вагонный сортир без двери. Поезд шёл уже много суток подряд и лишь изредка останавливался пополнить запас угля и воды.

Их пересчитывали. Никого не интересовало, что это были за люди. Главное — рабы, государственная собственность; довести

ровно столько, сколько приняли. Человек в серо-зелёном кургузом бушлате с тряпицами погон, в ушанке со звёздочкой на козырьке рыбьего меха, останавливался перед каждым отсеком, будил спящих узким скользящим лучом, махал пальцем, шевелил губами. Люди поднимали головы, щурились, ворочались, вновь погружаясь в темень, в тяжёлую дрёму; но затем, несколько времени погода, процедура повторилась, опять мелькал фонарик, надзиратель вглядывался в живую массу, махал пальцем, «сто шестьдесят один... сто шестьдесят два...». И опять что-то не ладилось, не сходилось, и пришлось снова считать, на этот раз втроём, один из них нёс короб с формулярами, громким шепотом называл фамилию, хриплый голос откликался из тьмы, у иных было по две, по три фамилии: «он же... он же...», но на одну кликуху никто не отозвался. В некоторой растерянности шествие удалилось, спустя немного времени по вагонам прошагало высокое лицо — начальник эшелона.

Наконец, стальные часы замедлили свой стук, взвизгнули тормоза, гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль состава. Трое в бушлатах соскочили на песчаную насыпь. Далеко впереди отцепленный паровоз отдыхал у водокачки под струёй воды, лившейся в котёл. Это был «Феликс Дзержинский», ласково называемый Федя, большой восьмиколёсный локомотив ходивший по магистралям на нашей памяти ещё не так давно, с невысокой трубой, лобовой фарой-прожектором и красной звездой на брюхе. Был второй час ночи. Кругом ни души, ни звука, лишь где-то далеко за лесами ухнет выпь.

Обошли тускло освещённое, приземистое здание станции, заглянули в пустой и холодный зал ожидания, и — чудо! — нашлось то, что искали. На скамье почивал одинокий путник. Он что-то пролепетал, когда его подхватили за ноги и под мышки и понесли к вагону. На свежем воздухе спящий как будто ожил, запел песню, ему заткнули рот. Молча проволокли по проходу, отомкнули и отодвинули решётчатую дверь, впихнули внутрь. Пленник ничего не слышал, он вновь погрузился в забвение. Что его ожидало? Судьба каждого записана на небесах, Стукнулись буфера — Федя прицепился к головному вагону, разводил пары, пронзительный свисток донёсся издалека. Несколько минут спустя паровоз уже мчался, вращая колёсные передачи, посылая слепящий луч вперёд; послушно громыхали вагоны, унося своё собственное время, потонул во мгле глухой полустанок. Новичку

присвоили формуляр пропавшего пассажира, и — будь что будет. Доедем, говорили они, сколько приняли, столько сдадим, а там пуцай разбираются.

2

На рассвете нечаянный пленник, обмочившись, проснулся от холода; протрезвление было подобно переселению из одного сна в другой. Он силился понять, что произошло, и ничего не мог вспомнить. Всё так же постукивали колёса, колыхались тела заключённых. Конвоиры несли по проходу корыто с дорожным провиантом. Пленник жевал рыбу, никто не внимал его сбивчивому рассказу. — Между тем тот, исчезнувший, чьё место теперь было надёжно и необратимо занято, пробирался в заснеженной чаще и не имел представления, где, в какой части света он очутился. Мечта гнала его вперёд.

Дивный сон, ветер воли! В обширном тюремно-лагерном фольклоре, никем ещё не собранном, не имеется, насколько нам известно, преданий о бегстве из столыпинского вагона; и всякий, кто путешествовал в эшелонах, идущих на север, восток и юг, кого везли за тысячу вёрст в Заполярье, в тайгу и тундру, к великим рекам, на Дальний Восток, в азиатские степи и солончаки, всякий подтвердит: уйти невозможно. Но на то и чудо, чтобы в него поверить.

Как же всё-таки это произошло? Свидетелей нет, а сам рванувший на волю превратился в мифическую личность — попробуй его найти. Считайте, что умер. И можно лишь, призвав на помощь воображение, попробовать угадать, как, каким образом на повороте полотна, где поезд слегка замедлил ход, пассажир, не замеченный, в полутьме, прокравшись мимо отсека со спящим конвоем, рванул к себе тяжёлую дверь и оказался между вагонами. Свирепый ветер чуть не сбросил его в несущийся под ногами провал. Он стоял на шаткой переходной площадке, в свисте и грохоте, — тут бы перекреститься, призвать на помощь всех святых, но святых не существовало. Беглец перелез через качающийся поручень, уцепился за что-то, поставил, рискуя сорваться, ногу на буферный цилиндр, вобрал в себя воздух и прыгнул, едва не сбитый углом вагона, и покатился, словно в могилу, с невысокой насыпи вниз, в девственные снега.

Мудрено ответить, где это было: одно дело география, а другое дикий мир, — вещи столь же несхожие, как история и реаль-

ная жизнь. Не то в лесах между Сухоной и Костромой, в краю папоротников и брусники, много более обширном, чем кажется, глядя на карту; не то за Вычегдой, если вести пальцем от Шексны к Белоозеру, в неисследимую глушь, где некогда старoverы скрывались от дьяволовых слуг, где обитали праведники в пустынных обителях, и, может быть, проживают поныне, — туда будто бы и бежал пассажир. Иные же, бывалые, нами опрошенные, утверждают, что ещё дальше, к верховьям Северной Сосвы, в остяцкую тайгу, иначе быть не может, вот куда он попал. Поди проверь... Но не в географии дело. А всё дело, суть дела, в том, что человек, погрузившись в эти дебри, умирает, и вместо него рождается другой, похожий и непохожий, и тут, должно быть, кроется разгадка того удивительного факта, что беглеца не сумели найти.

3

Путник был голоден и дрожал от холода, и обливался пóтом. Он хватал губами пригоршни снега, тянуло лечь, но он знал, что не поднимется. Он уже не помнил себя, потерял счёт времени, шёл и шёл, и ему представлялось, что вместо него бредёт, проваливаясь в сугробы, кто-то другой. Как вдруг что-то произошло, лес расступился. Короткий лай, похожий на кашель, перешёл в повизгиванье. Навстречу по протоптанной тропке бежала собака. Беглец сделал несколько шагов и опустился в снег.

Очнулся он через две недели. Он лежал полуголый на лавке; хозяин, седоватый, бородатый, с длинной нечесаной гривой, растирал ему грудь блестящими от сала руками. Пассажиру казалось, что ничего этого нет, он всё ещё брёл по лесу. Но и это было обманом, на самом деле он трясся в гремучем вагоне, сжатый с обеих сторон бессильными телами. Он обвёл совиным взором избу, низкие, с наледью окошки, веки его снова опустились. Ещё сколько-то дней прошло, старик по-прежнему сидел на табурете, руки на коленях, корявыми ладонями кверху. Старик был в холщёвых портах и длинной рубахе. Кобель, встретивший пассажира, лежал у ног хозяина. Наконец, старик сказал:

«Ну как, оклемался?»

Гость был так слаб, что не имел силы пожать плечами.

«Ты откель, паря?»

Ответа не было — да и какой мог быть ответ. Губы лежащего зашевелились, он спросил: «А ты?»

«Что я?»

«А ты кто?»

«Кто я есть, — сказал хозяин. — Ты разве не видишь?»

«Нет», — сказал пассажир. Он приподнял голову, глаза его блуждали.

«Меня ищут», — сказал он.

Старик словно не слышал.

«За мной гонятся».

«Кто ж это за тобой гонится?»

«Они. Идут».

«Ну и пушай идут».

«Сюда идут. Спрячь меня. Спрячь куда-нибудь».

Старик скосил бровь на пса:

«Иоанн! Поди погляди».

Иоанн повернул морду к порогу.

«Крадутся», — прошептал пассажир.

Пёс не двинулся

«Нет там никого, — сказал хозяин. — Он хоть и старый, а нюх не потерял. Ты не бойсь. Никто по твою душу не придёт».

Пассажир спросил:

«Это у него такое имя?»

«Такое имя. Иоанн Четвёртый».

Помолчав, он снова спросил: почему четвёртый?

«Потому что был до него Третий».

«Но ведь он был... кто он был?..» Пассажир брёл по снегу, не давая себе роздыху, потому что знал, что не поднимется; изо всех сил ворочал языком, боясь, что вовсе не сможет говорить.

«Чахлый был пёс, долго не прожил», — сказал хозяин, и вновь беглец погрузился в небытие. И прошёл ещё один день, и прошла ночь. Мир вокруг гостя постепенно восстановился, как если бы Творец, в которого он не верил, сызнова отделил тьму от света и твердь от воды. В окнах стоял белый день. Пахло душистой травой от пучков, висевших под щелястым стропилом. Половину избы занимала печь. Старик, босой, в белой посконной рубахе, стоял на коленях в красном углу, перед иконами в полотенцах, с огоньками в висячих плошках.

Старик держал в руках глиняную посудину. Открывай рот, приказал он, дунул на круглую деревянную ложку и поднёс к губам гостя. Пассажир обжёгся и поперхнулся. Пассажир смотрел

на старца неподвижными округлившимися глазами и покорно глотал суп. Несколько дней спустя, в тулупе и заячьем малахае, в огромных разношенных валенках, он сидел на завалинке, щурился от яркого света; вокруг капало, сосульки сверкали на солнце — была ли это оттепель или уже весна? Малорослый пёс Иоанн IV сидел рядом на тощем заду, моргал рыжими ресницами, что-то соображал.

«Вот так», — вслух подытожил беглец.

Жертвоприношение

Поэма

Подобие пролога. Дровокол и Сатурн. Снег

В декабрьскую ночь, которую вспоминаю, прежде чем начать эту страницу, я получил производственную травму, случай не такой уж редкий в наших местах. Я работал на электростанции, это имело свои преимущества и свои недостатки.

Мне не нужно было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал смену и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбуждёнными людьми, я приступал к сборам, влезал в стёганые ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал ватный бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек восемь таких же, как я. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям производился засветло, — у бесконвойных же, напротив, длиннее.

Высокие, украшенные патриотическим лозунгом и выцветшими флажками ворота ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева от дороги, напротив посёлка вольнонаёмных, среди снежных холмов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонетка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мач-

той-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звёзд, дымя плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь в зоне горел свет на столбах и в бараках, ток подавался в посёлок, в казарму, в пожарное депо, но всё это составляло ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на заграждения из колючей проволоки и наружное кольцо. Всё могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при какой погоде.

Первым делом расчистить рельсы, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь — по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в белёсом дыме, без усталости грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опушённый снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довёз её до входа в сарай, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лягз. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, глянцевый, голый до пояса кочегар, висая грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блещающее кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол...

...или тот, другой, кто был мною в те нескончаемые годы. В тот единственный год, как год на Сатурне, где Солнце — лиловой звездой. В те дни и в те ночи, когда в смутных известиях, переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате — крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют и других не осталось, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда — бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, время — сроком, которому нет

конца, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугуным обрубок, который показывает один-единственный, бесконечный год;

когда рассказывали, повествовали о том, как старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, едва только доложат, что пришёл состав, канает на Курский вокзал, идёт, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных просьбами о помиловании, а сзади ему подадут мел. И старичок-козлик, мелом, наискосок, на каждом вагоне — резолюцию: отказать, — после чего состав катит обратно;

когда рассказывали, повествовали, как маршал со звёздами на широких погонах, с животом горой, в пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубов напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывает костяшки и говорит, щурясь от дыма: «Мало! Пушай сидят»;

когда рассказывали, клялись, что знают доподлинно, как один мужик, забравшись ночью в кабинет оперуполномоченного, спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил ему загадочной фразой: «Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности». Не поняв, любопытствующий, повторил вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет ему будто бы ответил: «Ща как в рыло въеду, не выеду».

Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого мгновения и вырвался, саданув дровокола обухом в лицо.

Милость судьбы: наклонись я чуть ниже, я был бы убит. Вообще стоило бы поразмыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем.

Мы в России привыкли жить сегодняшним днём. Мудрое правило. А потому прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассуждения — прошлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра — выпадет снова. Из снега всё вышло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и не зря сказано: кто однажды отведал тюремной баланды, будет лакать её снова.

Говорят, Ус не умер, а скрывается где-то; да хотя бы и умер. Говорят, все лагеря разогнали. Чушь. Не верю. Лагерное существование есть законный и нормальный образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а слово «судьба» ничего другого, как обыкновенную жизнь, не обозначает. Иные, так просто страшились конца срока, с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек тоскует по лагерю, потому что лагерь у него в душе. Как кромка леса на горизонте, лагерь маячит и никуда не денется. Не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся предателем, и вода станет снегом, и дом — бараком.

В сумерках я сидел на снегу, выплёвывал зубы, красные горячие сопли свисали у меня изо рта и носа. Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, и выглянул в темноту. Я доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение. Четырёх дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной физиономией топать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли трёх совсем уже немощных. На станции дожидалась теплушка, так назывался поезд, на котором за десять часов надо было пересечь по лагерной ветке всё княжество, чтобы добраться до больницы.

Лагпункт: вид сверху. Любовь и смерть

Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.

Песнь песней Соломона: 8, 6.

«Живо, живо, поворачивайся, твою мать!» Народ вышел из тьмы на свет. Никто не ведал, в каком краю они очутились, зна-

ли только — где-то на северо-востоке. Люди выпрыгивали из тёмных, вонючих вагонов, не товарных и не пассажирских, с редкими зарешечёнными окошками, скатывались по откосу, строились, брели по щиколотку в снегу под сиреневым небом. Не было дорожных указателей, и никто не смел спрашивать. Если бы заблудившийся лётчик очутился в этих пространствах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, казармой охранного воинства, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

Всем известно, что времена года сменяют друг друга по-разному на различных широтах нашего отечества. Время течёт неодинаково; у времени бывает мало времени, а бывает много. Пока где-то там неслись, опережая друг друга, годы и десятилетия, в наших местах, как на Сатурне, тянулся один и тот же год. Там отсчитывали время нетерпеливые нервные стрелки, здесь — толстые неповоротливые обрубки. Сколько лет прошло с тех пор, как совершились события, о коих пойдёт речь? Существует ли ещё княжество? По-разному на этот вопрос отвечают учёные люди. Предлагаются разные теории. Мы же по простоте полагаем, что да, существует, ибо лагерь бессмертен. Итак, начнём эту песнь по преданиям сего времени, а не по чьим-то измышлениям, постараемся соблюсти справедливость, никому не вреда, никого не поучая. Не поддадимся сладострастнейшему соблазну, соблазну ненависти. Никто не в силах объяснить, отчего ненависть так похожа на любовь и сильна, как смерть.

Как сперма любви, семя ненависти зреет и копится, чтобы излиться в чьё-нибудь лоно. Не так уж важно, на кого обрушится влюблённая ненависть, лишь бы извергнуться. Лишь бы отомстить, — кому и за что? За то, что так непролазны болота, безбрежны снега, лес без конца; за то, что тебя родили на свет, не спрося у тебя, хочешь ли ты жить, да ещё где? — в этой стране. Отомстить жизни, — не значит ли в конце концов свети счёты с самим собою.

Семя ненависти живёт в гробах.

Утренние известия. Капитан на вахте. Шествие капитана по лагпункту

О случившемся доложили начальнику лагпункта капитану Ничволоде в шестом часу утра 22 апреля, — как назло, это был день рождения Ленина. Капитан считал своим долгом присутствовать на разводе по особо торжественным дням. Он стоял на крыльце вахты, в долгополой шинели, в шапке-ушанке из поддельного меха, со звездой, ввинченной в поднятый козырёк, и опущенными ушами; стоял, обозревая дружину, словно удельный князь, кем он и был, — красный от выпитого, наблюдая за всем, что происходило, величественно-безумным и восторженным взглядом. В сумерках перед распахнутыми воротами, над которыми красовался лозунг и висели выцветшие флаги, дудел оркестр заключённых, нарядчик выкликал номера бригад, когорта стояла, дожидаясь команды, двинулась по четыре в ряд, на ходу расстёгивая бушлаты, вахтёр махал пальцем, отсчитывая каждую четвёрку. С деревянной вышки над крышей вахты площадку за воротами озарял прожектор, охранял пулемёт. Два надзирателя обнимали и обхлопывали каждого, конвой ждал, полукругом сидели овчарки на поджарых задах. Оркестр смолк, и ворота закрылись. Нарядчик отправился собирать отказчиков по баракам. Капитан Ничволода вошёл в помещение вахты.

Капитан уселся на табуретку с лицом мрачнее тучи. Он еще раз спросил, когда исчез старший дежурный вахтёр. Князь недавно получил четвёртую звёздочку на погоны, был переведён на крайний северный ОЛП и еще не запомнил фамилии подчинённых. Пропавшего дежурного звали Карнаухов. Второй вахтёр не мог добавить ничего к тому, что уже было доложено, дежурным разрешалось коротать ночь лёжа по очереди на лавке, он не решился сказать, что спал, когда Карнаухов покинул помещение вахты. Когда покинул? Вахтёр сказал: часа в три. Когда точно? — огрызнулся капитан. В 3.00, отпраповал второй дежурный. Куда? Не могу знать, отвечал надзиратель. Что же ты, едрёна вошь, громыхнул начальник лагпункта, испытывая злое сострадание к дураку дежурному; пожалуй, и к самому себе. Он двинулся в жилую зону, где, обгоняя его, как раскаты грома, неслась по воздуху весть о том, что капитан обходит бараки с нарядчиком и помпобытом.

Шествие Анны Никодимовой и марш оперативного уполномоченного

Со скрипом, неохотно, словно кому-то в вышних надоело каждый день рассветать, забрезжил день. Прошла через вахту и поспешила по центральному трапу в контору секретарша начальника. Событие, которое повторялось ежеутренне изо дня в день. Дневальные в опустевших секциях, перестав елозить резиновой шваброй по полу, прилипли к окнам бараков; бесконвойные хозвозчики, конь и бочка золотаря, ожидавшие, когда их выпустят за ворота, все повернулись в одну сторону, хлеборез, высокопоставленная особа, на пороге хлеборезки следил за явлением женщины; сам Вася Вересов, гоминоид с жирными плечами, покрытый густым волосом, украшенный лиловыми наколками спереди и сзади, изрыгнул сочный мат, оборвал гудящий звон своей гитары в культурно-воспитательной избе, где он репетировал патриотические куплеты для концерта художественной самодеятельности, вещкаптёр, завстоловой, завпекарней, академик-фельдшер, выдававший справки об освобождении от работы, и лагерный портной Лёва Жид, всё живое, остававшееся в зоне, всё мужское превратилось в зрение и слух, млело от ожидания, — все знали о сошествии в мир секретарши Анны Никодимовой.

Не та отчаянно-робкая, жидковолосая, с рябоватым простодушным лицом, нет, бери выше — баба, Женщина, недосыгаемое женское тело, вот кем она была; торопливый стук её сношенных ботишков по расчищенному дощатому трапу ангельской трубой отзывался в душах, достигал дальних закоулков, но нельзя сказать, чтобы сама она об этом не знала, не чувствовала. Едва только брякнул за ней засов проходной, тревожный холодок пронизал Анюту Никодимову, она очутилась в поле высокого напряжения — окружённая таинственным свечением, шла, точно голая, и в самом деле была голой под своей шубкой, кофтой, юбкой и толстыми вязаными чулками, и... и что там было ещё на ней; шла под взглядами мужчин, охваченная страхом и вождением, мелко шагая, боясь поскользнуться, неся грудь, подрагивая бёдрами, шла, как по тонкому льду.

Была оттепель.

Вслед за Никодимовой, немного погодя явился другой балладный персонаж: вышел из проходной и зашагал по трапу

оперуполномоченный, иначе кум, Василий Сидорович Щаюк. И это тоже было каждодневным событием в жизни лагерных обитателей; но знаки переменялись; высоковольтное электрическое поле уполномоченного искрило; лица в окнах исчезли, всё свернулось и спряталось.

Опер, в фуражке с синим околышем, в такой же, как у капитана, как у высших оперативных чинов в Главном управлении лагеря, как у самого Железного Феликса, длинной, путающейся в ногах шинели, маршировал, стуча подковками сапог, и, как всегда при входе в жилую зону, старался приноровиться к своему образу, для которого одиночество, тайна, стук и поскрипывание блестящих сапог, прищуренный взгляд и загадочное посвистывание были так же необходимы, как покачивание бёдрами и особый трусящий шаг для Анюты Никодимовой. Кум Щаюк происходил из Белгородской области, его дед, отец и остальная родня были раскулачены, вывезены и никогда больше не возвращались. Щаюк спасся, ночевал на вокзалах, подворовывал, подался в ремесленное училище, но сбежал и оттуда, поступил на милицейские мотоциклетные курсы, а оттуда был направлен на двухгодичные курсы оперативных работников. И уже после курсов попал в почтовый ящик, на головную станцию, единственную обозначенную на географических картах, в таёжных дебрях и верховьях северо-восточных рек.

Сей ящик, невидимый, как дредноут в игре «морской бой», состоял из Главного управления, комендантского лагпункта, собственной железной дороги, трех лаготделений и полусотни лагпунктов и подкомандировок, где тянуло срок семьдесят или восемьдесят тысяч обитателей; а также из лесов, болот, заброшенных лесоскладов, ледяных речек и забытых в тайге деревенек, умирающих вот уже которое столетие; размеры его владений были в точности неизвестны, ящик медленно расползлся по раскольничьей тайге, оставляя насыпи заброшенных узкоколеек, гниющие штабеля невывезенного леса, полуповаленные куртины, кладбища пней и поля черного праха. Постепенно Василий Сидорович Щаюк пообтёрся. Он был глуп и туп, но развил в себе нюх и за шесть лет работы дослужился от младшего лейтенанта до лейтенанта. На северный лагпункт попал почти в одно время с капитаном. По натуре был мягкий человек и считал, что никому не желает зла.

Уполномоченный сидел за столом в своём кабинете с двойной дверью и вторым выходом, посвистывал, вполголоса напевал «За Сибіром сонце всходить», сладко зевал, не мог заставить себя приняться за дело; тут поскреблись в дверь, кум поднял голову. Вошла Анна Никодимова в голубом, по-весеннему, платье с цветочками и даже каким-то бантиком на груди, с бумагой для подписи и подачи князю. Кум, не вставая, потянулся к бантику, она отвернулась отцепить булавку; несколько времени продолжалась балетная сцена, Анюта отбежала к окну; тихонько хрустнул ключ в замочной скважине; кум моргал Анюте, простирал к ней руки, тишину нарушал смешок, «ну уж нет», — мякнула женщина, с видимой неохотой водрузилась на колени к Василию Сидоровичу; этого, однако, было недостаточно; она стала сползать, оперлась локтями о стол, накренилась, расставила ноги; кум поднялся; тут, между прочим, оказалось — как и ожидалось, — что под голубым платьем ничего нет.

Баба Листратиха, северная Астарта

Примерно в такой же час пробудилась гражданка Елистратова, которой настоящее и вошедшее в историю имя было Листратиха. Баба Листратиха проживала в деревне, на землях лагерного княжества: полтора десятка изб скособоченных, почернелых, с острыми углами крыш; когда и кто их срубил, забылось. Так как никакого княжества официально не существовало, то и деревни вроде бы не должно было быть, — это с одной стороны. С другой, были, как и везде в нашем отечестве, район, райком, райсовет, сельсовет, был колхоз, всё это существовало, по крайней мере, в бумагах областного начальства, сидевшего где-то далеко за лесами. Выходила областная газета, где говорилось об успехах сельского хозяйства, но о почтовом ящике ничего не говорилось: для местного начальства это был некий фантом. Для лагерного же начальства область, в свою очередь, представляла собой нечто формальное и нереальное. Огромное княжество под завесой тайны и неизвестности распространяло вокруг себя дух небытия, и не будет преувеличением предположить, что мы имели дело с единым и неделимым царством теней. Баба Листратиха, однако, не была призраком. Думаю, что я, продолжая этот рассказ, не был неправ, уподобив Листратиху древневосточной богине любви и зачатия.

Сейчас уже не припомнишь, сколько было ей лет или веков, она, как положено небожителям, обреталась в мифическом времени; но в земной действительности успела перешагнуть возраст, именуемый в народе бабьим веком и о котором говорят: баба ягодка опять; не молодая, но и не старая, широкобёдрая, с большой мягкой грудью и мягким животом, с тёмным румянцем на добром крутлом лице, пахнувшая молоком, лесом, влажным влагалищем. У неё были дети, неизвестно от кого, иные выросли и пропали куда-то, и была старая сморщенная бабуся, мастерица вязать на спицах, при случае помогавшая избавиться от беременности.

Вместе с другими Елистратова ходила на подсочку в леспромхоз, на вырученные деньги закупала в сельпо по пять, по десять бутылок. Ближе к вечеру по лесной тропе, в платке и зипуне, неутомимо, неспешно, короткими мерными шагами в рыжих лагерных валенках брела с кошёлкой к посёлку вольнонаёмных, усаживалась отдохнуть на крылечко магазина. Разопревшая от долгой ходьбы, расстёгивалась, сбрасывала на спину платок, причёсывалась гнутым гребнем. За день весь одеколон, поступавший в магазин вольнонаёмных в виду сухого закона, раскупался; и уже совсем в темноте, когда на дверях висела железная перекладина с замком, подходили по одиночке солдаты дивизиона. Баба Листратиха промышляла зелёным змием, служала ещё кое-чем.

Услужала не из корысти, а скорее ради наслаждения, более же всего по доброте и щедрости, из жалости к молодым, стриженным наголо ребятам срочной службы, которым так же, как заключённым, приходилось вставать ни свет ни заря, хлебать баланду в солдатской столовой, под дождём и снегом, с автоматами поперёк груди, спешить по шпалам узкоколейки следом за колонной работяг, мёрзнуть на вышках оцепления, греться у костров. Бывало и так, что воины, по двое, по трое, глубокой ночью, с риском, налетев на патруль, загреметь на губу-гауптвахту, шагали в деревню к Листратихе, в её тёмную избу, в тёплую материнскую глубь. Десять вёрст туда, десять обратно.

Бегство на юг. Начало следствия

Такова — в общем и целом — была экспозиция. Рабочий день начался, но день-то был необычный. Около десяти часов

местного времени в кабинет к оперуполномоченному постучался дневальный и позвал к начальнику лагпункта. Кум одёрнул гимнастёрку, прошагал по коридору конторы, вошёл в комнатку секретарши и, не взглянув на Анюту, скрылся за дверью капитанского кабинета.

Оперативный уполномоченный согласился с предложением князя-начальника пока что не поднимать шума. Для лейтенанта Щаюка случившееся на вахте было, с одной стороны, как и для капитана Ничволоды, неизвестно чем грозящей неприятностью, а с другой — шансом. Заметим, что следствию очень бы помогло, если бы капитан и Щаюк были знакомы с восточной мифологией, а также с Писанием — мы имеем в виду Песнь Песней. Но они, конечно, ничего такого не знали.

Дознание было начато, как положено, с допроса свидетелей. К лейтенанту в зону потащились один за другим отсыпавшийся после дежурства второй вахтёр и солдат-азербайджанец, простоявший в тулупе всю ночь на вышке над вахтой.

Первой мыслью и рабочим предположением был побег, точнее, дезертирство. Странноватая мысль: побег, больше принадлежавшие лагерному фольклору, чем действительности, подобали заключённым, а не надзорсоставу; но, положи руку на сердце, у кого в наших краях не нашлось бы основания рвать когти куда подальше? Сколь богат язык, доставшийся нам от отцов! Сколь обширен ассортимент речений, синонимичных глаголу бежать. От вахтёра уполномоченный узнал и занёс в протокол то же или почти то, что услышал утром князь. Выяснилось, однако, что факт отсутствия Карнаухова был установлен вторым дежурным, лишь когда он встал и вышел наружу, по его выражению, «поссать»; следовательно, дрыхнул и не слышал, когда напарник покинул свой пост. Слышал ли свидетель от первого дежурного высказывания антисоветского характера, в смысле того, что-де надоело и пора кончать, и что хорошо бы куда-нибудь податься, к примеру, на юг? Нет, не слышал, хотя... Хотя что? Кому неохота в тёплые края, пояснил допрашиваемый. Не было ли у Карнаухова бабы в деревне, из тех, что шляются вокруг лагпункта, промышляют водкой и трахаются с солдатами? Ты-то сам, небрежно спросил уполномоченный, небось тоже?.. И неизвестно было, шутит он или всерьёз. Не могу знать, испуганно сказал надзиратель. Уполномоченный посвистывал, скрипел пером. Можете идти, промолвил он, не поднимая головы.

От попки, то есть стрелка на вышке, вовсе ничего прибавить к дознанию не удалось, черножопый по-русски еле ворочал языком. К тому же он, видимо, испугался, поняв, что кто-то сбежал из зоны и придётся отвечать. Видел ли он, как сержант Карнаухов вышел из помещения? Солдат помотал головой. Куда направился Карнаухов? Солдат понял, что его берут на пушку. Потом оказалось, что он всё-таки видел, как надзиратель с крыльца справлял нужду. Кто именно, который из двух? Тут свидетель совершенно потерялся и, даже если понял вопрос, притворился, что не понимает.

Прошёл один день. Продолжение. Письма заочной любви

Назавтра (пропавший так и не объявился) вахтёра вновь потянули к оперу: для проверки вчерашних показаний. Был задан тот же вопрос, выходил ли он сам ночью из помещения. Надзиратель, почуяв ловушку, признался снова, что выходил. С какой целью? Ни с какой; поссать. В котором часу? Не успел он ответить, как кум спросил, словно ударил под дых: кому Карнаухов звонил по телефону? Кум не спрашивал, звонил ли вообще старший дежурный кому-нибудь по телефону: был применён профессиональный приём разведчика — задавать следующий вопрос, не задав предыдущего, с целью огорошить свидетеля догадкой, что следствию всё известно и хотят лишь прощупать. Как будто опер уже знал, что старший дежурный с кем-то там договаривался. На самом деле кум ничего не знал, но вахтёр не знал, что кум не знает. С ужасом вахтёр почувствовал, что подозревают его самого. В чём? Уж не в сговоре ли со сбежавшим?

Звонил, пролепетал вахтёр, на электростанцию.

Ага, крикнул Щаюк, о чём же они говорили?

Свидетель показал, что Карнаухов ругался. Кольцо то и дело тускнело. Кольцом называлось (как мы уже знаем) наружное освещение зоны: цепь лампочек над тремя рядами колючей проволоки поверх высокого тына, фонари через каждые десять метров. С угловых вышек вдоль забора бьют прожектора.

Почему тускнело?

Свидетелю было велено ждать (закуток рядом с кабинетом, дверь выходит на заднее крыльцо), дневального послали за механиком. Личный дневальный оперуполномоченного, аккурат-

ный ладный мужичок лет пятидесяти, исполнял различные обязанности, среди которых уборка и мытьё пола в кабинете — не самые главные. Поганенький старик, само собой, но нельзя отрицать, что есть разница между вульгарным стукачом, каких немало, и доверенным осведомителем. Дневальный много знал, всё видел и умел держать язык за зубами; мрачное мистическое сияние, окружавшее оперуполномоченного, отражалось на нём, как безжизненная планета отражает свет Солнца.

Таинственная тень кума взошла на крыльцо барака, из холодного тамбура свернула в секцию АТП, то есть административно-технического персонала, — койки вместо вагонных нар, — и велела тамошнему дневалюге растолкать механика, спавшего после ночной смены. И тотчас, едва только оба вышли из барака, понеслось по зоне: механика потянули в хитрый домик. Ибо явление мужичка-дневального никогда не бывало случайным.

В кабинете уполномоченный сидел над бумагами. Перелистывание дел в папках с грифом ХВ, что, как известно, значит «хранить вечно», или «Христос воскрес», было главной частью его работы, а на допросах — особым следовательским приёмом. Подследственный должен был понять, что листают его грозящее бог знает чем дело. Под бумагами, однако, лежало письмо. От той, с которой Василий Сидорович романтически переписывался. В письмах он выдавал себя за инженера на большой стройке, вероятно, оборонной, отсюда следовало, что он не может сообщать подробности. Он надорвал конверт и погрузился в разглядыванье фотокарточки: милое курносое лицо. Она была в летнем платье с короткими рукавчиками-фонариками и глубоким вырезом, из которого выглядывала складка груди. Самое привлекательное в ней было то, что она жила на юге, а он всегда мечтал уехать на юг. Она даже намекала, что могла бы, раз он так занят, приехать повидаться. Из прежних писем Щаюк узнал, что она окончила педагогический техникум и «не занята». Это выражение означало, что у неё нет ни мужа, ни ухажёра. Он собирался ответить, что у него тоже никого нет, но приехать к нему пока что невозможно; хотел написать, что по вечерам, усталый после руководящей работы на стройке, курит и думает о ней.

Сзади на обороте фото была дарственная надпись и стихотворение поэта Эдуарда Асадова: «Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверно. Все равно эти строки тебе

от той, которая любит верно». Василий Сидорович перевернул снимок, снова увидел круглое лицо и серёжки в ушах, привлекательную складку в вырезе платья и попробовал представить, как она выглядит вся.

Перекрёстный допрос

Уполномоченный поднял голову. Шапка в руке, телогрейка в лоснящихся пятнах, сумрачный темно-серый лик византийского святителя, — механик весь пропитался машинным маслом.

Механик был изменником Родины, в самом начале войны, под Оршей, дивизия в полном составе попала в окружение. В числе немногих он выжил, вернулся из немецкого лагеря военнопленных, работал по специальности на заводе, в августе 45-го, по примеру других, подделал документы, чтобы не подпасть под репатриацию; был разоблачён и отправлен на приемопередаточный пункт Бебра-Эйзенах, а оттуда этапом на родину.

Первый вопрос кума был: все работают, а механик спит в зоне, это как надо понимать? После смены, мрачно сказал механик. Он соображал, что вопрос задан с понтом, чтобы ослабить бдительность, а заодно намекнуть, какое у него тёпленькое местечко. Такого места можно враз и лишиться, и вообще, бесконвойный со статьёй 58-1, пункт «б», — нарушение режима. Механик знал, что все слова кума — ложь, все вопросы задаются с единственной целью заманить в ловушку, что этому зверью нельзя протягивать мизинец — откусит всю руку. Кроме того, знал, что он незаменимый специалист и чинил проводку в квартире самого князя; и кум это знал.

Так, сказал Щаяк, значит, был в ночной смене, почему плохо работаете?

Работаем, возразил механик.

А вот есть сигнал, что кольцо тухнет. Это что, саботаж?

Какой-такой саботаж; ничего не тухнет.

А это мы сейчас проверим, молвил Василий Сидорович и слегка присвистнул. Из каморки, как пёс на зов хозяина, появился свидетель для перекрестного допроса. Подтверждает ли он своё показание о том, что... Вахтёр испуганно закивал. Кум вперил взгляд в механика. Правильно, сказал механик, звонил надзиратель с вахты.

Который из двух, этот?

Нет, сказал механик, другой. Голос не такой. Ругался. Ага; значит, действительно потухло.

Да не потухло, сказал с досадой механик, если бы потухло, тут такой бы хипеш поднялся. Просто дрова сырые, одна ёлка. Кочегар подтвердит.

Таким образом, было установлено, первое, что старший дежурный покинул вахту после разговора по телефону с электростанцией, и второе, вёл разговор по телефону в присутствии младшего надзирателя с целью замаскировать истинную причину. Лейтенант Щаюк велел подписаться под протоколом, механик побрёл назад в секцию, а кум отправился к капитану.

Он застал у князя секретаршу. Слово «секретарь» одного корня со словом «секретный». Никодимова была не так глупа, как могло показаться, у неё была своя версия пропажи Карнаухова: запил с какой-нибудь бабой из местных, понял, что совершил дезертирство, и теперь скрывается. Капитан Ничволода ничего не сказал. Капитан, как всегда, был нетрезв, но и не пьян. Кум Щаюк вошёл в кабинет в тот момент, когда Анюта, прижимая для виду к груди пустую картонную папку, стояла рядом со стулом начальника. Повела плечиком и не торопясь покинула кабинет.

Капитан Ничволода, с одной стороны, побаивался кума, да и согласно субординации уполномоченный не подчиняется начальнику лагпункта. Отвечать в общем-то придётся капитану, и многое зависит от того, что доложит оперуполномоченный в Оперотдел Главного управления. Но, с другой стороны, ни куму, ни князю не хотелось портить отношений; случалось, и выпивали вместе; подозревалось, что оба мнут секретаршу. Щаюк хотел обсудить с капитаном дело по-свойски, прежде чем давать делу ход. Главное, избежать осложнений свыше. Чего доброго, нагрянет комиссия из управления.

Скрывается, но не здесь, не в округе: вполне можно было себе представить, что, выбрав удобный момент, всё обдумав заранее, надзиратель, которому всё остоёбло, пешком, никем не замеченный, двинул на станцию лагерной железной дороги. До комендантского километров двести, там какая-нибудь баба приготовила штатскую одежду, и сиганули вдвоём на юг. Как математик предпочитает наиболее простое решение задачи, так и уполномоченный принял наименее хлопотное и самое правдоподобное решение.

Загадка прояснилась. Как показало следствие, сержант Карнаузов дезертировал и в настоящее время находится в бегах; подать рапорт в Главное управление, там объявят всесоюзный розыск.

Добре, сказал капитан.

Оракул. Запахло мистикой

Между тем у него имелся на крайний случай собственный метод расследования. Наутро, это был уже третий день, князь дал команду, на разводе выдернули из бригады учётчика, грека из Балаклавы, тянувшего срок за национальное происхождение.

Приведённый нарядчиком, экзотический и огненноглазый, продолговатый и тощий мужик в бушлате самого большого размера и вислозадых ватных штанах сдёрнул со стриженной под ноль головы то, что когда-то было шапкой.

«М-да», — пробормотал капитан Ничволода, оглядев длинного мужика сверху вниз, от лилового черепа до косматых, расрубом книзу валенок «б/у», то бишь бывших в употреблении. Он и сам был, если можно так выразиться, б/у.

«Зачем позвали, знаешь?»

Грек моргал чёрными, как антрацит, глазами, помотал головой.

«А?» — громыхнул капитан.

«Там ошибка, — сказал мужик, показывая на формуляр, лежавший на столе перед князем. — Мы не греки».

«А кто ж вы такие?»

«Мы вавилонцы».

«Чего?» — сощурился князь.

«Вавилон. Было такое царство».

«Угу. И куды ж оно делось?»

Айсор развёл руками, возвёл очи горé.

«Ладно, один хер. Говорю, слышали о тебе, о твоих талантах».

Тощий мужик безмолвствовал.

«Чего молчишь».

«Гр'ын начальник... я что, я ничего...»

«А вот надо, чтобы было чего!»

Халдей решил, что готовится расправа за его искусство; но почуял и другое: в нём нуждаются; проглотил воздух, переступил валенками.

«Вот так», — сказал наставительно капитан.

На всякий случай мужик проговорил:

«Если надо...»

«Надо! — громыхнул капитан. — Едрить твою».

Халдей приободрился:

«Можем попробовать».

Капитан сменил гнев на милость.

«Добре. А ты (нарядчику) иди, работай...»

Нарядчик и так знал, в чём дело. Капитан вызвал Никодимову.

«Сочини ему расписку о неразглашении, пуцай подпишет...» Анюта удалилась.

Было дано лаконичное разъяснение: дескать, то-то и то-то. Халдей ел глазами начальство.

«Пропал, едри его, — добавил капитан. — Ушёл, и с концами. Задача ясна? Куды он делся. Давай: одна нога здесь, другая там».

Учётчик отправился в барак, но не в секцию, а в сушилку, где было тепло и стоял запах как бы поджаренных чёрных сухарей. Сушильщик, обитавший в отдельной каморке, был его соотечественник, по-лагерному «земеля». Поговорили оба на своём наречии.

Халдей стоял перед капитаном, ожидая дальнейших распоряжений; капитан кивнул. Айсор извлёк нечто из глубокого кармана в подкладке бушлата. Это что ж такое, спросил начальник. Айсор объяснил, что карты не игральные. Древние карты, сказал гадатель. Освободили место на столе, капитан Ничволода с любопытством разглядывал солнце с лицом старика, бабу с грудями и рыбьим хвостом, месяц с крючковатым носом, двух сросшихся пацанов, змею с крыльями, похожими на плавники. Гадатель объяснил: вот это зелёные жезлы, это голубые мечи, и так далее. Бог Набу, сын Мардука, сочинитель таблицы судеб, просветил прорицателя. Зашептал что-то, поцеловал карты.

«Ну что там, чего-нибудь видишь?»

Айсор не то кивнул, не то покачал головой, хранил безмолвие.

«Давай, рожай».

«Вот, — сказал айсор и указал на красную масть. — Огонь».

«Чего?»

«Вижу. Огонь вижу», — повторил айсор.

«И всё?»

«Всё», — ответил гадатель, как будто хотел сказать: разве этого недостаточно?

«И больше ничего?»

Гадатель устремил загадочный взгляд в пустоту, развёл руками.

«Та-ак», — грозно сказал князь и уселся, предварительно согнав мужика со стула. Айсор поспешно собирал карты. — «Вот муذاк, так уж муذاк, — задумчиво проговорил капитан. — Предсказатель сраный... Вали отсюда!»

Он вызвал Анюту:

«Гони этого армяшку».

И опять-таки поступил опрометчиво.

**Жизнь как судьба. Обмен мнениями
между мнимым беглецом и механиком.
Семязвержение ненависти. И снова снег.**

Как объяснить, почему люди жили так, а не по-другому, и всё делали для того, чтобы навредить самим себе? Существовало нечто мудро-безрассудное, нечто всесильное превыше начальств и властей, и это безымянное нечто, против которого не попрёшь, с которым ничего не поделаешь, называлось коротким словом: жизнь. Такая, стало быть, жизнь. Отдав должное проницательности оперуполномоченного, следует всё же заметить, что не стоило особо напрягать ум, подозревать сложный проект дезертирства, бегства на тёплый юг или что-нибудь такое, а нужно было взять за жопу (без этих речений здесь, увы, не обойтись) секретаршу. Любопытно, что женский нос Анны Никодимовой, в какой-то мере почуял, откуда дует ветер.

«Бригада аля-улю, — рывкнул, входя в сарай, сержант Карнаухов. — В бур захотели?»

Аля-улю означало всё кроме ударной бригады, а бур, то есть барак усиленного режима, — подсобную тюрьму в зоне.

Механик, с гаечным ключом в руке для виду, — дескать, работаем, стараемся, — показался из-за потного лязгающего агрегата, загромоздившего высокий сарай электростанции.

«Дрова завезли совсем сырые, гр'ын начальник!» — кричал, стараясь перекрыть грохот, механик.

Перед открытой топкой полуголый, оранжевый, лоснящийся потом кочегар в тряпичных рукавицах висел на длинной кочерге, ворочал полутораметровые чурки, рассыпая искры. На часах под двускатным потолком было без пяти три, время, приблизительно совпавшее с показаниями второго дежурного на вахте.

Сержант заглянул за агрегат.

«Так, — сказал удовлетворённо. — Ага-а! А это кто такая?»

Женщина на топчане, — для двоих мало места, разве только друг на друге, — восседала, расставив ноги, без платка, без телогрейки, в старой вязаной кофте, юбке и валенках; от сидения живот у бабы Листратихи выступил вперёд, и широкие бёдра под юбкой казались ещё просторней. Открыв рот, круглыми блестящими глазами она уставилась на дежурного.

Кочегар захлопнул круглую дверцу топки, стоял, опираясь на кочергу. В это время раскрылись низкие воротца, дровокол вкатил по рельсам тележку, груженую дровами.

Сзади машина-Молох не так шумит.

«Ну чего ругаешься, начальник, — сказал механик. — Погреться зашла».

Карнаухов рычал, что завтра же подаст рапорт.

Усмехнувшись, механик спросил:

«Может, самому охота? Мы отойдём».

Сержант стоял, приняв величественный вид, в форменной шапке, в тряпичных погонах на травянисто-зелёном бушлате. Жизнь его, «такая жизнь», с недавних пор обрела, наконец, устойчивость. Его отец был убит на войне. Четырнадцати лет, в школе-семилетке, в городке, где мать работала в конторе «Заготзерно», Карнаухов будто бы участвовал в коллективном изнасиловании девочки из параллельного класса. Суд установил, что он сам ничего не сделал, его отпустили на поруки, но едва лишь он вышел из помещения райсуда, как был жестоко избит компанией во главе с братом девочки, месяц провалялся в больнице, жизнь в городишке стала невыносимой, переехали на Алтай; и дальше его носило с места на место, покуда, отбыв службу в армии, в звании сержанта, Карнаухов не очутился в наших краях, где и сделался сам властью, постиг сладость власти.

Предложение попользоваться женщиной, по-видимому, особенно задело сержанта. «А ну, повтори, — сказал он, прищурившись, — повтори, что ты сказал, блядина. Самому охота... Я тебе покажу охоту, сволочь недорезанная, фашист...» Ничего не ответил темнолицый, как икона, механик, лишь устремил влюблённый взгляд на сержанта.

«Завтра будете разговаривать в другом месте...» — пригрозил Карнаухов, не подозревая о том, что никакого завтра для него уже не существовало. По-прежнему величественный, он оглядел свысока всех, шагнул было к выходу. «Погодь, начальник... — ласково сказал механик. — Мы тебя любим, может, мы, того, по-хорошему?..»

«Ты это брось!» — строго сказал Карнаухов, и сперва было непонятно, имел ли он в виду раболопный тон механика или инструмент в его руке. «Ты чего это, ты чего. Да я пошутил...» — бормотал сержант, пятясь, и почти произвольно схватился сзади за кобуру.

«Ничего, — проскрипел механик. — Пошутил, да?..»

Бывают такие мгновения, начиная с которых люди уже не распоряжаются собой, всем правит и за всё отвечает жизнь. Скажут: судьба! Ибо судьба, античная Ананке, не правда ли, — синоним жизни. Сержант Карнаухов лежал на цементном полу с изумлёнными стеклянными глазами, шапка со звёздочкой валялась рядом, из проломленного виска толчками лилась кровь. Баба Елистратова всё так же сидела на топчане, оцепенелая, зажав ладонью отверстый рот. Механик швырнул на пол тяжёлый гаечный ключ. Кочегар стоял, как каменный, держа, словно копьё, кочергу. Ночь приблизилась к половине, снаружи начался снегопад.

В печи огненной. Вознесение Карнаухова

Тихий, покойный снег кружился в чёрном небе, опускался на посёлок, пожарное депо, магазин, казарму, на огни и вышки зоны, на электростанцию, откуда доносился глухой непрерывный рокот, снег покрыл леса, круглолежневые дороги, кладбища пней и весь лагерный край, о котором никто точно не знал, где его границы.

«Чего стоишь, е-ёна мать. Давай шуруй!» — сказал, точно рыгнул, механик, и кочегар отвернул засов железной дверцы, принялся заталкивать в топку дрова.

Женщине: «А ты вали отсюда. Только чтобы ни-ни! А то самой придётся отвечать. Тебя здесь не было, поняла? Ничего не видела, ничего не знаешь. Поняла?»

Листратиха усердно кивала, не отнимая руки от рта.

«Вот так здорово, не было печали, — задумчиво промолвил механик. — Чего ж мы с ним делать-то будем?»

Воцарилось безмолвие. Дровокол сосредоточенно моргал, стоял перед своей тележкой. Кочегар, жилистый мужик с длинными ручищами и военно-морскими наколками на плечах, ждал перед закрытой топкой.

«Чего сидишь-то, — продолжал механик. — Подотри. И чтоб духу твоего здесь не было...»

Баба Листратиха сползла, наконец, с топчана. Что-то промелькнуло в её глазах. «Туды его», — произнесла она неожиданно спокойно. И показала глазами.

Ответом всё ещё было молчание, лишь один механик вопросительно взглянул на неё. Спихватившись, Листратиха подоткнула юбку, нашла масляную тряпку. Опустившись на колени, оперлась ладонью о цементный пол, где уже засыхала лужа. Тем временем механик зачерпывал короткой кистью из ведра солидол, размазывал по лицу и одежде трупа. Вдвоём с дровоколом подтащили сержанта к бушующему агрегату. Дровокол предложил распилить. Так войдёт, отвечал механик. «Длинный, ети-его...» — с сомнением проговорил механик.

Он обернулся снова на Листратиху, подавшую совет, по-прежнему невозмутимо елозившую тряпкой.

«А это куда?»

«Пригодится». Механик взвесил пистолет на ладони и сунул в карман. Пустую кобуру вместе с жирной тряпкой — в топку.

Кочегар надавил кочергой, длинные полуобгорелые дрова выставились из топки, поехали на пол.

«Легче, ты!» — загремел механик. Кашляя от дыма, кочегар вытягивал руками в рукавицах обугленные чурки. Голова и плечи Карнаухова исчезли в огненной гробнице. «Шапка!» — крикнул механик. Туда же и шапку. Уже пылал зелёный бушлат. Механик, отворачиваясь от жара, швырял в огонь пригоршни мазута, поглядывал на манометр. «Твой рот — едал! Тухнет! Кольцо! — вскричал он. — Сейчас прибегут!»

Вперёд, вперёд, туда, сюда, — ничего не получалось; кочегар пытался вытянуть кочергу, застрявшую в топке. В пламенном чреве Карнаухов горел и превращался в чёрный светящийся остов, длинные ноги в кирзовых сапогах торчали наружу.

«Чего делать будем?»

«Чего... ничего».

«Отпилить их», — подал голос дровокол.

«Яйца себе отпили. Давай!» В багровых отблесках, кряхтя, с благоговейным матом, нажали. Наконец, удалось захлопнуть дверцу, кочегар лязгнул задвижкой. Лицо его скосоротилось, сморщилось от тяжкого смрада, казалось, кочегара сейчас вырвет. Механик пробормотал, тяжело дыша:

«Теперь светлее будет...»

Оба имели в виду кольцо вокруг зоны. Снаружи над сараем, где помещалась электростанция, высокая железная труба на проволочных растяжках изрыгнула густой белый дым, на столбе горела тусклая лампочка. Площадку, усыпанную опилками, запырило снегом, стояли козлы, валялся длинный, как алебарда, колун. Дровокол прыскал из канистры с бензином механику на измазанные солидолом ладони. В чёрном небе, куда вознёсся сержант Карнаухов, не видно было звёзд; стояла, как уже говорилось, оттепель.

Дровокол развалил колуну мёрзлый штабель, взвалил баланы на козлы, волоча кабель, подтащил электропилу «Ваккоп». Дрова были плохие, еловые, придавил их ногой. Пила застрекотала, как пулемёт.

Куда струится время? Эпилог

Куда? Вопрос, на который так же непросто ответить, как решить, глядя на гладь реки, в какую сторону влекутся воды, текут ли они вообще куда-нибудь. Никуда оно не струится.

Сколько лет прошло с тех пор? Что стало со всеми?

Кочегар подпал под амнистию пятьдесят пятого года и умер на воле. С дровоколом приключился несчастный случай, о котором уже шла речь, он стался беззубым, спустя некоторое время был вызван как малосрочник на комиссию по условно-досрочному освобождению, произошло это через два года после того, как до наших мест дошло известие о том, что окошел Великий Ус. Дровоколу выдали справку об освобождении с грифом

«Видом на жительство не является», запрещением прописки в областных городах и разными сведениями для будущего волчьего билета. Дровокол несколько лет подряд, чуть ли не каждую ночь, видел сны, один из которых — предлагаемая поэма.

Но на самом деле, куда девался Ус, неизвестно никому. Первое время кантовался в мавзолее; потом выгнали: выяснилось, что не умер, а усоп на время летаргическим сном. Говорят, живёт где-то.

Листратиха, таёжная Астарта, скончалась после того, как была обработана, в который раз, бабусей, и всю долгую дорогу, сорок вёрст, истекала кровью; привезена в больницу бездыханной. Князь, начальник лагпункта, допился до белой горячки, однажды увидел у себя в кабинете, на полу и подоконнике, мелких зверей, не то мышей, не то насекомых; нечисть лезла из углов, из-под двери, царапалась в окно и соскальзывала со стёкол; капитан стащил с ног сапоги, хотел гнать вон, сидел на столе, стуча зубами от озноба, в комнату вбежала Аня Николаевна. Что произошло дальше, не ведаем.

Судьба айсора-гадателя была удивительной: удалось узнать, что, отбив срок, он вернулся в Балаклаву, нанялся под чужим именем на торговое судно матросом, добрался до Ашшура, пал ниц перед каменным идолом своего бога, благодаря чудесному дару пошёл в гору, к концу жизни был придворным звездочётом царя Ашшурбанипала.

Кум Щаюк получил третью звёздочку на погоны. Дело о неразысканном сержанте, однако, продолжало тлеть, из Оперотдела сыпались запросы, приезжала комиссия. Щаюк подал на увольнение и двинул на юг. Там ждала заочная невеста, но, кажется, не склеилось. Года через два кто-то встретил Василия Сидоровича в рабочем посёлке на Урале; бывший уполномоченный работал завклубом. Ему удалось списаться с известным поэтом, инвалидом Отечественной войны Эдуардом Асадовым, поэт выступал в клубе на обратном пути из Челябинска, было много народу.

О механике известно, что на том свете он вернулся в лагерь, встретил там старого знакомого, сержанта Карнаухова. Бывший сержант схватил червонец за самовольное оставление поста и дезертирство из мест заключения. Ночью на нарах резались стирками, то есть самодельными картами, в стос, Карнаухову не везло: проиграл френчик, шкары, валенки б/у, свою прожжён-

ную у костров телогрейку и пайку на десять дней вперёд. И уже ничего не было жалко, игра пошла по-крупному, проиграл место на нарах, потом секцию, барак со всеми обитателями, под утро, перед самым разводом, проиграл всю потустороннюю зону с вахтой, конторой, столовой, хлеборезкой, с бараками и буром, с попками на вышках, с нарядчиком, с помпобытом, с кумом, секретаршей и покойным начальником лагпункта капитаном Ничволодой.

Князем слава и дружине! Аминь.

Глухой неведомой тайгою

(Мф. 12:43–45)

1

В первые дни ноября, когда праздник с размаху, как грузовик в толпу, врезался в скучные будни, когда утрюмая толпа осаждала магазин для вольнонаёмных, когда досужие зрители, задрав головы, следили, как под крики рабочих вверх по фасаду клуба, раскачиваясь и задевая за карнизы, поднималось на канате огромное усатое лицо, когда повсюду, в столице и на дальних окраинах тайного княжества, как никогда, чувствовалось единое биение обнимавшей всех, высшей и согласной жизни, — в один из этих дней бухгалтерша Анна Никодимова принимала из Управления предпраздничные телефонограммы. Она сидела одна в кабинете начальника, выложив на стол полные груди, прижимала к уху трубку, другой рукой торопливо записывала.

Было одиннадцать часов утра; она вышла с книгой телефонограмм в коридор. Рабочий день был в разгаре, в бухгалтерии безостановочно щёлкали счёты, из комнаты плановиков короткими очередями вёл стрельбу арифмометр, сизый дым тянулся полосами из приоткрытых дверей. Она прошла до конца коридора, где находилась особая, дверь. За дверью была ещё одна, обитая дерматином. Анна Никодимова надавила на ручку.

Без страха вошла она в эту келью, окружённую мрачной и загадочной славой. Хозяин сидел за столом, у него было худое лицо подростка, острые, как у крысы, глаза; подняв голову от бумаг, он улыбнулся бухгалтерше железной улыбкой, скользнул взглядом сверху вниз от пухлой шеи к коротким ногам.

Анька приосанилась. Оперуполномоченный принял книгу телефонограмм, Анька облокотилась рядом — читать вместе, её грудь выдавилась в вырез платья, и стала видна ложбина. Сама собой рука уполномоченного потянулась к бухгалтерше и пошлёпала по заду. Анька хлопнула ладонью по его руке. В течение этой немой сцены блестящие, как серебро, сапоги уполномоченного, ни на минуту не останавливаясь, играли под столом.

Чтение было окончено. Она вышла из кабинета и горделиво понесла по коридору своё маленькое пышное тело.

Из Управления был спущен план мероприятий и особо, под грифом «Секретно», инструкция по усилению режима в праздничные дни. Всё это было известно заранее, повторяясь из года в год. Всё шло само собой. Посёлок украсился флагами. Портрет в еловом обрамлении, написанный местным живописцем много лет назад, лишь подновлялся от случая к случаю, как будто тот, кого он изображал, был неподвластен бегу времени. В магазин привезли бочку пива. В клубе, в махорочных облаках, всем скопом была отсижена торжественная часть.

Тут прослушали в обалделом молчании доклад великого князя. Дружно грохнули аплодисменты, после чего порядок расстроился. Все зевали и блаженно потягивались, солдаты цыкали слюной, перешагивали через скамейки, слышался хохот играющих в тычки и в микитку. С трибуны махал руками начальник культурно-воспитательной части. Скоро все скамьи и табуретки были сдвинуты в сторону, и там, где гремел проспиртованный бас капитана, зашипели и разлились на весь клуб родные и довоенные «Брызги шампанского». С улицы вошли тётки из ближней деревни — они давно уже ждали на крыльце, — мягколицые, большеглазые, в белых платочках, не девки, но и не старухи; переговаривались певучими голосами, робко выстроились у дверей. Парни в зелёных бушлатах с тряпичными погонами — от иных уже веяло выпитым одеколоном — неловко, как по нужде, приблизились к тёткам. Начались танцы.

Офицеры кисло подмигивали друг другу. Пальцем — по кадыку: не пора ли? Время было покидать подопечный личный состав.

Вечер наступил, и в пустом небе над посёлком взошла луна. Ни звука не раздавалось из-за высокого частокола, обвешанного лампочками. Над ярко освещёнными глухими воротами на

вышке, венчающей домик вахты, стоял часовой. Дверь внизу отворилась, вышел дежурный надзиратель и не спеша спустился с крыльца. Издалека, из клуба, доносились слабые звуки патефона, где-то близко повизгивали и ворчали собаки. Дежурный растопырил полы кургузого бушлата, расставил ноги и, брызгая сверкающей струёй, совершил малое дело.

Начальники с разных сторон, с жёнами и по одному, сходились к терему князя. Рысцой бежал начальник культурно-воспитательной части. Степенно шагал командир взвода. Тащился в спецчасть. Загремел внешний засов вахты, спохватившись, дежурный подтянул штаны. С крыльца сходил оперативный уполномоченный, и дежурный поспешно отдал ему честь. Теперь со стороны клуба было слышно залиvistое и отчаянное пение, донёсся скрежет аккордеона. Праздник был в разгаре. А здесь, у ворот, всё было мертво и спокойно. Уполномоченный только что закончил работу. Хрустя серебряными сапогами, прямой и серый в длинной шинели как бы из обветренного металла, он твёрдо промаршировал по дороге, и короткая его тень, пошатываясь, бежала за ним.

2

Шесть пар — капитан Сивый с женой, спецчасть с Анной Никодимовой, начальник КВЧ с толстой и чернявой, нерусского вида супругой, ещё несколько начальников с жёнами, а также единственный считавшийся холостым оперуполномоченный — расселись вокруг стола, испытывая обычное в таких случаях сложное чувство неловкости и возбуждения. Командовала Анька. Налево от себя она поместила мужа, справа водрузился хозяин, великий князь, угрюмо взиравший на гостей из-под косматых навесов. Напротив, глаза в глаза, — опер.

На столе стоял взвод бутылок, чудо этих мест, где сухой закон, декретированный указом из Управления, обрёл на одеколон всю потребляющую дружину.

Устраивались долго, кого-то ждали, чего-то не доставало; то и дело женщины, взмахивая цветастыми платьями, выскакивали из-за стола. Возвращались озабоченные, с блестящими глазами, запихивая платочек под мышку, под тугие резинки коротких рукавов.

Стали наливать.

«Лукерья! — сказал капитан. — Ты что это?»

Она съёжилась под его взглядом. Все смотрели на княжескую чету.

«Всякое даяние есть благо!» — сказал весёлый начальник культурно-воспитательной части.

«Да не стесняйтесь вы, барышня, — Анька вмешалась. — Мы тут все свои... Небось в деревне-то от самогонки не отказывались!»

«Какой самогон — они там московскую глушат», — съязвил кто-то на другом конце стола.

«Ладно!» — отрезал капитан.

И к КВЧ:

«Налей ей наливки».

«Ну-с, хе-хе... с праздничком...» Все потянулись друг к другу с рюмками, забрякали вилками, задвигались челюсти. Стальные зубы капитана врезались в ветчину. Рядом равномерно, неутомимо блестящие ровные зубки Аньки Никодимовой перемалывали краковскую колбасу, кислую капусту, селёдку. Муж, начальник спецчасти, нетрезвый с утра, печально ковырял вилкой в тарелке. Так, в неопределённом полумолчании прошло минут десять, в течение которых успели чокнуться ещё раз. Понемногу обрывки фраз перешли в слитный шум. В светёлке великого князя как будто включили яркий свет. Голоса поднялись на октаву выше. Стало жарко. Офицеры, один за другим, расстёгивали кители. Круглая, обтянутая шёлком нога Аньки Никодимовой — туфля-лодочка свалилась на пол — заклинилась между сапогами уполномоченного.

«Андрей Леонтьич! — Начальник КВЧ, улыбаясь, стоял над ним с бутылкой. — Поскольку вы у нас человек новый, разрешите ваш бокальчик! У нас по-простому, все мы одна семья. Вот и таищ капитан тоже...»

Чей-то голос пояснил:

«Своя кобыла, хошь мила, хошь немила».

«Эн, как вы меня расписали, лейтенант дорогой, — лениво-небрежно говорил оперативный уполномоченный, развалился на стуле; в это время рука его под столом искала дотянуться до Анькиной ноги. — Вас послушаешь, я не человек, а ворон хищный. Падалью питаюсь... Согласитесь, другой на моём месте был бы куда хуже... Наша работа знаете, какая? Да я, если на то пошло... я на любого из присутствующих дело могу оформить... Хоть завтра!»

Нога увернулась и шарила туфлю под столом. Опер презрительно цыкнул в сторону.

«Небось у каждого рыльце в пушку!»

«Вы это, простите, кого имеете в виду?» — спросил осторожно КВЧ.

«Да хоть тебя!»

«Ну, это, знаете, — проговорил КВЧ, улыбаясь вымученной улыбкой, — это... знаете...»

«Мальчики, ну что это! — капризно сказала бухгалтерша. — Занялись там своими разговорами, а девушки скучают!»

«Девушки плачут, девушкам сегодня грустно. Ми-илый на́долго уехал. Эх да, милый в армию уехал! — запел, оправившись, начальник КВЧ, балетным шагом обогнул стол и приблизился к Аньке. — Позвольте вас на тур вальса!» Она поспешно совывала ногу в туфлю.

Кто-то уже крутил ручку патефона, точно заводил грузовик. Лейтенант КВЧ победоносно обхватил свою даму. Уполномоченный равнодушно закурил.. Трра, та-та! — заиграла музыка, оркестр исполнял «Брызги шампанского», и первая пара, качая, как коромыслом, сцеплёнными руками, побежала в угол. Там остановились, лейтенант вильнул бёдрами, ловко развернул Аньку и бегом назад.

«Новый год, порядки новые. Колочей проволокой лагерь обнесён. Кругом глядят на нас глаза суровые!» — пел КВЧ. Из угла краснолицая супруга сурово поглядывала на него.

Составились новые пары. На столе среди грязных тарелок спал начальник спецчасти.

Чей-то голос послышался: «Нет уж!»

С танго перешли на фокстрот.

«Нет уж, извини-подвинься! А раз виноват, так и отвечай за это. Так тебе и надо, едрить твою мать!»

«Виноваты, — сказал начальник лагпункта, и крепкий, проспиртованный бас его перекрыл все звуки. Капитан Сивый сидел за столом, лицо и шея его были красны. Под густыми бровями не видно было глаз. — ...говоришь, виноваты? Вон сейчас, — он повёл бровями в сторону окна, — выпусти всех, а вместо них сам садись со своей шоблой. Думаешь, разница будет? Виноваты, — повторил он. — Работать надо, лес пи-лить — вот и виноваты».

Капитан искал что-то глазами, не обращая внимания на сидевшего напротив уполномоченного, который спокойно слушал его.

«Ладно, — сказал князь. — Развели тут философию... Вон мою дуру приглашай. Луша! Ты б потанцевала, что ли».

Он нашёл пустой стакан, выплеснул остатки на дне и, налив себе три четверти, выпил. Брови полезли наверх, придав лицу капитана выражение неслыханного удивления. Из выпученных склеротических глаз выступили слёзы. Капитан набычился и грозно прочистил горло. Втянул воздух волосатыми ноздрями и зашел:

«Глухой, неведомой тайгою! Сибирской дальней стороной!»

Хор подхватил:

«Бежал бродяга с Сахали-и-ина!..» — так что патефон потонул в грохоте шквала. Пронзительно, как свист ветра, заголосили женщины.

Капитан встал. В упор, налитыми кровью глазами, взглянул на уполномоченного, точно впервые увидел его. Тот сидел, отодвинувшись от стола, нога за ногу, поигрывая носком сапога.

Хор умолк. Капитан налил полный стакан. Глядя на него, налили подчинённые.

«За здоровье... — он оглядел всех. — За здоровье таища!..» — рявкнул капитан. Он назвал имя того, за которого выпивала сегодня вся страна, и молниеносно, могучим жестом опрокинул всё в рот. Стаканом — крепко об стол. Озабоченно, нюхая волосатый кулак, обежал глазами стол, нашёл селёдку. Вилкой — тык! Сел, жуя.

Напряжение спало. Кто-то добродушно корил соседа: «Э, нет, Васильич, давай до дна. Такой гост!»

«Вась, а Вась, — сказал КВЧ. — Васюня... Выдай-ка для души».

Патефону отвернули шею, и командир взвода, тот, который командовал шоблой, с задумчивым видом уселся с гармонью у стены. Он склонил голову набок, инструмент издал жалобный жестяной звук, пискнули верхние регистры. Командир взвода, согнутый над мехами, тряс вихром и топотал сапогами.

«Едрить твою!»

Анька Никодимова, бухгалтерша, с места рванула чечётку. Цыганочка чёрная, цыганочка чёрная, эх, эх, погадай! Едва дыша, она встряхнула короткими волосами, обожгла мужиков

всплеском полных грудей, мелко, дробно застучала литыми ножками. Под платьем мелькала её комбинация. Так, мелко перебирая ногами, Анька подъехала к уполномоченному, развела руками и, плеснув в ладоши, грохнула каблучную дробь. Опер встал, тоже развёл руками, выпятил грудь и пошёл на Аньку.

«Лушка!» — прохрипел капитан, не спуская с бухгалтерши выпученных глаз, и притянул к себе щупленькую жену. Гармонь заливалась, как сумасшедшая. Начальник культвоспитательной части, в расстёгнутом кителе, пошёл вприсядку. Подле него, загнув кренделем руку, тряслась чернобровая супруга.

3

Осенью 1951 года рабочее время уже было ограничено законным пределом, и конец работы — съём — был такой же священной минутой, таким же долгожданным событием каждодневной жизни, каким он всегда был и останется для большинства людей на свете.

Рабочий день кончился. Теперь все спешили. Мешок времени, который они тащили на плечах весь бесконечно тянувшийся день, прорвался, посыпались минуты, только теперь это было не казённое, тягостное, никому не нужное, но своё кровное время, и каждая минута была необыкновенно дорога. Все торопились: и рабочие, и те, кто их сопровождал, и незачем было кричать им: «Шире шаг!» и «Не растягивайся», — они, эти работы, сами гнали перед собой тех, кто их вёл. Положенное предупреждение было пролаяно наспех, до задних рядов донеслись обрывки тарабарщины: пытку к обеду, вой меняет уши... — на самом деле говорилось, что при попытке к побегу конвой применяет оружие. Никто и не собирался бежать. Никто не слушал, торжественность этой формулы выдохлась от ежедневного повторения; головы людей были низко опущены не оттого, что всех удручало зловещее напутствие, а потому, что надо было смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на шпалах, не отстать от соседа и не налететь на идущего впереди. В сумерках уходящего дня колонна семенила домой из рабочего оцепления, по насыпи лагерной узкоколейки, издали напоминая полчище крыс, спасающихся от потопа.

Рабочий день кончился, и теперь, когда они шагали, понурившись, все вместе, командиры производства и бригадная

рвань, — теперь они были равны между собой, в любого из них голос с лающими интонациями мог безнаказанно швырнуть бранный мат, и команда ложиться, если бы она раздалась, и команда «Пошёл!» не сделали бы исключения для самых высокопоставленных. И хотя это редко случалось во время вечернего марша, когда и конвой дорожил каждой минутой — поскорей вернуться в казарму, — сама возможность расправы, одинаковая для всех, объединяла людей.

Единая мысль и общее желание вели вперёд колонну, и такова была сила этой толпы, что последние ряды влеклись уже как бы невольно, и замыкающая пара конвоиров, путаясь в полах шинелей и тоже глядя вниз, с повисшими книзу дулами автоматов, почти бежала следом за равномерно покачивающимся и неудержимо уходящим вперёд строем серых бушлатов.

В толпе царило усталое возбуждение — подобие радости. Позади был день, проведённый в трясине снега, воды и грязи, и тем ощутимей было блаженство вольного шлёпанья разбухшими валенками по твёрдой дороге. Короткие реплики, лапидарный мат, ухмылки, мелькавшие на кирпичных от загара лицах, выражали меру благодушия, на которую ещё были способны эти иззябшие души, выражали готовность потерпеть и прошагать сколько надо (ведь идти — не работать), пока, наконец, не покажется вдали вожделенная зона, ограждённая тыном, охраняемая рядами колючей проволоки, прожекторами и часовыми на вышках. Пока их снова не пересчитают и не впустят в ворота.

В этом предвкушении, изнеможённые, они были расположены к необычным надеждам. Фантастические слухи волновали толпу, обрывки мифологических известий, слухи об отмене уголовного кодекса, о болезни Вождя, наплывали волнами, как запах гари; вдруг охватывало предчувствие чего-то ещё не опубликованного, но — верные люди рассказывали, и сладкая дрожь пробегала по рядам, ждали знамения, чуда. То вдруг узнавали, что вышел приказ — не рубить больше лес. То шла молва о войне и скором приходе американцев. То об амнистии.

Но лес по-прежнему падал под пулемётное стрекотанье электропил — и завтра, и послезавтра, и всё также высились штабеля на складе, и грузились составы. Вождь был здоров и не старел, судя по портретам. Война тлела где-то далеко и не сулила избавления.

Они грезили — глухо, упорно — о возмездии. Мечтали: загремит засов, распадутся ворота, и толпа, объятая злобной радостью, выбежит из постылой зоны и забросает псарню и всё начальство сухим окаменевшим говном. Ведь должен же был кто-то ответить за «всё это».

Но кто был в этом виноват?

Однажды случилось — подломились доски в отхожем месте, и человек упал в яму. Он упал и барахтался там, покуда не собралась толпа. Задыхающегося, ооченевшего подбадривали:

«Не тушуйся, Рюха, небось не привыкать. Гребни к берегу!»

Другие были восхищены:

«Сука! И не тонет!»

Выломали длинную лежню из лежнёвки, проложенной для подъезда золотарю позади выгреба, сунули в пролом, несчастный вылез со зверскими ругательствами. Он стоял посреди образовавшейся вокруг пустоты, развесив руки, и на чём свет стоит поносил суку-помпобыта.

Но помощник по быту был не виноват, сколько раз он докладывал капитану, что помост сгнил.

А капитан? Он тоже был ни при чём: сверху спущен был приказ перебросить бригаду плотников в другое место, а кроме них никто не имел права входить в зону с гвоздями и топорами.

Высшее же руководство тем более не могло отвечать за случившееся, слишком уж было оно высоко; и было частью сложного механизма, и вращалось вместе с ним. Итак, чем дальше, тем очевидней становилось, что ни один начальник, вообще никто, в отдельности не виноват. Везде и во всём зло и насилие носили характер почти сверхъестественный, анонимный и неподвластный людям, хоть и были строго организованы. Конус уходил ввысь, к облакам, на его вершине восседал Вождь. Но разве мог он отвечать за подгнившие доски?

Было уже совсем темно. В сиянии тусклых лампочек, висевших над частоколом и вахтой, ни стояли перед раскрытыми настежь воротами. Со злобой и завистью смотрели на музыкантов, исполнявших марш военно-воздушных сил: «Всё выше, и выше, и выше», с детства знакомый, жестяной мотив. Их всё ещё пересчитывали, без чего невозможно было войти в зону.

Но это были последние минуты. И когда, теснясь и толкаясь, и крича прорвавшимся вперёд, чтобы заняли местечко, люди побежали мимо спальных барачков к столовой и впахнулись

в полутёмный зал, когда пролезли между скамьями и уселись за длинными, пахнущими кислой тряпкой столами, плечо в плечо, шапка между коленями, — настал конец их равноправия. В парном тумане могучие краснорожие подавальщики несли подносы с четырьмя этажами оловянных мисок с баландой в дальние углы, откуда сорок голосов орала им номер бригады. Доверенные старосты получали в окошке пайки хлеба. Тогда вступил в действие закон лагеря, по которому блага жизни отмеряют в точном соответствии с сословным положением. Кому положена была глыба, кому кирпичик.

Никто не возмущался. Никого не удивляло, что помбригадира, который весь день ходил да покрикивал, и учётчик, чиркавший карандашиком, время от времени макая в рот, на торцах окорённых и распиленных брёвен, и производственный художник, малевавший лозунги, загребают полные ложки густой жирной жижи, а тот, кто работал, упирался рогами, по местному выражению, вылавливает картошинки из зелёной воды. Никто не находил странного в том, что бригадира теперь вовсе не было среди них. Бригадир сидел в тёплой кабинке с мастером леса, нарядчиком и помбытом, и все трое ели жареное и журчащее с большой чугунной сковороды. Не то чтобы власть и авторитет давали им право есть жареное — наоборот: авторитет их был основан на том, что они сидели в тепле и ели жареное.

Зычный голос раздался из раздаточной амбразуры, староста сорвался с места и воротился с миской жёлтых и оклизлых килек. Он протискивался между рядами и клал щепотью на стол перед каждым кучки тускло-ржавых рыбок. Староста знал точно, кто из сидящих человек, а кто — букашка, кому полной горстью, а кому пальцами. Люди с наслаждением жевали и глотали кильки с головами и хвостиками. Зубами утопали, как в глине, в хлебном мякише; в хлеборезке, в укромном углу позади стола с весами и гирьками и ящичками с ножами и нарубленными палочками для насаживания довесков хлеборез поливал буханки водой, чтобы они весили тяжелей.

Доставали ложки: из-за пазухи, из валенка, из ветхих ватных штанов; у кого была алюминиевая, у кого деревянная, у кого и самодельная, — железные обломки, насаженные на деревянные ручки, диковинные орудия, не помещавшиеся во рту, или слишком маленькие, которые могли бы поместиться в ноздре. Склонившись над столами, все молча ширкали ложками —

длинный ряд согбленных спин. У иных не было вовсе орудий еды — ложки крали, как и всё прочее, — и они пили, обжигаясь, через край, догребали обмылки картошки хлебной коркой. Потом поднимали почернелый оловянный сосуд и, закрыв лицо, как близорукий держит книжку, сопя и задыхаясь, страстно высасывали остатки.

И всё же они не были самыми низкими на общественной лестнице. Вдоль стен стояли мисколизы, мрачными провалившимися глазами смотревшие на едоков. Ждали, когда подадут второе блюдо. Здесь была своя конкуренция, от одного привилегированного могло остаться больше, чем от всего стола рядовых работяг; от тех-то ничего не оставалось. Миски, измазанные кашей, рвали друг у друга из рук.

Сытые и довольные, выбирались из-за столов, близились блаженные минуты — их ожидал ночлег; бригада сидела на полу, перед печкой и между нарами; кряхтя, стаскивали с ног рыжие эрзац-валенки, тесные в голенищах и растоптанные внизу, с загнутыми, как полозья, носками, разматывали сырые портянки, ковыряли завязки ватных штанов. Занималась очередь за окурком.

«Ты! Покурим».

«Покурим, морда...»

«Корзубый, покурим!»

Так дымный чинарик, кочуя из уст в уста, превращался в ничто между пальцами, в искру, угасшую на потрескавшихся и обросших шелухой губах. Покурив, выпрастывались из набухших портов, оставлявших лиловые пятна на подштанниках сзади и на коленках. Старик дневальный, нацепив груды одежды на коромысло, собрался нести их в сушилку.

В это время в репродукторе, висевшем на столбе барака, раздался звук, похожий на хруст разрываемой бумаги. Кто-то дунул в микрофон, и на всю секцию разнёсся голос начальника культурно-воспитательной части. Стараясь подражать обыкновенному радио, ежедневно гремевшему о трудовых подвигах по всей стране, КВЧ говорил так, словно обитатели бараков были обыкновенные рабочие и работали в обыкновенном лесу, и поэтому возникало подозрение, что обыкновенное радио на самом деле говорит о заключённых. Разумеется, никто не слушал. Все жались к печке, к её тёплому брюху. Несколько человек сидели на корточках перед дверцей, протянув ладони, уст-

ремив глаза на огонь. На одну короткую минуту все почувствовали себя одной семьёй. Начальник умолк, и жестяный оркестр, сидевший там наготове, грянул «Всё выше». Внезапно, заглушая радио, в сениях загремели сапоги. Люди вскочили и выстроились на вечернюю поверку.

Поздно ночью один дневальный сидел за столом, повесив голову, под тусклой лампочкой, окружённой туманом. В углу за печкой старик Корзубый на нарах, поджав чёрные ступни, играл с кем-то в рамс самодельными картами, которые стоили две пайки хлеба. Корзубый был совсем без зубов, с седой бородой: хотя на голове иметь волосы было не положено, о бороде в лагерных инструкциях ничего не говорилось. Игроки молчали, слышалось шмыганье носом и скрип нар. Потом храп спящих, усиливаясь, как непогода, заглушил все звуки.

4

И тогда на краю болот, занесённых осенними снегами, появился Беглец.

Лагерный эпос знал свои блуждающие сюжеты и свои вечные образы. Доходяга-пеллагрик, герой анекдотов, прозрачный и шелестящий, как крылышко стрекозы. И неунывающий Яшка-бесконвойник, таёжный Ходжа Насреддин. И начальник-джинн. И герой-производственник, Голиаф с формуляром, — он толкал составы, носил на плечах деревья, своими руками, когтями вырыл в земле Волго-Дон. Но ни один герой не был так живуч, ни одно сказание не возобновлялось с таким постоянством, как это.

Никто не сомневался, что Беглец существует на самом деле. Одинокая фигура, бредущая, как мираж, раздвигая колючий подлесок, — стреляй в него, трави его собаками, гоняйся за ним, он всё ещё маячит вдалеке, и всегда находились очевидцы, уверявшие, что видели его своими глазами. Вот как от меня до того поля. Или хотя бы слышавшие, но уж от несомненных свидетелей. То был некто без имени, без возраста, не то чтобы уж очень молодой, но и не старый, вот как ты, только чуток повыше, жопа вислая, идёт-оглядывается; некто не слышащий окриков и, как утверждали, неуязвимый для пуль. Рассказывали: ночью следил из чащи, как вели на станцию погрузколонну. Рассказывали: однажды солдат-азербайджанец, в морозную полночь дремавший на вышке, открыв глаза, увидел его совсем близко; стало быть, и псарня верила в Беглеца. Опомнившись, попка с вышки

дал очередь — человек-волк повернулся и побежал, и следов крови не оставил. И так, вновь и вновь легенда оживала под видом события, происшедшего недавно и недалеко от нас. Слухи, сочившиеся, как почвенные воды, питали её. Всё рассасывалось в студнеобразном времени: сенсационные параши, вести о групповом побеге с концами, во главе с каким-то бывшим майром и Героем Советского Союза, рассказы о целом транспорте заключённых, ушедшем в Японию, о восстании на Севере, подавленном с самолётов, — но при этом успели смыться несколько сот человек; всё тонуло в мёртвой зыби вседневного существования, исчезало из памяти, окутывалось непоницаемой секретностью, — а лживая басня, дивное видение тлело в сердцах, поднималось из сумрачных глубин мозга и торжествовало над правдой, рассыпавшейся в прах.

Но начальство знало, что ни одного неразысканного не числилось, по крайней мере, в нашей округе. Понимало, что, открой сейчас ворота — побежит не каждый. Потому что бежать некуда. И, однако, удивительным в этом предании было не, что Беглец остался не пойман, что никто, увидев, не донёс на него и, неопознанный, он ускользнул и от местного, и от областного, и от всесоюзного розыска, профильтровался сквозь все фильтры и при этом даже лагерного тряпья не сменил. Нет, удивительным и непостижимым было то, что он вернулся. Он вернулся, но не с простреленными ногами, не изорванный овчарками и не исполосованный до полусмерти. Он вернулся сам. И каждый из тех, кто день за днём, разбуженный зычным матом нарядчика, сползал с нар и садился на пол обматывать ноги портянками, кто пил баланду в выстуженной за ночь столовой и влёкся в крысиной толпе по шпалам узкоколейки в рабочее оцепление, — каждый с тоской думал о том, что даже тот вернулся в страну Лимонию, кого никто не поймал. Очевидно, что тут скрывалась некоторая мораль, а то и мудрость. Быть может, она и была единственной правдой.

Беглец вышел из леса. Перед ним лагерь скорби вознёсся в кольцо огней, обнесённый глухим частоколом и рядами колючей проволоки. Не видно было никого, и никого не слышно. С угловой вышки бил по запретной полосе прожектор. Поодаль, в стороне, мерцали редкие огоньки посёлка вольнонаёмных. Он прошёл два-три шага и провалился в снег. Осмотрелся полным тоски взглядом. Лагерь, сияющий огнями, был мёртв — ни единого звука не доносилось из зоны.

В это время оперативный уполномоченный, в звании старшего лейтенанта, сидел в своём кабинете, в конце длинного, теперь уже тёмного коридора конторы. Ночное бдение придавало особую значительность его трудам. Уполномоченный был занят тем, чем обычно бывает занято начальство, — перелистыванием бумаг. Но, как известно, он не был обычным начальством. Посетитель, когда входил и садился в углу на особый стул, испытывал, при виде папок с делами и нависших над ними золотых погон, сосущее чувство беспомощности, одиночества и мистической вины.

Сам великий князь не вызывал таких чувств. Длинная, по моде, сохранившейся со времён Дзержинского, шинель капитана Сивого, возвышаясь по утрам на крыльце вахты, откуда начальник лагпункта, как полководец, следил за выступлением своего войска, внушала трепет, но и симпатию. Народная молва передавала рассказ о том, как однажды, накануне праздника, капитан распустил из кондея всех сидевших там. А у кума в зонной тюрьме был устроен род образцового хозяйства, подследственные сидели по камерам в тонко продуманных сочетаниях. Капитан разогнал всех. Утверждали, что доходягам-отказчикам, недостаточно быстро выбиравшимся из узилища, досталось ещё и пинком под зад. Воображение людей пленялось этим свирепым великодушием. Безумный взгляд слезящихся оловянных глаз и алкогольный юмор великого князя заключали в себе нечто родное. Самое имя капитана звучало как лагерная кликуха. И возникло странное единение начальника и народа перед лицом тайной власти оперуполномоченного.

Капитан был, при всей жестокости, то, что называлось человек. Опер походил на оживший плакат: пустое мальчишеское лицо, белёсые волосы. И не было у него ни имени, ни фамилии, а только чин и прозвище, и оно, это прозвище — кум — означало существо и родственно близкое, и нечто иное и высшее, нежели обычное человеческое существо. Ибо это был дух, который мог сидеть за столом, читать донесения и писать протоколы, а мог и летать в ночи, распластав когтистые крылья.

На стене ровно и безостановочно постукивали часы. Чёрно-серебряные сапоги уполномоченного поигрывали под столом. Прошёл уже целый час после того, как он сверил установочные

данные: фамилию, имя, год рождения, номер статьи и срок. В углу на стуле сидел Степан Гривнин, сучкожог, судя по обгорелой вате, торчащей из дыр его бушлата, и медленно погружался в свой стул. Ошеломление первых минут прошло — в тепле и тишине, под брызжущим светом, преступник оцепенел, как жук, уставший дёргаться на булавке. Всё ещё было неясно, зачем его вызвали.

Гривнин не принадлежал ни к одному из лагерных сословий, следовательно, служил примером тех, кто составлял лагерное большинство: одиноких, от всего оторванных и чуждых друг другу людей. Гривнин не был ни блатным, ни полуцветным, ни варягом, ни шоблой, ни духариком; не шестерил ни вельможам, ни вóрам — для этого он был слишком туп, мрачно-замкнут и не мог рассчитывать на покровительство. Он был просто мужик — в лагерном и в обыкновенном смысле этого слова: нагой и босой в своём прожжённом одеянии, вислозадых ватных штанах и разрушенных валенках, козявка, человек-нуль, ходячий позвоночник, и они могли делать с ним всё что хотели.

Кто — они? Безжизненное железо, безымянное высшее начальство, те, для кого даже капитан, даже кум были только исполнителями, шавками. При мысли о высших силах в сознании брезжили не лица и не голоса, а лишь ряды блестящих пуговиц, фуражки и столы, над которыми они возвышались. Этому начальству, чтобы повелевать, не нужно было показываться на людях, в своих дворцах они сидели и молча кивали лакированными козырьками, и одного такого кивка было достаточно.

Степан Гривнин не помнил за собой ничего такого, что он согласился бы считать преступлением, но он знал, что перед этой чудовищной властью виноваты все. В тюрьме он как-то сразу удостоверился, что всё, что с ним происходит — обман. Настоящее, действительное дело, в котором была записана его судьба, вершилось где-то в глубокой тайне, на других этажах, и в этом деле стояло: работать. Горбить, втыкать, вкалывать, ишачить; а то, что происходило здесь, допросы и протоколы, было просто видимостью дела. Все они: и следователи, и начальники следственных отделов, и начальники начальников, и прокурор, и вся собачня, да и сами арестанты, были участниками одного представления, вроде актёров в театре, и было бы странно, если бы кто-нибудь заартачился. Для чего-то им всё это было нужно; должны же они чем-то заниматься. Но цель была

одна — заставить его работать. Вол, обречённый всю жизнь работать — вот чем он был для них, и на лбу у него было написано: «Упирается рогами». Но им, сколько ни работай, всё мало. Потому-то и придуманы тюрьмы, и следователи, и столыпинские вагоны, и лагеря; а какую тебе пришьют статью, не имеет значения. Так или примерно так думал Гривнин.

Раздался скрип — уполномоченный писал, навалившись мундиром на стол, — носки сапог задрались и замерли в ожидании. Он писал заключение по рапорту командира взвода, вовсе не касавшемуся осоловелого сидельца, о том, что бабы из деревни тайком носят стрелкам самогон.

Тот, в углу, почти спал, угревшись в светлом кабинете под стук часов, и даже видел во сне уполномоченного, который хлопал себя по синим штанам и обводил озабоченным взором стол — искал спички. «М-да...» — промолвил уполномоченный. Гривнин открыл глаза. Кум стоял перед ним, закинув голову. Прищурился, пустил вверх струю и следил за ней, пока дым не рассеялся.

«М-да. Вот так, брат Гривнин».

Произнося это, оперативный уполномоченный сгребал со стола документы, завязывал тесёмки папок. Сел боком к столу, нога на ногу, постукал папироску над пепельницей.

«Так, говоришь, зачем вызывали?»

(Ничего такого Гривнин не говорил.)

«Ты на помилование не подавал?»

(Нет.)

«Странно. — Уполномоченный задумчиво курил. Потом взял со стола чистый лист, твёрдо зная, что оттуда, со стула, ничего увидеть невозможно. — Вот тут запрос на тебя поступил... Надо на тебя характеристику писать. А какую? Дай, думаю, посмотрю на него, кто он такой...»

Он приблизился, тряхнул пачкой «Беломора»:

«Кури».

Себе взял новую папиросу. Затянулись оба.

Скорчившись на своём стуле, оборванец сумрачно взирал на старшего лейтенанта. Он не мог подавить в себе тяжёлого, тревожащего недоверия к этим погоням, золотым пуговицам, тускло поблескивающим волосам с пробором, к этой хищной усмешке. Он ничего не понимал. Но, как собака по интонациям голоса улавливает смысл речи, он догадывался, что тут не угроза, а что-

то другое. Он знал по опыту, что у «них» ласка бывает хуже ругани. От него чего-то хотели. Гривнин ненавидел дружеские разговоры. Доверительный тон мучительно настораживал. В любом проявлении человеческого участия был скрыт подвох. Любая симпатия была заминирована. Это был закон лагеря.

Но час был поздний. Тепло и тишина действовали одуряюще. Истома сковала Гривнина. И в этом безволии, как в гипнотическом сне, дурацкая, бессмысленная надежда поселилась в убогом мозгу пленника — что ничего не будет. Старший лейтенант, заваленный делами, уставший от долгого бдения, не станет ковырять — поговорит-поговорит и отпустит.

«Посылки из дому получаешь? — спросил кум. — Сало-масло, м-м?»

(Что он, придуривается? Посылки запрещены.)

«Могу разрешить».

(Пустое. У Гривнина всё равно никого не было.)

Помолчали.

«Э, брат Гривенник, не тужи, — снова заговорил уполномоченный. — Мало ли ещё как обернётся. Сегодня ты с формуляром, а завтра, может, и руки не подашь. Как говорится, кто был никем, тот станет всем... Тут, брат, такие события назревают... Ждём больших перемен. Ну, понятно, провести реорганизацию не так просто. Всё будет учитываться: поведение, отзывы. На каждого — подробная характеристика. Писанины одной — фи-у! М-да. Думаю, тебя включить. Ты как, не возражаешь? Небось, по бабе-то соскучился, а? Ух, по глазам вижу...»

Уполномоченный весь сморщился, точно хлопнул стопку, и покачал головой. Этот монолог сменился долгим молчанием, в голубом дыму витала железная усмешка старшего лейтенанта, подскакивал его сапог, пальцы разминали окурочек в пепельнице. На стене, как сумасшедшие, колотились часы.

«Ну вот что, Стёпа, — сказал уполномоченный строгим голосом, кладя ладони на стол, — ты человек грамотный, долго объяснять тебе не буду... Хочешь жить со мной в дружбе — давай. Не хочешь — как хочешь. Твоё дело. Мы никого силком не тянем. Желающих с нами работать сколько угодно, только сви-стни».

(Уж это верно.)

«Я тебе помогу. На общих работах не будешь. Дам отдохнуть... Я так считаю, что ты для родины не погибший человек.

Между прочим, мне лично не нужно твоих услуг, я и так всё знаю. А вот для тебя самого это важно, понял? Доказать надо, что ты, как говорится, заслуживаешь снисхождения».

«Твои уши — мои уши, твои глаза — мои глаза, понял? — продолжал уполномоченный. — Сюда ходить не надо, будешь писать записки и передавать...»

Он сказал — кому.

«А вздумаешь болтать, — подмигнул, — яйца отрежу!»

Кум наклонился и выдвинул нижний ящик стола.

«Ладно, заболтался я с тобой... На-ка вот, подпиши... — Это была подписка о неразглашении, узкий печатный бланк. Уполномоченный рассмеялся. — Да ты что, это же ерунда, формальность. Положено!»

Напоследок была подарена ещё одна папироса «Беломор». Ночной посетитель выбрался наружу через заднее крыльцо, топясь и озираясь, но никто его не увидел. В пустом небе стояла одинокая сверкающая луна. Цепь огней опоясала зону.

Гривнин вошёл в секцию, не разбудив дремавшего за столом дневального, и прокрался в угол. Там, на верхних нарах, задрав бороду к потолку, храпел дед Корзубый на куче тряпья, которое он выиграл в эту ночь.

6

Перед войной в деревне, откуда капитан взял себе жену, жил колхозник по имени Фёдор Сапрыкин. Все жители деревни носили одну и ту же фамилию. Все мужики были мобилизованы в один день.

На трёх телегах поместилось всё войско. Тогда оторвали от себя простоволосых плачущих женщин и весь день, с поникшими хмельными головами, тряслись по лесным колдобинам до ближайшего сельсовета. Потом те же чавкающие по болотной жиже копыта потащили их в районный военкомат, и позади них тархтел теперь уже по мощёной дороге целый обоз мобилизованных. Никто из них не вернулся.

Но не прошло и трёх лет, как явились другие — в накомарниках, с примкнутыми штыками, волоча усталых и отощавших собак. Разбившись на кучки возле костров, они со всех сторон окружили болото, где по щиколотку в воде стояла первая партия заключённых. Баб, пробиравшихся домой мимо трясины, отго-

няли ружейными выстрелами; вышло разъяснение: строится-де большая стройка, сведений не разглашать, близко к вышкам не походить, за нарушение — поголовная ответственность.

Новые партии прибывали издалека. В тайге трещали падающие деревья, мерцали огни костров. По свежей гати начали пробиваться грузовики. Взошло тусклое кривобокое солнце, и на открывшейся заблестевшей равнине узкой грядкой между кюветами, залитыми водой, протянулась насыпь узкоколейки. Первый свисток изумил слух. Вокруг расстиралось кладбище пней, это было всё, что оставалось от вековой чащи, а поодаль находилось кладбище людей.

Комары тучей кружились над грубо сколоченными раскоряками-вышками, где стояли, как в клетках, с оружием наперевес, стрелки внутренней службы, довольные тем, что их не погнали на фронт. Мошкá облепляла солдат на подножках вновь и вновь подходивших составов; издалека, за сотни вёрст дотянулась досюда главная железная дорога — подобно хищному агрессивному государству, лагерь раздвигал свои владения, покоря местные племена. В центре трясины, в десяти верстах от деревни, окружённое частоколом и сияющее огнями, словно там был вечный праздник, воздвиглось то, к чему пуще всего не полагалось подходить. Теоретически говоря, о нём вовсе не следовало знать.

Но женщины знали — смиренные, они знали о том, чего не знал или не хотел знать весь свет. Привыкли, пробираясь по краю кювета, видеть издали поспешавших по шпалам смуглых вожатых с самопалами поперёк груди и следом колышущую серую массу. Новая цивилизация подчинили себе их вековую агонию, и понемногу их сирая жизнь, их певучая речь, манера здороваться с незнакомым встречным, плетёный короб за плечами и вконец развалившийся колхоз превратились в архаический придаток громадно разросшегося лагерного организма. Лагерь ободрил их существование, поселил рядом с ними тысячи мужчин, чьи взгляды будили их завядшую молодость. Между тем голод утих, бригады труповозов были распущены, заросли подлеском поля захоронения, понемногу лагерь смерти превращался в лагерь жизни. Уже не привидения, а кирпичнолицые лесорубы шагали по шпалам в первых рядах крысиной колонны. И стрекотание электропил, неслыханно повысивших производительность труда, треск и грохот падающих стволов, лай овча-

рок и предупредительные выстрелы не пугали больше деревенских баб. В своих коробах они носили обитателям казармы плотно закупоренные, полные до горлышка бутылки зелёного стекла без этикеток из сельпо, носили детям хлеб из ларька для вольнонаёмных; лагпункт, этот малый потусторонний мир, самое существование которого было государственной тайной, для них стал частью быта, ни бояться, ни стыдиться его они не могли.

Давно уже тело Фёдора Сапрыкина смешалось с землёй на полях некогда знаменитой Курской дуги. Тут же неподалёку полёг под тевтонскими минами и весь тот обоз, что катился по тракту под рёв лихих песен. Семья Сапрыкина между тем жила и приумножалась. За десять лет, прожитых без мужа, Анна Сапрыкина не то чтобы постарела, но раздалась и осела как бы под грузом; черты лица её, крупные и нежные, утратили определённости, глаза стали меньше и покойнее, углы мягкого рта опустились. Тёмнорозовая кожа казалась молодой и немолодой.

День Анны Сапрыкиной начался, как всегда, до рассвета: из-под занавески высунулась её белая и полная нога, нащупала шаткую лесенку; в темноте Анна слезла с лежанки, отыскала в печурке спичечный коробок, прошлась, разминая сухие ороговевшие пятки.

Толстыми пальцами она выбрала спичку, чиркнула — вверх взвилась струйка копоти, она подкрутила фитиль. Осветились стол, лавка, большая печь, стали видны старые фотографии, часы-ходики и сама Анна в рубашке, с тощей косицей, мягколица, с большими, точно испуганными глазами. За ситцевой занавеской наверху спали её дети.

Она прошла за печку, прикрывая ладонью красноватый червячок коптилки. Жестяным блеском засветился в углу прадедовский, закоптело-маслянистый образ, под ним мерцал подлампадик. Огонёк осветил белые руки Анны, поднятые к затылку, рот со шпильками и в провалах глазниц блестящие заспанные глаза. «Мати пресвятая, — шептала она, и шпильки шевелились во рту, — Богородица ласковая...». Тут же, не спуская глаз с иконы, она совала голые ноги в валенки. Потом иззапестрядинного полога, закрывавшего кухню, слышно было тихое бречанье умывальника.

Выйдя оттуда, она полезла на лесенку, натянула латаное одеяло на спящих. Старший лежал на спине с открытым ртом, сжав кулаки. Маленькие сопели, уткнувшись головами друг

в друга. Анна встала коленками на край лежанки и достала с притолоки чулки. Задела что-то — посыпались старые валенки, пересошие, сморщенные носки, портянки. Из-под лесенки стремглав вылетела перепуганная кошка. От ветоши шёл крепкий сухой дух, напоминавший запах поджаренных сухарей. Она сняла с гвоздя полушубок и вышла, хлопнув тяжёлой дверью, отчего на столе вздрогнул и заметался язычок коптилки, повеяв кисточкой копоти. В сенях крошечная тьма, хозяйка уверенно нашла дверь, тут же возле крыльца справила малую нужду. В сиреновой мгле обвела сонными глазами свой двор, сарай, полуразрушенные ворота. За ночь прибавилось снегу. Изба стояла на краю деревни, за воротами начинался лес. Тишина и сон царили вокруг. Тишина и покой были в душе Анны.

Она воротилась, продрогшая, заткнув рубашку между ног. Оделась, подтянула гирьку часов и задула огонь.

Дети не проснулись, когда снова, со скрипом и пением захлопнулась за нею дверь. Анна ступала по узкой тропе между елями, погружаясь в серый, как простокваша, рассвет, опустив глаза, полная сдержанного, дремотного достоинства. В низко надвинутом платке, из-под которого выглядывал платочек, в изношенном полушубке, казавшая толстой оттого, что под полушубком была у неё ещё надета лагерная телогрейка, она была как все женщины этих мест, где молодухи казались старше своих лет, а пожилые выглядели моложаво. Так она шла, пока не расступился лес, и внизу открылась широкая и топкая дорога, по которой полчаса назад, сойдя с железнодорожной насыпи, прошлёпала производственная колонна.

За колонной должны были следовать отдельные штыки. Собственно, штыков уже не было, а были немецкие трофейные автоматы, которыми вооружено было охранное войско, под отдельным штыком подразумевалась подсобная работа вне рабочего оцепления. Ждать не пришлось, наоборот, её ждали. «Стой, кто идёт!» — прокричал голос с восточным акцентом, раздался свист, и Анна Сапрыкина медленно вышла из-за деревьев. Внизу стояли два бушлатника, точно два коня, которым крикнули «тпру!» В руках у них были инструменты, на плечах висели мотки проволоки. (Один из них был Гривнин.) На десять шагов позади, как положено, стояли два конвоира. Свидание происходило на лесной опушке, там, где деревенская тропа выходила на большак.

«Чего раскричался, аль не видишь?» — она отвечала, стоя на пригорке, едва заметно откинувшись и выставя себя, и ровно и радостно сияя серыми глазами.

«А я забыл!»

«Вспомни». Их разговор напоминал диалог двух актёров.

«Хади ближе — поговорим!»

«Не об чем нам с тобой говорить, ступай своим путём».

«Погоди! Не спеши!»

«Погодить не устать, было б чего ждать. Вон, — сказала она, — начальник едет».

«За-ачем начальник? Какой начальник? Я сам начальник. А-а, хийлакар гадын, хитрий баба!» — закричал смуглый стрелец, пожирая Анну чёрными маслянистым глазами.

7

Такова была жизнь в невидимом, как град Китеж, таёжном государстве; бессмысленная с точки зрения его подданных, она была, тем не менее, частью всё той же, обнимавшей всех общенародной жизни. И здесь не менялся однажды заведённый размеренный порядок трудов и отдыха, и такими же будничными и необходимыми казались повседневные дела людей, и погода была одна и та же, и время стояло на месте. Всё так же день за днём торопились смуглые провожатые за уходящими вдаль четвёрками серых спин по шпалам железной дороги. Всё так же везли по деревянной лежнёвке, проложенной в стороне через болото, брикеты прессованного сена для лошадей и мешки с крупной сечкой для лесорубов; в утренней мгле проплывали друг за другом, как призраки, костлявые кони, опустив крупные головы, покорно переставляя копыта и тряся грязными, как мочала, хвостами. Последний одёр, долговязый и костистый, с бесконвойным конюхом на продавленной спине, качался в конце колонны, и всё громадное шествие по шпалам и по лежнёвке медленно удалялось, тонуло в серо-молочных далях, лишь кромка леса отодвигалась с каждым месяцем от лагпункта.

Там тоже всё шло по-старому. Озябшие часовые на вышках топотали подшитыми валенками и пели тягучие песни. По утрам жгуты белого дыма поднимались из труб, по три пары над каждым бараком, и во всех шести секциях босые дневальные с подвёрнутыми штанами стучали швабрами, гнали по полу

грязную воду. Почти все они были инвалиды, кто слишком старый, кто сухорукий, кто с одним глазом, что давало им завидную привилегию не ходить на общие работы. В этот ранний час помпобит — бригадир дневальных — ещё спал в своей кабинке. Спали завкладом, каптёр, культорг. Бухгалтерия, слёзно зевая, в холодных комнатах конторы брякала костяшками счётов. Со скрипом отворились малые ворота обнесённого забором штрафного изолятора, надзиратели повели в камеры вереницу отказчиков от работы. Бухгалтерия, поднявшись из-за столов, смотрела на них из окон конторы.

Дневальные торопились. Запасливые выволакивали из тайных закутков самодельные сани. Заматывались в тряпки, опоясывались вервием, натягивали латанные рукавицы. В девять часов надлежало собраться у вахты, их выводили из зоны на заготовку дров.

В девять во главе пустой бочки въехал в зону одетый в ржавое рубище старик-ассенизатор. Вослед ему брёл в зелёном солдат, отвечавший за инвентарь, лопату, лом и черпак на длинной ручке. Экипаж поехал по лежнёвке к отхожему сараю. Вахтенный надзиратель хозяйственно закрыл за ним ворота.

Повсюду — в пекарне, в прачечной и на кухне — уже кипела работа; в столовой бодро носили воду в котлы — люди дорожили своим местом; в сушилке лагерный портной, семидесятилетний Лёва Жид, похожий на евангелиста, кроил зелёные галифе для важного придурка.

Как смерч, летела по зоне весть о грядущем Сивом. Капитан со свитой обходил владения, и перед призраком его долгополой шинели каждый ощущал себя одинокой козьявкой, каждый был точно путник в лучах, несущихся навстречу смертоносных фар — под безумным взглядом выпученных слезящихся глаз великого князя. Кто мог, спасался бегством, ещё не успев провиниться, но уже чувствуя свою вину. В чём? В том, что сидит в зоне, под крышей, а не марширует на общие работы; да и просто в том, что живёт. Украдкой из окон, из-за углов подсматривали, куда свернёт капитан. Капитан шествовал по центральному трапу, расчищенному, выметенному, справа и слева украшенному щитами с патриотическими лозунгами. Не дойдя до столовой, свернул, зашагал вдоль барачков, мимо тёмных безмолвных окон. Смерч сметал всё на его пути. Вдали случайный дневальный улепётывал к себе в секцию.

Там, за печкой, в покое и на свободе возлежал Козодой, лагерьный философ, писарь, хиромант и чернушник — род сказителя. Кругом на нарах, освобождённые в санчасти, отдыхали ещё двое-трое. Шёл неспешный разговор.

Козодой полсрока просидел в кондее, в остальное время ошивался в санчасти, часами тёр ладонь о ладонь — повысить температуру. За дешёвую плату писал жалобы и просьбы о помиловании, гадал на самодельных картах, читал судьбу на ладони, предсказывал будущее по полёту мух. Раскидывал чернуху о новом кодексе, об амнистии. Никто не верил, но слушали охотно.

Козодой повернулся на ветхом ложе, поскрёб пятернёй между тощими половинками зада. «Эх, вы, — вещал Козодой, — хренья моржовые, дармоеды-дерьмоеды... Да что б вы делали на воле — луну доили, пупья чесали? На воле работать надо, шевелиться. Пети-мити зарабатывать. На воле как? Пожрал — плати. И посрал — плати. За бабу — плати. За всё плати! А здесь тебе и хлеба пайка, и баланда, и очко в сортире завсегда обеспечены. Лежи, не беспокойся. — Он сладко потянулся. — А баб нам не надоть! Нет, братцы, на херá мне сраная ваша воля...»

В секцию ввалился дневальный, задыхаясь, обрушил на пол вязанку дров.

«Сивый идёт!»

Больные на нарах вскочили, вперили в дверь ошеломлённые взгляды. В сенях уже гремели шаги...

8

Никто не знает, чем люди руководствуются в своих делах, считается, что каждый соблюдает свой интерес. Так и оценивают его поступки; если же непонятно, чего он хочет, значит, интерес где-то в глубине, И никто не догадывается, что для человека этого наступила единственная, божественная минута, когда он знает, что поступает бессмысленно. Тайный демон подзуживает его прыгнуть в пропасть, нашёптывает: не разобьёшься, а полетишь. Абсурд притягивает его, как магнит — железо.

Дорого стоит ему эта минута. Но в эту минуту он — бог.

Несколько недель подряд Стёпа Гривнин, о котором здесь снова пойдёт речь, ходил на работу в отдалённый заброшенный квартал. Час туда, да час обратно, и работа неспешная, не то что

в бригаде, где свои же товарищи жмут из тебя сок ради лишних процентов, а чуть замешкаешься — помбригадира кулачищем между рог. Спасибо старшему лейтенанту!

Ветка к бывшему складу была давно разобрана, вчетвером брели по насыпи, увязая в снегу. Справа и слева от дороги виднелись полусгнившие остовы штабелей и клетки забытых почернелых дров. В буртах невывезенного реквизита ещё можно было откопать крепкие жерди, годные для опор высоковольтной передачи.

Дул свирепый ветер. Невдалеке, над поломанной, заметённой снегом куртиной отчаянно мотались голые и одинокие сосны. Над ними неслись сиреневые облака. Гривнин с напарником разгребали комья мёрзлого снега. Обухом и вагой выламывали из-под наледи оплывшие чёрные колья и жерди.

Они хоть шевелились. А конвоиры сидели, прижав к щеке самопалы. Мрачные и нахохленные, молча глядели на бесцветно бьющееся, бесцветное пламя костра, курили, цыкали слюной. Огонь едва выползал из-под сырых плах, на торцах пузырилась пена.

Невольники — что те, что эти; одной цепью скованы. Недобрая мысль шевелилась за опущенными лбами, под ушанками с железной звездой. В пустыне снега, на остервенелом ветру проклятье принудительного безделья было для них, как для тех двоих проклятье труда. «А-а, мать их всех, и с ихней работой». Опять-таки это были они — неопределённое начальство. Смуглый Мамед сплюнул в огонь

«Айда. Кончай базар».

Он первым поднялся. Оба поняли друг друга без слов. Автоматы — через плечо. Заключённым: «Съём!» А те и довольны.

Все четверо полезли наверх по глубокому снегу. Шли долго. Потом насыпь кончилась. Перебрались через овраг, поднялись по склону и побрели сквозь лес, четыре привидения, не соблюдая дистанции, автоматчики впереди безоружных, пока, наконец, не показались угластые крыши, окошки, словно из чёрной слюды, полузанесённые снегом. Откуда-то выкатилась с пронзительным лаем косматая собачонка, но тотчас умолкла и, подняв завитушкой хвост, затрусил боком прочь. Оглядевшись — деревня казалась вымершей, — они вошли в ворота крайнего дома, поднялись на крыльцо. Столбики, подпиравшие кровлю, были источены червяком, почернели и потреска-

лись, точно старые кости. Друг за другом нырнули в полутёмные сени. Там была другая дверь, в лохмотьях войлока, с хлябающей скобой.

Со стоном поехала тяжёлая дверь, и, как весть из чужой страны, как два апостола, сдёрнув ушанки, обнажив сизые головы, два бушлата встали на пороге. Тотчас сильные руки втокнули их в горницу. Два стрельца, головой вперёд, красные и избябшие, гремя сапогами и самопалами, ввалились в избу.

«Хазайка! Гостей принимай!»

Анна, словно во сне, поднялась навстречу... Сонно, затхло, тепло было в избе с низким потолком, с большой печью, от которой шёл легкий сухарный запах пересохших портянок. Сухощёлкали ходики. Сверху, с лежанки на прищельцев уставились три пары детских глаз.

Грохнули об пол кованые приклады. Мамед уселся на лавку, по-хозяйски вытянул из разлтых штанов жестяной портсигар. Второй солдат, белобрысый, молоденький, видно, на первом году службы, поместился рядом. Заключённым — сесть на пол. На ходу стирая с губ шелуху семечек, точно проснувшись, женщина бросилась за занавеску. На столе воздвиглась бутылка тёмнозелёного стекла. В чистом белом платочке с горошком Анна Сапрыкина несла на двух тарелках угощение.

9

Напарник возле Гривнина, угревшись, посапывал, его наголо остриженная и лысеющая голова, свесилась на грудь. Под столом, наискосок от них, висели в домашних вязаных носках и бумажных чулках круглые хозяйкины ноги, с двух сторон от них расставились солдатские сапоги. За столом разливали уже по третьему разу. Довольно скоро, как-то сама собой явилась другая бутылка. Анна тоненьким голоском задумчиво пела песню, это была всё та же известная, жалостная песня о бродяге, бежавшем с Сахалина. Белобрысый робко подтягивал, а Мамед, который не знал слов, хлопал в ладоши, притоптывал сапогами и радостно скалил свои белые сахарные зубы.

Он уже предвкушал момент, когда хозяйка полезет на лежанку. Ребятишек отошлют на кухню, парень останется сторожить внизу, ждать своей очереди, — а он поднимется к ней, и они задёрнут занавеску.

У Стёпы от долгого сидения на полу затекли ноги, он попытался пересесть на корточки. Тотчас голос Мамеда приказал сидеть.

За столом пели:

«Жена найдёт себе другого, а мать сыночка никогда!»

Анна вышла на кухню. Там она сняла с себя исподнее, оправила юбку и явилась, сияя серыми спокойными глазами.

«Сидеть!» — вновь прогремел голос.

«Гр'ын начальник, на закорки... жопа болит!» Гривнин ворочался, пробуя так и сяк переменить положение. Лезгин за столом обнимал за талию разругавшуюся Анну. Белобрысый, изрядно захмелевший, тыкался вилкой в грязную тарелку, а с печки на них смотрели дети.

Стало совсем невтерпёж, захотелось встать неудержимо.

«Ку-у...да?» Волосатый кулак, как кувалда, поднявшись, грохнул об стол, зазвенела посуда.

«Я сейчас... — бормотал Гривнин, вертясь, словно жук на булавке, — мне на двор надо, поссать, гражданин начальник... Сбегаю и назад».

«Какой такой двор, — отвечал грозно начальник, — я тебе дам двор. Сидеть, твою мать, не слезать твоё место!»

Рука его по-прежнему гладила Анну.

«Х... с ним, Мамед, пуцай сходит, никуда он не денется», — заговорил вяло белобрысый солдат.

Это неожиданно разгневало горца.

«Сказал сидеть! Вот я его, суку, за неподчинение законом-требованием, попытку побегу!» — он двинулся было, оттолкнув товарища, к стоявшему в углу оружию, но не устоял и схватился за край стола. Задребезжали стаканы, пустая бутылка покати-лась и полетела на пол. Мамед плюхнулся на скамью. Второй стрелок смеялся.

«Застрелю всех паскуд!» — заревел Мамед, сжав кулаки, и как будто не знал, на ком остановить желтоватые белки огненных своих глаз. Белобрысый парнишка по-прежнему давился от смеха. Хозяйка тоже хихикала, утирая глаза углом платочка.

Вот тогда и произошло неожиданное, необъяснимое — осенила идея, — отчего у мальчиков, глядевших с печки, округлились глаза и раскрылись рты. И то, что произошло, они потом помнили всю жизнь.

Жук сорвался с булавки.

Арестант вскочил на ноги, подхватил с полу бутылку, и дети видели, как побелели его пальцы, сжимавшие горлышко.

Он стоял, подавшись вперёд, растопырив руки, с гранатой в правой руке, и походил на обезьяну в человеческой одежде.

Смех оборвался. «Ты что, — неожиданно спокойно проговорил второй стрелок, — уху ел?.. — Он нахмурился. — Бутылку-то брось. И садись, не тыркайся. Сейчас все пойдём... Эй, Мамед!»

Но Мамед не отвечал, не издал ни звука, он начал медленно расти из-за стола, ручищи вдавились в стол. Под его чёрным, липким и обжигающим взглядом преступник сжался. Но мыслей уже не было: за Гривнина думал его спинной мозг.

Он ринулся в угол. Это случилось прежде, чем они успели сообразить, — он опередил белобрысого, который хотел забежать ему в тыл, — Гривнин пригвоздил его к лавке, наведя на него автомат. Он стоял один посреди избы, держа палец на спусковом крючке. Достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы скосить напрочь мерзкую сволочь! Ха-ха! Гривнин ликовал. Теперь он был господином. Сейчас он заставит их языком лизать пол.

Гривнин облизал шершавые губы.

«Беги, земляк», — сказал он монотонно, не глядя на сидящего на полу напарника, но зная, что тот глядит на него. Напарник, действительно, не сводил с него глаз, полных ужаса.

«Беги! — раздался снова жёсткий, холодный голос. — Рви когти, пока не поздно, терять нечего! Думаешь, они тебя пожалеют? Пожалел волк кобылу».

Он медленно отступал. Напарник не шевелился.

Второй автомат висел на руке у Степана, сильно мешал ему; он пытался забросить его за плечо короткими судорожными движениями; наконец, это ему удалось; всё это время он целился то в одного конвоира, то в другого; наткнулся на брошенную бутылку, отшвырнул ногой. С порога правая стена не простреливалась, её загораживала печь. Он подался влево, по-прежнему отходя осторожными шажками.

«Ты! — крикнул белобрысый. — Стой. Пожалеешь!»

Мамед прохрипел что-то невнятное.

Гривнин усмехнулся. «А ты, — сказал он с наслаждением, — поговори у меня, сука помойная, чернозадая падла...»

«Караул! — вдруг завизжала женщина. — Не пуцу! Стой, ирод! Не пойдёшь никуда! — И со сбившимся платком бросилась к нему. — Милок, — задыхаясь, заговорила она. — Окстись, куды ты побежишь... Кругом тайга... Тебя звери загрызут...»

Степан опешил. Пнул Анну ногой, но она с пылающим лицом упрямо лезла на него.

«Опомнись... Мы никому не скажем... А то хочешь, я тебе дам. — Она схватилась за грудь. — Никому не дам, тебе одному дам...»

Размахнувшись, Гривнин двинул тётку прикладом. Анна упала навзничь.

Гривнин встал на пороге, с силой лягнул дверь.

«Сидеть, суки! — проговорил он зловеще. — Если кто высунется, не отвечаю».

Хлопнув дверью, он выскочил на крыльцо.

В десяти шагах от дома стоял лес. Смеркалось. Свобода!

Раб и потомок рабов! Он был свободен.

10

Побег! Бежал заключённый. Ползучий гад, пёс смрадный, — это за всю заботу, за даровой хлеб, за то, что дали ему жить, искуплять вину перед родиной, едри её в калошу. А он?!.. От руководства лагпункта до высших учреждений, от исторгнутого из nirваны алкоголизма, обездоленного начальника спецчасти до угрюмого орла-главнокомандующего Управлением лагеря все ступени, все инстанции исполнились желчью и зажглись гневом, скрипнули зубами и задвигали жвалами, почувствовав необычайное присутствие духа. В ярости, в смятении, узнав, кто сбежал, появился оперативный уполномоченный, прилетел и повис когтями над обтянутым проволокой частоколом, ронял злобные слёзы, — снизу дежурный надзиратель почтительно отдал ему честь, и стрелец, дремавший на вышке вахты, подхватил на плечо аркебузу, вытянулся во фронт и тоже взял под козырёк, — впрочем, козырька на ушанке не бывает. В серо-голубой шинели, чётко и твёрдо впечатывая в мёрзлый трап каблуки зеркальных сапог, старший лейтенант шагал в контору, в кабинет, писать объяснение для высшего начальства.

Побег! С утра на вахте, перед воротами — всё руководство. Великий князь мрачен, как грозовая туча. Надзиратели шупают выходящих. Но не так, как всегда, не томным взмахом ленивых рук, проходкой по рёбрам пальцами баяниста, привычно, для виду и кое-как. Тут трещат завязки, брови насуплены, и стальные персты чуть не срывают одежду. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Каждый из этих безмолвно-покорных, в расстёрнутых бушлатах, с беспомощно поднятыми руками, словно разбитая армия сдаётся на милость победителя, — каждый! — возможный беглец.

Внимание, колонна! — Навязшие в зубах стихи вновь полны смысла и обещают смерть. — За неподчинение законным требованиям конвоя, попытку к побегу... в-вашу мать. Следуй — и не растягивайся.

И вот начинается... Стой! Ложись! Начальнику конвоя привиделось нарушение. Через сто шагов снова. Впереди, в розовом дыме зари, видно, как опускается на шпалы головная колонна. За ней остальные. Но нет худа без добра, и все бригады начинают работу с опозданием на час.

Тем временем в зоне шмон — тотальный обыск. Жаль, невозможно разобрать бараки по брёвнышкам. Из распоротых постельников летят на пол жалкие их потроха. Добыча — колода захватанных карт, нож из черенка старой ложки и пахнущая мышами, растрёпанная Библия в валенке у сушильщика-баптиста. Не позабыли и кондей: надзор лазает по камерам, шурует в парашах, народ раздет догола и жмётся от холода, переступает босыми ногами.

Побег! Звонят телефоны... Что такое Стёпа Гривнин, вчера ещё никому не известный, по сравнению с сонмом намертво сидящих в лагере и другими десятками, сотнями тысяч, которые ещё сядут? Микроб, пылинка. Что значит одна обритая голова, ходячий позвоночник, посреди этой громадной массы голов, людского фарша, длинными лентами вытекающего из ворот на всех подразделениях? Насрать на неё! Но нет. Придёт в движение весь аппарат, вся многоголовая рать начальников, подчинённых и подчинённых подчинённым, выступит в боевой поход дружина стрелков, командиров, проводников служебно-разыскных собак и возвратится домой лишь после того, как убедится, что беглец слинял, выскользнул из пределов княжества, и тогда заработает гигантская машина всесоюзного розыска и

будет лязгать до тех пор, пока преступник не будет опознан в каком-нибудь тухлом городишке, с чужим паспортом, в какой-нибудь полумёртвой деревне, у бабы под юбкой.

...Ревёт, бушует непогода. Далёк, далёк бродяги путь. Всё ненадёжно, всё коварно кругом на его пути. За каждым кустиком ловушка, любой прохожий, заметив, побежит доносить. За ним крадутся, его поджидают на станциях, блок-постах, на перекрёстках дорог, патрули караулят на разъездах, обходят товарные вагоны, пока состав стоит перед закрытым семафором. Вся страна ему враг.

И вся страна друг. Она огромная, эта страна. Тёмной ночью непролазная чаща схоронит его, снег засыплет ямки следов. В глухом селении сморщенная старуха пустит в избу переночевать, накормит кашей и даст краюху хлеба на дорогу. Звери его не тронут, а люди отвернутся, скажут, что не видали.

Укрой тайга его глухая...

11

Тогда говорит: возвращусь в дом мой.

Мф. 12:44

Зимней ночью в глубине леса мерцал огонь; у костра сидел человек и готовил себе ужин в старом солдатском котелке. Котелок был без дужки, чёрный и погнутый во многих местах, а ужин состоял из растопленного снега.

Когда вода закипела, он подвинул к себе кастрюлю и стал хлебать, зачерпывая куском бересты, согнувшись над котелком, чтобы не капало мимо.

В это время явился из темноты и подошёл к нему некий странник.

Шатаясь, он приблизился к костру, бросил наземь два автомата АК-47 и протянул свои обмороженные руки.

Хозяин костра, казалось, не обратил на него внимания. Добавил снега в котелок, поставил в пляшущее пламя. Потом взглянул на пришельца и покачал головой.

«Эк, непутёвый. Чай, с лагпункта?»

Треск отсырелых сучьев был ему ответом. Полумёртвые ладони Гривнина висели над огнём.

«На-ко вот, попей кипяточку. Небось в бегах?»

Гость сидел на мокрой коряге, освещённый багровым снегом и, придерживая рукавами кастрюлю, от которой валил пар, дул на неё своим белыми, неживыми губами. Хозяин костра поглядел на стальные игрушки, валявшиеся на снегу.

«Охрану-то, того?»

Странник покачал головой.

«Что ж, — хозяин вздохнул, — к лутчему. Расстрелять не расстреляют, а срок — он и без того срок!»

Он занялся костром, посапывая волосатыми ноздрями. К небу поднялся столб искр.

Сквозь треск горящих веток послышался голос Степана Гривнина — он говорил, едва шевеля губами, преодолевая дремоту и всё усиливающуюся боль в кончиках пальцев.

«Знаем, — бормотал Гривнин, — нас не обманешь... Всё враньё. Никого нет... привидение, сон гадский... Маленько погреюсь и пойду дальше».

Он тянул руки к огню.

«Тепло... Ташкент... Вот погреюсь чуток, и...»

«Куды ж ты пойдёшь?»

«А вот пойду, — лепетал Гривнин. — Куды пойду, туды и пойду. В древню, к бабам... Нет, — он покачал головой. — Стороной надо. К железной дороге».

«Дак ведь оцепление там. Кто ж тебя пустит».

«Ночью уеду. На тормозной площадке. Зайду сзади, и... До Котласа доберусь...»

«И, значит, опять в лагерь. Дурень ты, прости Господи».

На это пришелец ничего не ответил. Голова его опустилась на грудь, котелок стыл на коленях Костёр угасал, и косматая фигура смутно темнела по ту сторону алых огней.

Спокойный голос говорил, точно у него в мозгу.

«Отдыхай, не торопись. Куды уж теперь торопиться...»

Нет, подумал Степан, уйду всё равно. На карачках уползу.

«Эка заладил, — сказал хозяин, точно слышал его мысли. — Уйду да уйду. Да куды ты денешься... Дальше лагеря не уйдёшь».

Гривнин выпрямился, тряхнул головой, сидел неподвижно, выставив сведённые судорогой руки. Нечего мне мозги засирать, думал он, вот возьму и... Но прежде надо было переспорить того, сидевшего напротив.

«Уйду совсем из России. Пропади она пропадом».

Ответа не последовало, хозяин ворошил угли, мычал старую острожную песню. Но оборвался, закашлялся и сплюнул в огонь.

«Нехорошо это, — сказал он наконец. — Пустое брешь, и ни к чему. Никуды ты не скроешься — и здесь неволя, и там неволя. Здесь лагерь, и там. И где нет лагеря, всё равно лагерь. Только себя истомил напрасно».

Он продолжал что-то говорить, ворошил палкой, весь осыпанный искрами.

«...нашего-то русского хлебушка сытней нигде не найдёшь».

«Да уж! — странник скрипнул зубами. — Наелись мы этого хлеба. Сыты! По самую маковку! Нет, врешь, падло, — заговорил он, обращаясь к кому-то, — кабы ты был на самом деле, небось не сидел бы тут... Суки, гады ползучие... — он забормотал, дрожа и озираясь, — как для других, так...»

И он дёрнулся встать, как тогда в избе, но тело не слушалось, и он остался сидеть на обледенелой коряге. Лес раскачивался над ним и осыпал его снегом. Костёр потух. С ужасом почувствовал Гривнин, что в мозгу у него нет больше воли. Старик, почти невидимый, вразумлял его ровно, настойчиво, словно читал над усопшим.

«Не юродствуй. Сколь с человека не взыщется, того богаче останется. Десять шкур сдерут — последняя крепче будет. Ты, парень, лутче не рыпайся. Это я тебе точно говорю. Тебе на больничку надо, коли не помрешь. Куды бежать? Чего задумал... Куды спастись?.. А ты в себе самом спасайся, тут до тебя ни один начальник не доберётся, ни одна сволочь не дотянется».

Он продолжал:

«Ружьё брось. С ружьём толку не будет. Ты вот один сбежал, а там за тебя десятерых посодют. Да сотню накажут, на тысяче отыграются... А ты ничего не делай, так-то поспокойней будет... Никого ты не трогай, и тебя не тронут. Сиди себе и жди. Они сами придут. Они, брат, везде. Побежишь — собаками разорвут, а то, гляди, пулю схлопочешь. Сидеть будешь — не тронут».

Беглец собрал силы, поднялся. Надо было этого старика кончать, другого выхода нет.

Он потянулся было за автоматом. Но потерял равновесие и упал.

Отшельник твердил своё:

«Сказано: злой дух вышел, да вернулся, и с собой ещё семерых привёл. И бывает для человека того последнее хуже перво-

го. И куды вас всех носит. Тюрьма, что ль, надоела? Да ить за ней другая, ещё хуже. Всё жизнь наша, парень, одна тюрьма, кем родился, тем и помрёшь».

В темноте раздался кашель, старческое кряхтенье. Гривнин, наконец, поднялся на ноги. Погавкаешь у меня, падло, сказал он или, вернее, подумал. Он стоял, пошатываясь, и целился в старика.

Старик мычал песню.

Гром автоматной очереди разорвал тишину и слитным эхом отозвался в чащах. Беглец стоял и нажимал окоченевшими пальцами на спуск, самопал гремел и гремел, эхо потрясало тайгу. Затем смолкло. С веток сыпался лиловый снег. Старик исчез.

Старика не было, но на том месте, где он сидел, остался вытоптаный след, и котелок чернел на снегу. Бессмысленная погремушка, умокнув, осталась в руках у Степана, он нажал снизу, пустой магазин выпал на снег. Беглец посмотрел на него, гнев его стих, он испытывал странное успокоение. Где-то в глубинах слуха, во тьме мозга родился и нарастал высокий, как струна, зов овчарок.

Запах звёзд

Поезд, идущий на северо-восток, замедлил ход, приближаясь к полустанку, а через минуту уже мелькал в остекленевших глазах вышедшего дежурного и гремел на переезде мимо стрелочницы, которая стояла, выставив перед животом скатанный грязно-желтый флажок. Оба, каждый со своего поста, глядели вслед уменьшающимся красным огням, глохнувшим в белой мгле. Здесь, на полустанке, их разделяла служебная дистанция, не менее реальная, чем расстояние между сторожкой возле шлагбаума, поднимавшегося раз пять-шесть в году, не чаще, и «вокзалом», где дежурный пил чай и слушал унылый стук ходиков; а для мелькнувшего мимо поезда это было все равно что расстояние в несколько миллиметров, и люди на полустанке были для него мгновенными ничтожными мелочами, которые машинист едва успел заметить, словно жикнувших перед глазами мух. Даже на больших станциях поезд, идущий на северо-восток, не задерживался, не стоял ни минуты, а постукивал равномерно на стыках в отдалении от перрона, мелькал там, сзади, в просве-

тах между вагонами застрявших товарняков, и вот уже гудок его, протяжный и затихающий, тускнел вдаль, и дым расходился в небо; он шел подряд несколько суток, днем и ночью, и с тех пор, как начал свой путь, останавливался, кажется, только один раз, чтобы пополнить убывающие запасы угля и воды. И на разъездах поезд не стоял, не ждал, а шел и шел вперед. Сперва ехали через пустынные поля, словно плыли по широкой снежной реке, разлившейся до самого горизонта, и казалось, что поезд вовсе не движется, а стоит на месте, грохоча колесами; кромка леса на дальнем берегу тянулась, стояла перед глазами с рассвета и дотемна; но потом она стала расти, приближаться. Присмотревшись, можно было различить бегущие деревья, стук колес как будто усилился; хоровод деревьев, сцепившись ветвями, побежал назад, в обратную сторону, а позади него другой хоровод понесся вперед наперегонки с поездом. Он шел, загибаясь по узкой насыпи, и с обеих сторон стоял густой лес.

То был поистине целый мир — особенный, чудотворный: каким восторгом, какой нежностью могла бы наполниться душа при виде сих монашеских елей, толпой сходящих к оврагам, и золотистых сосен на пригорках по колено в снегу; дым клубами окутывал их, но, когда он рассеялся, сосны стояли такие же, как прежде, — строгие, радостные, качая верхушками, и времени, казалось, вовсе для них не существовало: и татарская власть, и раскольники, и французы — все было для них одновременно, или, лучше сказать, никогда не было. В ясную погоду снег на опушке блестел так, что глазам было больно, и все-таки тянуло глядеть на него, и хотелось схватить его в охапку, зарыться в него лицом — такой он был свежий и чистый и дышал какой-то древней юностью. Тени сосен в ясный день были голубые и легкие, а к вечеру тяжелели и становились лиловыми; пунктиром пересекали их синие крестики чьих-то следов. В пасмурную же погоду небо над соснами было мутно-молочным, все кругом казалось теснее и ближе, и расплывчатей, и снег был не голубого, а белого цвета, как белье, которое забыли подсинить. В сумерках белое небо опускалось на снег, и сиреневая мгла все разбалтывала в сплошную кашу. Но понемногу мутная темень рассеивалась, ночь стекленела, становилась прозрачной, как будто протирали запотевшие черные окна, мороз крепчал, зеленоватое сияние поднималось над снегами. Вдруг из чащи раздавался крик птицы, не злой, не злоеющий, просто от избытка сил, нали-

вающихся во сне, снег сыпался неслышно с веток, что-то происходило, завершалось, кристалл ночи становился чище, ярче, совершеннее, высоко в пустом небе горели, переливаясь, звезды. Утром из пелены далеких туч, сопя и тараща заспанные глаза, выбиралось косматое солнце, и винно-розовая заря бежала по рельсам, а с другого конца, на темном, аспидно-сером западе, появлялся в разрубе тайги белый дымок, дальний гудок возникал как бы из небытия. Поезд мчался мимо всех лесных событий, ему не было до них никакого дела.

Поезд шел в страну, о которой, конечно, все знали, что она существует. Знали, но делали вид, что не подозревают о ней. Молчаливый заговор окружил тайной все, что имело отношение к этой стране, и не требовалось даже специальными постановлениями запрещать упоминать о ней. Ее не было — и точка. Поезд шел в страну, куда никогда и ни за какие деньги не продавали билетов, которая не была нанесена на карты, не упоминалась в справочниках и которую не проходили по географии в школе. Да и вряд ли кому-нибудь захотелось бы повидать ее по своей воле, а уж если кому было суждено туда ехать, тот назад из этой страны не возвращался, как не возвращаются никогда из Страны мертвых. И о ней старались не думать, забыть, как стараются не думать о кладбище, где лежит столько народа.

Никто в точности не знал, что именно происходит в стране на северо-востоке. Никому не известно было, какая там погода, идет ли дождь, светит ли солнце и сколько там дней в году, да и считают ли там годы — никто не знал. Поезд особого назначения, следующий по секретному маршруту, шел, торопился из страны живых туда, минуя разъезды и пункты контроля, оставляя позади города, станции, проносясь с грохотом мимо безлюдных полустанков и закрытых шлагбаумов. Поезд шел вперед, и белый дым, отдуваемый ветром, стлался за ним и бесследно таял в холодном небе.

Не так уж много требовалось ума, чтобы понять это; а непонятливых учила жизнь. Потому что главный урок, который она преподносила, да так наглядно, словно конфетку на ладони, главный урок и наука — скажем это, забегая вперед, — была наука неверия, не какого-то отдельного неверия, а неверия вообще, и в ней-то и заключалась причина таинственности, которою была окружена жизнь в стране на северо-востоке: ибо, освобождая людей от бремени имущества, притащенного в мешках, дере-

вянных сундучках или чемоданах, от теплых шинелей со спортивными погонами, от фасонистых городских пальто, уже подпорченных в тюремной дезкамере, от валенок, еще пахнувших домом и волей, от вязаных носков, последних в жизни, потому что скоро и самое слово это забывалось, исчезало из лексикона, как исчезали, став ненужными, сотни других слов, — короче, от всех шмоток и всего вообще, что у них еще оставалось и что частью выманивали у них обманом, частью отнимали силой, а чаще просто уворовывали и потом без конца проигрывали и выигрывали в карты, — освобождая от всего своего, кроме собственной многострадальной шкуры, своего тощего потроха, да еще казенной телогрейки, да трухлявых штанов, жизнь в лагере освобождала и еще от кое-чего, именно от веры, от веры, которая отныне становилась синонимом глупости. Урок жизни, начатый предательством друзей, соседей, однополчан, — кого угодно, но только без предательства тут не обходилось, — и продолжающийся в таежных лесах страны, о коей речь, в ее синих снегах, так что из подготовительного класса переходишь мало-помалу в старший класс, а оттуда в университет, все длился и длился. И этот урок отменял все заученное прежде, в других школах и университетах, и все дипломы, полученные там, становились ни к чему, словно листки от календаря давно прошедшего года, словно облигации безвыигрышного займа, освобождал от всего бесполезного и лишнего. Лишней оказывалась вера.

Ночью поезд остановился. Те, кто были в нем, могли догадаться, что снаружи ночь, по щелям задраенных люков, откуда только что к ним сочилось смутное белесое небо, а теперь вагон словно накрыли попоной. Четвертые сутки они слушали ритмичный грохот под полом, похожий на тиканье башенных часов, если бы их поднесли к самому уху; четвертые сутки — а может, и десятые, никто не знал — пол катился под ними куда-то под гору, и бледный свет трижды сочился из щелей, и вот поезд снова въехал в ночь и так и остался в ночи. Они услышали протяжный гудок, железные часы под полом пошли медленнее, раздался скрежет — они качнулись, но пол под ними все катился; вдруг опять они пошатнулись, что-то взвизгнуло и стихло. Внутри них нарастал, становился ощутимым напряженный до предела звон. Они стояли, насторожив уши, широко раскрыв глаза, ничего не видя, и ждали, когда поезд снова тронется, но он не трогался и не давал предупредительного гудка. Далеко впереди — или по-

зади? — слышалось пыхтение паровоза: пху, пху, пху; потом шипенье пара: чш-ш-ш... ч-ч-ч-ч! — как вдруг они заметили, что пыхтящий звук стал удаляться, а вагон отцепился, остался в кромешной тьме; они часто дышали, и ничего больше не было слышно, кроме этого дыхания. Вдруг чьи-то шаги прошли совсем рядом, внизу, скрипя по снегу, и ушли, и снова стало тихо.

Там, снаружи, человек в ушанке, в ватной стеганой телогрейке и валенках, поставив у ног фонарь, вынимал из кольца огромный замок, опускал тяжелую перекладину. Внизу ждали остальные, их было человек пять. Густой лес по обе стороны полотна, темное небо; впереди мертво светятся огоньки водокачки; сцепщик идет не торопясь вдоль поезда, мелькает за колесами его фонарь; паровоз ушел к водокачке. В стылом воздухе слышался кашляющий лай собак. Что ж, и в самом деле эта новая страна ничем не отличалась на вид от той, минувшей, откуда только что прибыл поезд.

Дверь поддавалась, поехала, визжа заржавленным роликом; люди расступились. Тотчас, не дожидаясь, когда дверь уйдет до конца, из темноты стали высовываться, обдавая паром суетящихся людей на помосте. Мешала перекладина изнутри. Вытащили ее. И, стуча копытами, теснясь и толкаясь, и скользя по обледенелому помосту, лошади — живые души, продрогшие, истомленные бесконечной дорогой и ожиданием, робкие и обрадованные, стали выбираться на морозный, пахнущий шпалами и тайгой, чужой и неприятный и все же бесконечно милый Божий свет. Люди, стоявшие внизу, торопясь, считали их.

Проваливаясь в снегу всеми четырьмя ногами, храпя и скидывая головы, лошади сгрудились у подножья насыпи, перед заснеженными мостками: должно быть, летом тут был овражек, если вообще когда-нибудь здесь бывало лето. Но и сейчас они чуяли запах ржавой воды там, глубоко на дне оврага. Сверху, с насыпи, было видно, как конюх, стоявший перед мостками, закуривал, намотав на руку недоуздок, и лошадиная морда моталась в испуге и вырывала руку с коробком; наконец он сунул спички в штаны, примерился, упираясь руками, и прыгнул, пал плашмя поперек шарахнувшейся лошади, — в эту минуту он был похож на куклу, набитую опилками, — и уселся верхом.

«Все, что ли», — сказал старший. Оставалось задвинуть дверь пульмана и сбросить помост.

«Мама родная», — пробормотал парень с замком и попятился. Недоруганный мат, как слюна, повис на его губах. Глаза всех уставились в черную пустоту вагона.

Звук столкнувшихся буферов прокатился вдоль поезда, паровоз давал пронзительные свистки. Все лошади стояли, выстроившись гуськом и ожидая команды. В хвосте очереди, подобный белому привидению, высился диковинный конь. Старший конюх, водя пальцем, пересчитывал их всех для верности и отправился оформлять документы; он прошел мимо товарных вагонов и других, уже опустевших. Возле станции было безлюдно, но снег под фонарями был сплошь истоптан и изъеден ноздреватыми ямками от мочи. Собачий лай заглох в лесу. Итак, они прибыли.

Он все еще находился во власти необычайных впечатлений дороги и переживал их, как будто зловеющий поезд все еще грохотал под ним стальными колесами; и вот они остановились, умолкли, и вместе со всеми он ждал, когда откроется вагон, и выходил, скользя по обледенелому помосту, и шагал по изрытой дороге в лес, загородивший полнеба. Он шел так долго, что начал спотыкаться. Поднимая глаза, он видел впереди равнодушно покачивающиеся, как бы неживые фигуры верховых. Мигнул огонек. Замигало сразу несколько огней. Они плыли поперек дороги, огибая чашу, исчезая и появляясь. Вдруг луч, белый и слепящий, как меч с раздвоенным острием, проткнул ему глаза. Луч бил, разрезая лес, как струя брандспойта. Всадники во главе колонны, все так же качаясь, ушли с головой в слепящий свет, обрисовались в нем, позади них осветились спины идущих одна за другой лошадей. Потом процессия свернула вбок, и чудовище отпустило их, раскаленный добела глаз уставился в сторону — на кого?

Он не осознал еще в полной мере, насколько ему повезло. Вся жизнь его была цепью неслыханных удач; удачей было уже то, что он доехал, добрался живой до лагерной командировки; удача ждала его и впереди, ибо ему предстояло жить, а не плавать, ободранному и разрубленному, и растворенному до полного исчезновения в корытах, в дымящемся желтом омуте, в котлом повара, стоя перед раздаточной амбразурой, вращали длинными черпаками, и в этом жесте была заключена вся грация, весь восторг, вся царственная лень и царственная власть их профессии! Белому коню повезло: он стоял на земле, а не стелился

паром над черными котлами, не путешествовал по кишкам и мочевым пузырям лагерных доходяг, не пролился дождем в отхожие ямы, где давно исчез безвестный одёр, чье стойло он занял, и те, другие, плоскими тенями маячившие там, где сейчас бодро хрупали сушеной травкой новички, не ведая, что их ждет. Он устал, но он был жив, ему хотелось лечь, ноги так и просились подогнуть их, преклонить колени и опуститься, смерть манила его, и с каким облегчением он плюхнулся бы на пол и склонил бы к земле свою костлявую голову с глубоко запавшими, вытекшими глазами — и все-таки он стоял.

На столбе против каждого стойла, как распятие, висел хомут, для каждой лошади свой, но рассчитаны они были для прежних, уже не существующих лошадей, и большинству новичков хомуты не подходили. Зевая так, что лица у них сходились складками подо лбом и из глаз выжимались слезы, конюхи стаскивали хомуты с лошадиных морд и примеряли другие, выискивая поцелее в куче старого хлама.

«Н-но, падла старая, пошел!» — заорал Корзубый, и престарелый конь послушно сдвинул с места каменную громаду своего тела. Он старался соблюдать осторожность, не задавить кого-нибудь сзади, не завалить перегородку и медленно пятился, между тем как тщедушный хозяин изо всех сил упирался ему в грудь, в то место, где начинаются ноги, с таким видом, точно он толкал паровоз.

То, что он был невелик ростом, было даже удобно. Однажды он прибил к компании морячков на Курском вокзале, они повели его с собой, усадили за столик, угощали пивом; до поезда оставалось часа два, они вышли из ресторана и забрали вещи из камеры хранения, но времени все еще оставалось много. Они решили зайти еще в одно место, добавить, как они сказали, Корзубому велели караулить вещи, шинель дали, чтобы не замерз, велели не спать. Он и не думал спать: попробовал один чемодан, но не смог его даже поднять — матрос вез в нем из Германии часы. Он знал, что там часы, — матрос сболтнул за столом, он даже кулаком стучал по скатерти, кричал: «Я все могу, я всех баб в этом зале могу купить, всех подряд; у меня, может, одних бочат рыжих цельный чемодан!» Чемодан был заперт, он взялся за другой, тоже ужасно тяжелый, приходилось то и дело останавливаться — менять руку. Тем временем моряк, тот, который отдал шинель Корзубому, на вокзальной площади хватился папи-

рос; его отговаривали, совали ему серебряный портсигар с махоркой, но он отпихнул их и пошел через площадь назад за своим «Казбеком». Моряк увидел в зале ожидания свою шинель: она тащилась с огромным чемоданом между скамьями, задевая сидящих и лежащих. Зал был битком набит, и вообще в те годы вся Русь, казалось, была в пути, бежала и возвращалась. Хозяин чемодана рассчитал точным глазомером, сколько тому еще пробираться, и вернулся к ожидавшим корешам. А Корзубый все пробирался. Вдруг кто-то взял его повыше локтя — он скосил глаза, на руке был синий якорь; не раздумывая, кошачьим движением он выпрыгнул из шинели, метнулся к выходу; какой-то старик, лежавший у дверей, занес на него свой костыль — он пнул его ногой в лицо, дед схватил Корзубого за ногу, Корзубый упал. Он вырывал руки, кусался, садился на пол, а его тем временем выволакивали через боковой выход. Зал, потревоженный, зашевелился, люди поднимали головы от узлов, влезали на скамейки, женщины раскачивали плачущих детей, не отрывая глаз от выхода; воры шныряли между скамьями. На дворе — это был задний двор, окруженный кирпичной стеной, — было пусто и холодно, за стеной над площадью стлыло лиловое сияние фонарей. Несчастный Корзубый стоял посреди двора, матросы обступили его, тот морячок участливо заглянул ему в лицо и, прищурив глаз, двинул его кулаком, как поршнем. Корзубый отлетел к стене. К нему подошли, подняли; матрос прицелился — и снова он отлетел к стене. И в третий раз повторилось то же. Потом они закурили. Кепчонка Корзубого валялась на земле, ее заботливо подобрала, нахлобучили ему на голову. Похлопали по щекам, усадили на пустынное крыльцо. Они не имели намерения мстить и били вполсилы, но считали, что ему нужен урок, хорошо запоминающийся. Один из них вынул из рюкзака буханку белого, отрезал половину и сунул Корзубому в карман. И все ушли. Он остался один на крыльце, сидел с опущенной головой и расставив ноги, чтобы толстые вишневые сопли, как жгуты, висевшие из ноздрей, не липли к одежде. Собственно, в этот день он и стал Корзубым.

Он был готов. Утро едва брезжило. Но ему не дали времени напиться вдосталь из длинного выдолбленного бревна, оплывшего льдом. В полутьме он двинулся мерным шагом по узкому проходу для лошадей, мимо колодца, обросшего сосульками, мимо сараев, вслед за ушедшими, туда, где сияли огни.

Выстроилась колонна до самого поворота — до угловой вышки. Очевидно, пора было уже выступать в путь, но начальник конвоя, проваливаясь в снег, пошел вдоль колонны пересчитывать снова, лично, еще раз. Пересчитывание имело глубокий смысл.

Но при передаче человеческого поголовья, всей этой рабсилы, как она именовалась в бумагах, от одного символического владельца другому нужно было, чтобы лагпункт не перепоручил конвою ни одного лишнего человека, а конвой — чтобы не недополучил ни одного недостающего; строго говоря, никого не интересовала сохранность общей цифры самой по себе, а важно было, чтобы никто ни за что не отвечал, но этого взаимного недоверия было достаточно, чтобы обеспечить должную бдительность и тем самым соблюсти интересы высшего и незримого государства.

Конь, терпеливо стоявший, стараясь не задремать, не уронить головы, пока не окончится развод, не подозревал, что и сам он состоит на учёте вместе со своим хозяином, со стойлом и хомутом, со всем миром своих дум, с памятью о прошлом и чёрной дырой будущего; что за него уже расписались и даже новое имя присвоено ему. Этой клички он никогда не узнал — не узнаем и мы, потому что к нему, как ко всем этим людям, никто никогда не обращался по имени. Утро медленно занималось, светлело небо, новички, опустив головы, тянулись гуськом, глядя в хвост один другому; впереди покачивающихся мерно лошадиных круп шагали два солдата-азербайджанца, глаза их, сверкающие, как антрацит, равнодушно озирали унылую окрестность и казались неуместными здесь, в этой лишенной красок и звуков стране; они шагали, скучающие охотники, по снежной дороге, механически сжимая свои автоматы, дула которых опустили книзу, а еще впереди, шагах в двадцати, покачивались плечи и спины последней четверки заключенных.

Загон, устроенный перед входом в рабочее оцепление, был забит людьми до отказа. Ждали, когда охрана разойдется по вышкам. Конюхи спешили, их дело было довести коней до оцепления и передать возчикам, в загон же им не разрешалось входить, чтобы не путать счет. Наконец, стали впускать в оцепление: первыми пошли возчики, за ними двинулись кони.

Отсюда до лесосеки было километра два. Оцепление, уходившее рядами вышек далеко в обе стороны, опоясывало всю эту землю: кузницу, мастерские, лесосклад с железнодорожной

веткой, широкое сумрачное поле и лес, темнеющий вдаль. Но даже здесь чуткие ноздри лошадей улавливали едва ощутимый запах гари — дым костров, смешанный с запахом талого снега. Этот запах на всю жизнь запоминал всякий, кто побывал здесь, он отпечатывался в мозгу. Так началась жизнь белого коня в лагере, последняя из отпущенных ему жизней.

Белый конь стоял посреди делянки. За ним стояли лесовозные сани, двойные, низкие, связанные цепью крест-накрест, возить которые было, очевидно, сущим пустяком. Особый человек разъезжал по оцеплению с бочкой, которая издали казалась облитой патокой, у лошади хвост был весь обвешан, как бубенцами, сосульками, а сам водовоз, в телогрейке, покрытой спереди стеклянной броней, и в таких же, стоявших колом обмерзших штанах, сверкал и искрился, как леденец. Целый день он поливал водой санные колеи, поливал старательно, не темнил, потому что дорожил своим местом и держался за него.

Конь ждал. Навальщики, с коричневыми от зимнего загара лицами, пыхтя и орудуя вагами, катили вверх по каткам толстые баланы. Бревно за бревном валилось с катков к нему на санки, и все было мало. «Еще давай, еще», — повторял озабоченно возчик, видимо, возлагая большие надежды на необыкновенного коня. Здесь все работали дружно, выкладывались до конца, и никому, по-видимому, не приходила в голову мысль взбунтоваться, плюнуть на план, сойтись всем вместе... А ведь начальство было далеко, и бригадира не было среди них.

Возчик рванул вожжи, и конь, склонив шею, толкнулся вперед могучей грудью. Но воз не сдвинулся — казалось, примерз к колеям, пока стоял. Возчик снова дернул, и снова конь толкнулся; сани не шелохнулись. Белый конь стал топтаться на месте, качаясь вправо и влево, возчик бросился искать корягу, дырн, что-нибудь, необходимое, по его мнению, чтобы разбудить ветхого одра и воодушевить на труд... Конь по-прежнему топтался, не обращая внимания на угрозы: он знал, что перегруженный воз нужно прежде расшатать, чтобы он сдвинулся с места; посмотрим, думал конь, еще посмотрим — и все качал и качал плечами оглобли. И вдруг он дернул, упершись в землю всеми копытами, напряжив шею и широко раскрыв набухшие кровью глаза, дернул — и сани тронулись. И вместе с ними, шумно дыша, кивая костлявой головой, вбивая в землю копыта,

двинулся вперед огромный конь. Он шел, таща за собой скрипучий воз выше себя и раза в три длиннее, а сзади, поскользываясь в колеях, торопился, бежал за ним возчик.

«Но-о!» — скомандовал возчик, погруженный в свои мысли, автоматически, как только прекратился скрип саней; он чуть было не уперся грудью в торцы, продолжая идти за возом: сани стояли как вкопанные. «Чего стал, н-нэ!» — повторил возчик. Он обошел воз, увязая в снегу. Белый конь, мокрый, как мышь, с остановившимся взглядом, странно перебирал на одном месте дрожащими ногами, и худые бока его со слипшейся потемневшей шерстью раздувались и опадали, словно меха.

Ноги дрожали, и невозможно было унять эту дрожь. «Сейчас, — сказал он молча, про себя, — сейчас...». Там, сзади, бесновался и размахивал руками обросший щетиной человек. «Ну?» — спросил конь у своих ног, и ноги пробормотали: «Попробуем». «А ты?» — спросил он у шеи. «Я-то ничего, — отвечала шея, — а вот плечи?»

«...Подхват!» — заорал, вдруг спохватившись, возчик. «Подхват, подхват!» — взывал он в отчаянии, в страхе и надежде, потому что не сваливать же с воза: бригада живьем сожрет за погибшие проценты, да и не под силу одному разгрузить. «Подхват!..» — и голос его бессильно повис в пустоте, а в полусотне метров, на вышке, солдат-азербайджанец, скучая, притопывал толстыми валенками, смотрел на него и пел тягучую песню.

Ушатый сидел на снегу и тер, кряхтя, свои уши — точно чесался. Старик-возчик гаркнул команду: «...твою мать!» — воздел руку с дубинкой, и началась эта бесконечная глупая маета, бессмысленность которой была ясна заранее каждому, и только люди этого не понимали: в десятый, в двадцатый раз, надсаживая горло и то хватаясь за оглобли, то отбегая назад, чтобы упереться в бревна, и снова подбегая, ломая свои устрашающие орудия о спины лошадей, старик гнал их вперед и чем больше выбивался из сил, тем становился упрямее. Все было напрасно, хуже того, бесцельно — уже потому, что не было слаженности у старого коня, теперь едва державшегося на ногах, и малорослого конька, так что один раз малыш даже чуть не свалился и, вертясь под ногами, махая грязным хвостом, в сущности, только мешал.

Возчик как будто не слышал его слов: он что-то делал там, за санями — сопя, разгребал снег. И вот, поднявшись и подняв над

головой своей то, что он откапывал из-под снега — обледенелую доску, — бросился вперед с новой и невиданной яростью, словно это были не лошади перед ним, а нечто мерзкое и ненавистное, олицетворявшее его собственную мерзкую жизнь. Несчастный конек заметался в постромках, сам белый конь, сильно обеспокоенный, мотал головою и пяtilся, хомут с дугой стал налезать ему на голову; но все это продолжалось недолго. Доска сломалась, возчик с отвращением отшвырнул обломок и сел с размаху на снег, хватая ртом воздух.

Возчик ничего не ответил, по его лицу стекал пот. Семь лет назад он был приговорен отбывать двадцать пять лет в невидимой стране за что-то, чего он и сам уже не помнил; но теперь он об этом не думал, как не думал вообще о своей прежней жизни: она была ампутирована, ее просто не существовало. Он думал о том, что и у него, и у этого полуцветного ублюдка, сидящего на грязном снегу, один общий враг — производственный план. Возчик думал о работе. Не было ничего на свете ненавистнее работы. «На х... нам этот лес — мы его не сажали!» — изрек Ушатый.

Повернув голову, возчик тупо посмотрел в сторону леса: оттуда показался следующий воз. Дорога одна — с колеи не своротишь...

«Ты, але, батя... Ты давай сваливай. Вот что. Дорогу надо освободить».

Ушатый открыл черный рот, воззрился на старика. «Ишь т-ты! — сказал он. — Фашист! Не хочешь работать, падло?..» — «Э-гей, подхват!» — раздался со стороны леса истошный голос. Потом снова: «...а-ат!» Там тоже остановились. Ушатый прищурился и смачно сплюнул на старика. «Отпрягай!» — приказал он. Возчик не шевельнулся. Тогда Ушатый сам отвязал свою лошадь, уселся верхом и поскакал к лесу, подбрасывая локти, Старик равнодушно смотрел ему вслед.

Опомнившись, возчик вскочил на ноги. Но было уже поздно. С непостижимой быстротой Ушатый подцепил обеими вожами репицу, и хвост приподнялся. В ту же минуту Ушатый, высунув язык, подскочил и воткнул тлеющую головню под хвост белому коню. Конь вздрогнул, как от удара током — запах горелого мяса пронесся в воздухе, — конь рванулся отчаянно вперед, сани затрещали и тронулись.

«Подхва-ат!» — донеслось к ним из леса...

В мае перебрались в новое оцепление, над которым подготовительная колонна трудилась целых четыре месяца: в густом лесу, где снег в лощинах был по грудь, прорубили широкие, в пятьдесят метров, просеки. Сверху, если бы кто-нибудь пролетел низко на самолете, это выглядело как грубо вырезанный квадратный остров на краю таежного океана; сейчас же вдоль четырех просек начали ставить вышки, построили заборы и проволочные ограждения. После этого дорожные бригады с разных сторон врезались в чащу, они построили там, во тьме и сырости, лежневые дороги, от которых загибались по сторонам усы — ответвления к делянкам; новый ломоть тайги размером четыре квартала был отрезан, оцеплен проволокой, обставлен вышками и разбит на участки, и уже заранее было подсчитано, сколько добычи можно увезти с каждого участка, и эту цифру в управлении лагеря умножили на два, и это и был план. И план этот, для того чтобы начальство получило премию, должен был быть перевыполнен. Птицы, вернувшиеся из южных стран, в испуге разлетались куда глаза глядят, звери панически бежали, заслышав стук топоров, жужжание пил и глухой шум падающих деревьев, и стрелки на вышках автоматными очередями били скачущих через просеку лосей и зайцев — от скуки, потому что некому было их подбирать.

Она была короткой, эта весна, и таким же коротким было лето, которое здесь встречали и провожали, не снимая ватных доспехов, только вместо стеганых вислосадых штанов обитатели тайной страны нарядились в портки из синей диагонали, которая тут же слиняла, оставив чернильные пятна на ягодицах и коленях; и были розданы новые портянки, белые и чистые, которые в первый день весело выглядывали из ботинок, а остальные триста шестьдесят четыре дня были уже как прежние — черные и заскорузлые. Новые башмаки, как ни крепились, к вечеру превратились в старые; утром перед разводом бригадники заботливо мазали их солидолом. Утро теперь начиналось рано; но еще до рассвета белому коню, дремавшему в своем стойле, чудилось чавканье башмаков по навозной жиже: они шли, эти башмаки, за ним, по его душу, неумолимый звук приближался, и он поднимал свою каменную голову с пустыми черными глазами — на дне их, как пробудившиеся существа, оживали его глаза, — и, пятясь, он выбирался из тесного стойла. В урочный час громадный конь, мерно переступая расплюснутыми копытами, выходил и становился в оглобли.

Примерно к этому времени исторические предания относят важный политический переворот, происшедший на лагерном пункте, хотя сам по себе случай, послуживший его причиной, не представлял ничего необыкновенного. В одно прекрасное утро растворились ворота, выпуская работяг; позади, как всегда в это время года, раздавалось жестяное гремяние самодеятельного оркестра, и под звуки бодрого марша, следом за первыми бригадами, в тусклых солнечных лучах, пятьдесят заключенных вымаршировали ряд за рядом за зону, в подштанниках — и больше ни в чем. Должно быть, их воодушевила надежда, что начальство, увидев такое бедствие, задержит, начнется разбирательство — там возня с каптеркой, с бухгалтерией, а тем временем развод кончится, ворота закроют, и удастся прокантоваться в зоне, в согласии с народной мудростью: «день канта — месяц жизни». Но никто не среагировал, начальник конвоя равнодушно поглядел на них — явления в исподнем случались после игры в карты, правда, не целой бригадой, — и псарня, не моргнув глазом, пересчитав, выпихнула их к остальным в колонну. Оттуда раздался великий хохот. Но было холодно. Голос с мусульманским акцентом прокричал обычное наставление: за неподчинение законным требованиям, «попытку к бегству» конвой применяет оружие. Ясно? Следуй! — колонна двинулась, и их тощие ягодицы, обтянутые ветхой тканью, задвигались в такт, и желтые пятки, по четыре пары в ряд, зашлепали по жиже.

Спустя несколько времени маленький, шупленький, незаметный работяга, из тех, чьего имени никто никогда не помнит, войдя в столовую, где уже окончилась торжественная часть и началась самодеятельность, пробрался между рядами и, толкнув фельдшера, сидевшего на почетном месте позади начальства, сообщил кратко: «Заберите», но когда фельдшер с лепилой, ворча и бранясь, явились все же в барак, понуждаемые профессиональным долгом, то могли лишь увидеть впотьмах, что забрать «это» не только четырьмя, но и двадцатью руками невозможно.

Привалило работы уполномоченному и стукачам. Оживилась переписка инстанций. Пятьдесят дел в новеньких синих папках было заведено — на всех членов бригады, дождавшейся-таки отдыха: ибо все пятьдесят сидели в кондее. Но олигархическая власть духариков и цветных была свергнута. Ближайшим результатом этих событий было то, что по всей стране Лимонии издан был строгий приказ убрать палисадники со всех лагпунктов.

Следом за ними тащились под дождем еще две подводы. Когда подъехали к складу, длинному навесу, наспех построенному между рыжими холмами опилок — здесь прежде была пилорама, — когда загрузили все три ящика доверху осклизлыми, черно-желтыми кочанами капусты, расписались на фанерке у бесконвойного сторожа и перепрягли лошадей, то есть отцепили оглобли от передних крюков, перевели коней назад и снова прицепили, то уже начало смеркаться. Теперь вагонка Корзубого оказалась последней.

...И они упали, эти деревья-гиганты, но не так, как падали их предки, помнившие Сусанина, и прапрапредки, которым летевшие с юга птицы, усталые и возбужденные, рассказывали, как с восхода, из Азии — они видели — поднялась туча пыли, оранжевые облака закрыли небо, и тогда услышали донесшийся из желтой тьмы глухой дробный топот — это неслась конница татар.

Лес предназначался для шахт и оставался там, под землей, исчезал весь, сколько бы его ни привозили. Но и под землей смолистый непобедимый дух был так силен и опьяняющ, что тамошним заключенным казалось — дерево пахнет волей. А другие составы направлялись на север. Здесь все: и железная дорога, и порт, и город, раскинувшийся вокруг, — было построено заключенными, и у тех, кто грузил лес в трюмы, были тоже вместо паспортов формуляры. И для них эти литые, круглые, желтые, как масло, брёвна пахли не потом человеческим, даровым, не Указом и Пятьдесят восьмой, а зеленой чащей, соком земли — волей. И пароходы, уходящие за море, приветствуя родину прощальными гудками, увозили запах воли в чужие страны.

С высоты своего роста белый конь с болезненным участием смотрел на товарища. Тому все было безразлично. С полузакрытыми глазами, точно спящий, он сошел с лежневки — старик тащил его под уздцы — и поплелся, бессильно переставляя ноги, между кочками. Следом тележка нехотя соскочила с жердей, бочка качнулась, плеснув коричневой жижей, нырнула вбок и съехала в трясину; ковш гремел и болтался в ней, как ложка в стакане. «Пошел!» — Корзубый тронул своего коня. Конь шагнул вперед и остановился: ящик с капустой зацепился углом за бочку. Пока, отцепив оглобли, переводили громадного коня назад, цепляли и отгаскивали обратно вагонку, пока перецепляли

снова и, погружаясь башмаками в грязь, кряхтя, поднимали соскочившие с жердей стальные катушки колес, пока бранились и пререкались, прошло не меньше часа.

Белый конь шагал в глубокой задумчивости, привычно глядя себе под ноги, хотя помнил наизусть все ловушки — топкие места и покрытые водой ямы. С той поры как пошли дожди, дорога разрушалась с каждым днем. С досадой вспоминал он о далеких временах, когда глаза его одинаково зорко видели днем и ночью. Несколько раз он споткнулся, вызвав неудовольствие седока, а один раз даже увяз копытом в расщелине между ступняком и шпалой — толстой плахой, к которой приколочены были лежни. Оба — конь и возчик — мечтали только о том, как бы скорей добраться.

Было слышно, как шелестит дождь. Конь стоял неподвижно в грязи. Корзубый, сидя на мокрой лежне, плакал. Корзубый поднял голову. Он поглядел на светлую полосу над горизонтом, но у него уже не было надежды: старик, если бы он возвращался этой дорогой, был бы давно здесь. Старика не было. Старик поехал на кладбище опорожнять свою бочку: туда, где среди желтых луж торчат колья с дощечками, много кольев — до самого края. На каждой дощечке чернильным карандашом номер формуляра. Номера расплылись, и колья покосились в разные стороны. И тяжкое зловоние над всем полем... Время позднее. Он давно уже вернулся по другой дороге, если сам не потонул. Бросил его усатый старик. А сам Корзубый разве не бросил тогда старика одного — а ведь тот уступил ему дорогу. Вот так везде и всюду, везде и всюду закон один: ни на кого не надейся. Не жди добра ни от кого. Кому ты нужен?..

И тогда Корзубый медленно поднял глаза. В темноте они встретились с другими глазами. Взгляд коня был глубокий, влажный. Во тьме глазниц он как будто мерцал и светился; конь смотрел на него, словно собрался, наконец, сказать ему свою длинную, страстную речь, и Корзубому стало не по себе. Но это длилось недолго. Ярость охватила его, внезапно и целиком, как огонь охватывает солому: он увидел своего врага, виновника всех несчастий. Он затрясся, подскочив к коню, пнул его ногой, схватил конец оглобли, лежавшей на земле, зацепил его за крюк, прыгнул с лежневки, с необыкновенной силой выхватил откуда-то из-под низу рогатую, чудовищной толщины корягу и стал с размаху рубить по чему попало — по крупу,

по холке, по вскидывающейся ошалелой морде, пока не изломал и не искрошил свою дубину. Обломки рогов полетели в грязь. Колеса выпахали трясину, так что она превратилась в бездонную чашу, до краев полную черной жижей, — вся передняя часть похоронной колесницы ушла туда. В темноте раздавалось тяжелое дыхание человека. Белый конь, облитый жарким потом, не чувствовал дождя. Глаза его, вылезшие из орбит, медленно моргали. Из раскрытого рта вывалился язык. «Ну и хуй с тобой, — пробормотал Корзубый, — околевай, сволочь...» Он повернулся и, пошатываясь, побрел прочь, мимо ящика и едва белеющих разбросанных и разбитых вилок капусты. Конь остался стоять, опустив голову; дождь шелестел, не усиливаясь и не убывая.

Однако зацепить оглобли за передние крюки оказалось непростым делом. Все утонуло в грязи, ящик съехал вперед, закрыв собой колеса, — не на что встать. Корзубый погрузился по пояс в холодное месиво. Он нащупал в глубине крюк, другой рукой он тянул к себе оглоблю, и конь, в грязи по самые заплюсны, осторожно переступал ногами, чтобы не примять маленького человека, копошащегося под самым его хвостом. Корзубый прицепил сначала одну, затем другую оглоблю и вылез. Грязь стекла с него, как варенье.

Гигантское костлявое тело зашевелилось в оглоблях. Конь пригнул шею, задвигал крупом, ища опоры задним ногам.

И конь надал. Он нажал грудью, выгнув шею и уставившись в одну точку мерцающими в темноте глазами. Ящик вздрогнул, но сейчас же ноги коня стали уходить еще глубже. Он отпустил, переждал с полминуты, не больше, переступил где-то там, на зыбком дне. Вновь набрал полную грудь воздуха — и нажал. Внутри у него, он чувствовал, звенела и дрожала высокая струна. Он отпустил, тяжело дыша. Рядом тяжело дышал Корзубый. Потом губы его снова зашевелились. Но белый конь не стал нажимать еще раз. Вместо этого он неожиданно весь ослабел, обмяк, голова начала опускаться, отвисли губы — вот-вот упадет, — и вдруг, широко раскрыв сверкнувшие глаза, он бросился вперед. Он хотел застать злую силу врасплох.

Ах, вот как, подумал конь. Он снова прыгнул, разбрызгивая грязь, и сразу порвал все струны. Мысли погасли. Какие-то птицы с красными клювами пронеслись перед глазами.

«Стой! Стой!» — кричал ему возчик.

Он заметил, что это были вожжи. Вожжи, которые он не догадался отцепить, и теперь они запутались за передние ноги и тянули вниз захлебывающуюся голову. Суки! Еб*ные в рот!.. Он весь вытянулся, стараясь дотянуться до кольца, до хрипящей пасти. Да нет, куда там. Надо лезть туда, к нему, и там вместе с ним. Это удалось ему после долгой борьбы, но, когда, почувствовав, что ноги неожиданно освободились, обессиленный конь, не веря сам в свое спасение, стал выбираться из топи, он задел впопыхах, в черной каше, копытом что-то мягкое и подвижное, копошившееся вместе с ним.

Он стоял, возвышаясь на темном небе, и все ждал, не покажется ли оттуда знакомый рваный картуз. Но хозяин ушел, ушел навсегда, и он не мог последовать за ним, потому, должно быть, что сам он был бессмертен, хоть и не знал этого. Дождь перестал, и запах звезд, тонкий, неуловимый, коснулся его ноздрей. Конь заржал, но никто не услышал его плач. Черным видением приблизился и встал над болотами лагеря, и на вышках зажглись прожектора.

1965

Futurum vorax¹

Вместо эпилога

1

С трудом переставляя могучие когтистые лапы, влача за собой чешуйчатый гребневидный хвост, грозно и величественно приближаясь из тьмы, шествует исполинский ископаемый ящер, — таким рождает воображение сочинителя государство моего рождения.

2

Просветлённый хаос. Читатель (если таковой найдется) спросит: что собственно это означает? Вопрос залаёт себе и автор, поставив последнюю точку; попытаемся ответить. Речь идёт о воспоминаниях: на исходе жизни память одолевает, как никогда, те-

¹ Будущее — прожорливый хищник.

ни, призраки наступают во сне и наяву, — словом, живёшь в прошлом. Неуправляемый поток воспоминаний, порой самых неожиданных, требует волевого вмешательства: этот хаос нужно упорядочить. Как? Безостановочную череду десятилетий, тьму времён просветляет, выуживает смысл из бессмыслицы — литература.

Эпиграфом к сочинению послужила максима Т.С. Элиота:

Time present and time past are both present in time future. «Время настоящее и время прошедшее — оба содержатся во времени будущем». Простая мысль осеняет, когда всматриваешься в эту строку. Прошлое есть не что иное, как бывшее настоящее. Бывшее, потому что его поглотило будущее. Жестокая правда! Вспоминая собственное детство, отрочество, юность, решающие, быть может, годы жизни, когда всё было впереди, будущее стучалось в дверь, как посыльный с букетом из цветочного магазина, когда восторженно-безответная любовь, казалось, поглощала всё твоё существо, — я думаю о том, как злобно насмеялась над этой романтикой моя жизнь. Юность не боится будущего, этой тигриной пасти, дышащей жарким зловонием. И вот теперь прошлое, недоеденное людоедом, объедки каннибальского пира, доедает бессонная память.

Дети двадцатых годов, мы не знали, что растём, как трава, на кладбищах Революции и Гражданской войны, недоросли, мы не подозревали о том, что из чащи грядущих лет за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего. И был фон, на котором протекла, от раннего детства до глубокой старости, жизнь автора этой книги, проложило свой крестный путь моё поколение. Этот фон — страшная история России, события и катастрофы, постигшие нашу страну в истёкшем столетии. Забыть, забыть этот мрак и морок! Не стану сызнова всё перечислять, век, по слову поэта — часовой, сторожит, неотступно стоит перед глазами. Запомнить нашу историю я не в состоянии. Так воцаряется в душе и совести писателя дорогой ценой оплаченный, просветлённый хаос.

Б.Х., июль 2017

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ ПРОЛОГ. НАЙТИ СЕБЯ

От автора.....	7
Интродукция.....	8
Бывшее будущее, вчерашняя вечность.....	9
Герой этого времени. Детство тридцатых.....	12
Похож на человека.....	15
Папа. Самфильм. Если завтра война.....	25
Пансофия.....	26
Взгляни на иероглиф. <i>Маленький роман</i>	
I. Визит.....	28
II. Костёр.....	40
III. Сельский врач.....	55

КНИГА ВТОРАЯ ИЗ ВЕЩЕСТВА ТОГО ЖЕ

De solo amore.....	69
От тюрьмы да от сумы не зарекайся.....	71
Свидание. Нечто другое.....	72
Прибытие.....	73
Из вещества того же.....	81
Соната опус 90.....	85
Письмо к старой приятельнице о философии любви.....	97
Дорога.....	104
Гиббоны и облака.....	119

КНИГА ТРЕТЬЯ ОКНА. ЧЕЙ-ТО ЗАМЫСЕЛ

От автора.....	131
Мимоходом пять предисловий.....	131
Происхождение.....	135
Отечество. Путь-дороженька.....	139

Окна	142
Повесть, написанная на больничной койке	152
Кухня чародея	172
Грёзы романиста.....	175
Катастрофа	181
Мемориальная записка 2017.....	182

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ОТЕЧЕСТВО. ТРАКТАТ О РАБСТВЕ И ВОЛЕ

Вступление писателя.....	185
Дубинушка, ухнем!	185
Беглец и Гамаюн.....	186
Жертвоприношение	192
Глухой неведомой тайгою.....	215
Запах звёзд	248
Futurum vocat	265

Хазанов Борис
Просветленный хаос (тетраптих)

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*



Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

Корректор *И. Е. Иванцова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97

«Фаланстер», М. Гнезниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.

Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,

ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

в Риге:

«Intelektuāla grāmata»

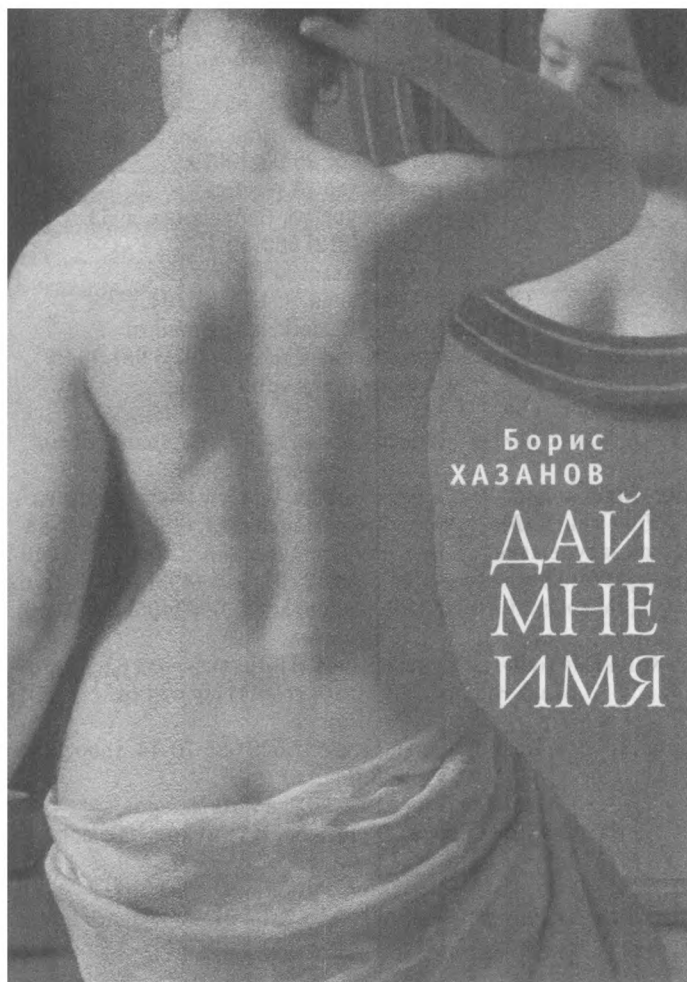
Rīga, Kr. Varona iela 45/47. Тел. 67315727, info@merion.lv

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88 1/6. Усл. печ. л. 16,38. Печать офсетная.

Заказ № 120004

В издательстве «Алетейя» вышла в свет книга:





Борис Хазанов (псевдоним Г.М. Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги Бориса Хазанова:

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искарриота. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы

...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)

Элизиум теней.

Пусть ночь придет. Повести о женщинах

Человек-перо. Писатели и литература

Письма из прекрасного далёка.

В садах за огненной рекой.

Тревога и труд.

Праматерь.

Зимнее солнцестояние.

Дай мне имя.